

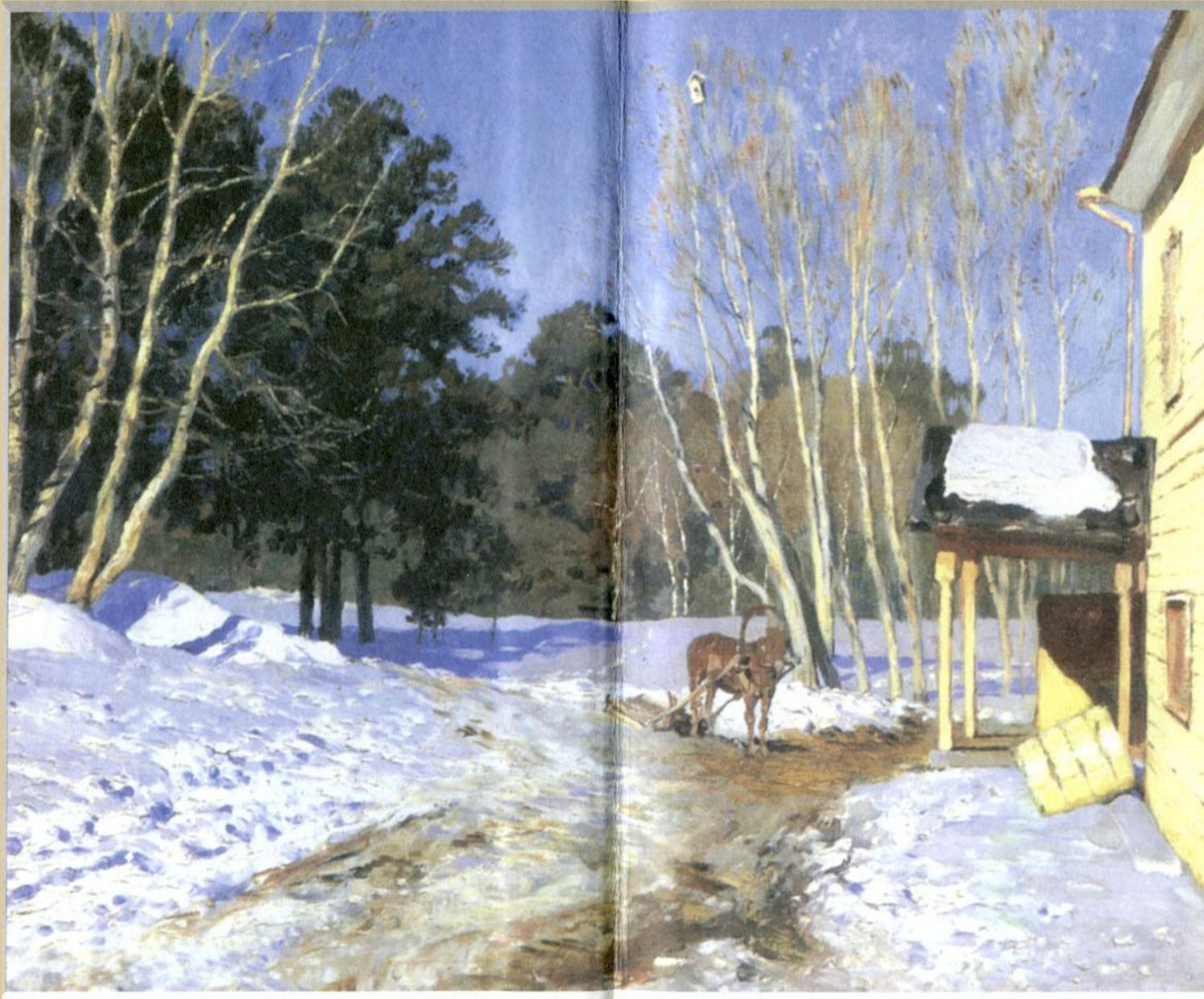
ЛИТЕРАТУРА

7

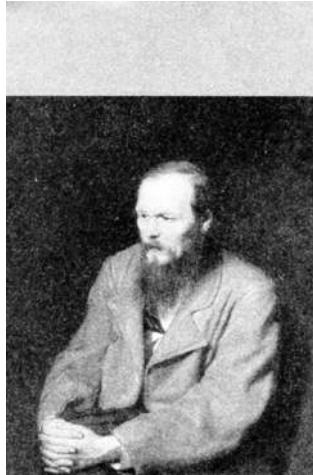
КЛАСС
ЧАСТЬ

2





И. И. Левитан. Март



ЛИТЕРАТУРА

7

класс

**УЧЕБНИК-ХРЕСТОМАТИЯ
для общеобразовательных
учреждений**

В двух частях

Часть 2

Под редакцией **Г. И. БЕЛЕНЬКОГО**

*Рекомендовано
Министерством образования и науки
Российской Федерации*

7-е издание, исправленное



Москва 2008

УДК 373.167.1:82(100).09

ББК 83.3я721

Л64

На учебник получены положительные заключения
Российской академии наук (№ 10106—5215/9 от 31.10.2007)
и Российской академии образования (№ 01—674/5/7д от 29.10.2007)

На обложке: *В. Г. Перов. Портрет Ф. М. Достоевского*
Фото. Вид старой Москвы

Дорогие ребята!

В учебнике-хрестоматии вам встретятся задания, которые отмечены знаком ◆. Если они окажутся трудными, обратитесь к другим, более простым. Не огорчайтесь: чтение, размышления о прочитанном помогут одолеть все препятствия. Знаком ? обозначены вопросы и задания к статьям.

Л64 Литература. 7 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Ч. 2 / под ред. Г. И. Беленского. — 7-е изд., испр. — М. : Мнемозина, 2008. — 301, [8] с. : ил.

ISBN 978-5-346-00911-5

Учебник-хрестоматия соответствует требованиям общеобразовательного стандарта по литературе для школ с русским языком обучения. Материал расположен по проблемно-тематическому и хронологическому принципам. Сравниваются художественные произведения, написанные в разное время на близкие темы. Большое внимание уделяется взаимосвязи литературы и искусства (живописи, музыки и т. д.). Выделены произведения для самостоятельного чтения. Вопросы и задания дифференцированы в зависимости от степени трудности, в наиболее сложных случаях даются советы по их выполнению. Включены задания на разработку проектов. Вступительные и обобщающие статьи написаны популярно и иллюстрируются яркими примерами.

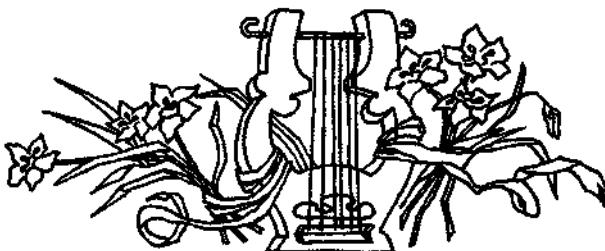
УДК 373.167.1:82(100).09

ББК 83.3я721

ISBN 978-5-346-00909-2 (общ.)
ISBN 978-5-346-00911-5 (ч. 2)

© «Мнемозина», 1999
© «Мнемозина», 2008, с изменениями
© Оформление. «Мнемозина», 2008
Все права защищены

ЗАПЕЧАЛЕННЫЕ МГНОВЕНИЯ. СТРАНИЦЫ ПОЭЗИИ



Мы говорили о трех основных родах литературы: эпосе, лирике, драме. И в эпосе, и в драме писатель изображает события, охватывающие более или менее продолжительное время. Лирика, пожалуй, единственный род литературы, способный выразить мысли, чувства, думы поэта, возникшие в связи с проносящимися мгновениями окружающей жизни. Недаром современный поэт Вадим Шефнер, обращаясь к писателям и читателям, говорил:

<...> Приглядывайтесь к облакам,
Прислушивайтесь к птицам,
Прикладывайтесь к родникам, —
Ничто не повторится.

За мигом миг, за шагом шаг
Впадайте в изумление.
Все будет так — и все не так
Через одно мгновенье.

Даже если поэт пишет о том, что занимало его длительное время, он выражает мысли и чувства, которые испытывает в данный момент.

Прочитаем несколько стихотворений знаменитых русских поэтов.



**Федор
Иванович
ТЮТЧЕВ**
(1803—1873)

Ваше знакомство с поэзией Тютчева началось еще в 5-м классе, если не раньше (припомните прочитанные и изученные стихотворения).

Ф. И. Тютчева считают мастером лирического пейзажа. Поэт обладал особой зоркостью в изображении явлений природы. Она в его произведениях, подобно живому человеку, то грустит, то радуется, то испытывает тревогу, то становится мрачной, полной неразгаданных тайн.

Вот знаменитое стихотворение Тютчева.

ВЕСЕННЯЯ ГРОЗА

Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.

Гремят раскаты молодые,
Вот дождик брызнул, пыль летит,
Повисли перлы дождевые,
И солнце нити золотит.

С горы бежит поток проворный,
В лесу не молкнет птичий гам,

И гам лесной, и шум нагорный —
Все вторит весело громам.
Ты скажешь: ветреная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила¹.

1854



Обдумаем прочитанное

В поэзии, особенно в коротком стихотворении, смысл и значение каждого слова неизменно возрастают. Поэтому Тютчев, впрочем, как и другие большие поэты, с повышенным вниманием относился к любому слову, к любой строке и строфе стихотворения. Впервые «Весенняя гроза» появилась в печати в 20-е годы XIX века; ее текст отличался от того, который напечатан выше. Сравним:

Начальная редакция

Люблю грозу в начале мая:
Как весело весенний гром
Из края до другого края
Грохочет в небе голубом!

Окончательная редакция

Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
Как бы разевая и играя,
Грохочет в небе голубом.

(Добавлена вторая строфа.)

С горы бежит *ручей* проворный,
В лесу не молкнет птичий гам;
И говор *птиц*, и ключ нагорный —
Все вторит *радостно* громам.

С горы бежит *поток* проворный,
В лесу не молкнет птичий гам,
И *гам лесной*, и *шум* нагорный —
Все вторит *весело* громам.

(Последняя строфа без изменений.)

Подумайте, какие исправления и дополнения внес поэт в текст стихотворения и что дала такая переработка.

Прочтите еще одну пейзажную зарисовку Тютчева. Она создана, вероятно, на основе впечатлений поэта по пути из Москвы в Германию, где он находился на дипломатической службе. Вторая зарисовка непосредственно связана с родиной.

¹ Тютчев имеет в виду древнегреческий миф: Геба, богиня юности, дочь Зевса-громовержца, иногда кормила из золотой чаши Зевсового орла. На Олимпе она подносila богам нектар — напиток, дававший им бессмертие и вечную юность, и амброзию — пищу, вызывавшую прилив энергии и жизненных сил. Поэт сравнивает с нектаром и амброзией радостный майский дождь, обновляющий землю.

* * *

Песок сыпучий по колени...
Мы едем — поздно — меркнет день,
И сосен, по дороге, тени
Уже в одну слились тень.
Черней и чаще бор глубокий —
Какие грустные места!
Ночь хмурая, как зверь стоющий,
Глядит из каждого куста!

1830



По поводу этого и подобных ему стихотворений Некрасов говорил об умении поэта «уволить именно те черты, по которым в воображении читателя может возникнуть и дорисоваться сама собою данная картина».

Подумайте, как поэт выражает свои чувства в этой зарисовке. В частности, какова роль эпитетов и сравнения? Обратите внимание на художественную деталь, передающую наступление вечера.

И еще один пейзаж:

* * *

Тихой ночью, поздним летом,
Как на небе звезды рдеют,
Как под сумрачным их светом
Нивы дремлющие зреют...
Усыпительно-безмолвны,
Как блестят в тиши ночной
Золотистые их волны,
Убеленные луной...

1849



Какими средствами поэт передает свое восхищение картиной звездной ночи? Почему, заметив, что звезды *рдеют* (то есть светятся, краснеют), говорит о *сумрачном* их свете? Назовите эпитеты, которые показались вам неожиданными, наиболее выразительными.

В чем особенность построения предложений, составляющих стихотворение?

Какая интонация соответствует такой синтаксической форме?

Может ли, по-вашему, это стихотворение служить своеобразной «подсказкой» живописцу, решившему нарисовать картину летней ночи?

* * *

Выше говорилось о том, что в стихах поэт запечатлевает мгновения жизни, промелькнувшие чувства и мысли. Но в лирическом произведении могут быть выражены и глубинные раздумья автора о родине, о своей судьбе и судьбах людей, о прошлом, настоящем и будущем. Есть немало стихотворений, в которых поэты, отталкиваясь от конкретной картинки природы или воссоздавая жизненную ситуацию, идут к большим обобщениям, размышляя о сущности и смысле бытия, о любви, о человеческих взаимоотношениях. Они как бы спрессовывают время, сплавляют мгновение и вечность.

Такова и лирика Тютчева. В ней часто явления природы сопоставляются с чувствами и душевным состоянием человека, с его судьбой. Вот характерное для поэта стихотворение.

* * *

Как неожиданно и ярко,
На влажной неба синеве,
Воздушная воздвиглась арка
В своем минутном торжестве!
Один конец в леса вонзила,
Другим за облака ушла —
Она полнеба охватила
И в высоте изнемогла.

О, в этом радужном виденье
Какая нега для очей!
Оно дано нам на мгновенье,
Лови его — лови скорей!
Смотри — оно уж побледнело,
Еще минута, две — и что ж?
Ушло, как то уйдет всецело,
Чем ты и дышишь и живешь.

1865



Как вы понимаете параллелизм (сопоставление двух явлений), заключенный в этом стихотворении?



Афанасий
Афанасьевич
ФЕТ
(1820—1892)

Как и в творчестве Ф. И. Тютчева, в поэзии Фета большое место занимают стихи о природе. Недаром в своих сборниках Фет объединял стихотворения в разделы «Весна», «Лето», «Осень», «Снега». Любя жизнь, он ценил каждое ее мгновенье и потому стремился запечатлеть в стихах малейшие изменения и в природе, и в душе того, кто воспринимает ее красоту. Вспомните пейзажные стихотворения Фета, прочитанные в 5-м и 6-м классах. Добавим, что Фет, как и Тютчев, как и другие большие поэты, часто связывает пейзаж с раздумьями о жизни, о судьбе человека, о Боге и людях.

МОТЫЛЕК МАЛЬЧИКУ

Цветы кивают мне, головки наклоня,
И манит куст душистой веткой;
Зачем же ты один преследуешь меня
Свою шелковою сеткой?

Дитя кудрявое, любимый нежно сын
Неувядающего мая,
Позволь мне жизнию упиться день один,
На солнце радостном играя.

Постой, оно уйдет, и блеск его лучей
Замрет на западе далеком,
И в час таинственный я упаду в ручей,
И унесет меня потоком.

1860

О чём это стихотворение? Одни скажут — о жалости к живым существам, даже самым маленьким и незаметным, — и будут правы. Другие — о бережном отношении к природе, — и тоже будут правы. Третьи — и, пожалуй, они будут правы более всех, — о величайшей тайне жизни, которой никто не имеет права распоряжаться по своей воле.

Короток век мотылька — одно мгновение в сравнении с жизнью человека. Но это мгновение доставляет мотыльку неизмеримое счастье («Позволь мне жизни упиться день один, / На солнце радостно играя»). Зачем же ускорять его уход с этой прекрасной земли? Но разве не то же может сказать о себе человек? Он живет значительно дольше, радости его богаче и разнообразнее, но и он наслаждается жизнью как величайшим даром природы. Каждый миг этой жизни — и своей, и другого существа — незаменим, неприкосновенен и требует бережного внимания к себе. Таков второй, глубинный смысл стихотворения.

Прочитайте еще два стихотворения Фета. Постарайтесь разобраться в них самостоятельно.

СОСНЫ

Средь кленов девственных и плачущих берез
Я видеть не могу надменных этих сосен;
Они смущают рой живых и сладких грез,
И трезвый вид мне их несносен.

В кругу воскреснувших соседей лишь он¹
Не знают трепета, не шепчут, не вздыхают
И, неизменные, ликующей весне
Пору зимы напоминают.

Когда уронит лес последний лист сухой
И, смолкнув, станет ждать весны и возрожденья, —
Они останутся холодною красой
Пугать иные поколенья.

1854

¹ Онé — устаревшая форма местоимения жен. рода мн. ч.

?

Каким людям, по-вашему, уподобляются в стихотворении сосны?

Рассмотрите на цветной вклейке репродукцию картины Ивана Ивановича Шишкина. Что общего в картинах, нарисованных поэтом и художником?

ОСЕННЯЯ РОЗА

Осыпал лес свои вершины,
Сад обнажил свое чело,
Дохнул сентябрь, и георгины
Дыханьем ночи обожгло.

Но в дуновении мороза
Между погибшими одна,
Лишь ты одна, царица роза,
Благоухания и пышна.

На зло жестоким испытаньям
И злобе гаснущего дня
Ты очертаньем и дыханьем
Весною веешь на меня.

1886

?

Какую мысль выражает поэт, рисуя розу, сохранившую свою жизнь и красоту даже в глухую, холодную осень?



**Яков
Петрович
ПОЛОНСКИЙ**
(1819—1898)

Я. П. Полонский — один из видных поэтов середины XIX века. Родился он в небогатой дворянской семье. Стихи начал писать еще в гимназии. По окончании Московского университета жил в Одессе, в Тифлисе, служил чиновником, а затем помощником редактора местной газеты. С середины 50-х годов переселился в Петербург, сблизился с Тургеневым, Майковым, Фетом, позднее — с Чеховым. Был знаком с Лесковым.

Лирические произведения Я. П. Полонского отличает, как говорил И. С. Тургенев, правдивость впечатлений от ежедневной, почти будничной жизни и разлитая в них какая-то тайная грусть.

Фет писал ему:

...ты мил сторицей
Тебе внимющим друзьям.

Прочтите два стихотворения Я. П. Полонского — они принадлежат к лучшим его созданиям. Дорожные зарисовки поэта можно сравнить с моментальными фотографиями. Они несут в себе раздумья автора о своей жизни и мечту о прекрасном.

ДОРОГА

Глухая степь — дорога далека,
Вокруг меня волнует ветер поле,

Вдали туман — мне грустно поневоле,
И тайная берет меня тоска.

Как кони ни бегут — мне кажется, лениво
Они бегут. В глазах одно и то же —
Все степь да степь, за нивой снова нива.
— Зачем, ямщик, ты песни не поешь?

И мне в ответ ямщик мой бородатый:
— Про черный день мы песню бережем.
— Чему же ты рад? — Недалеко до хаты —
Знакомый шест мелькает за бугром.

И вижу я: навстречу деревушка,
Соломой крыт стоит крестьянский двор,
Стоят скирды. — Знакомая лачужка,
Жива ли она, здорова ли с тех пор?

Вот крытый двор. Покой, привет и ужин
Найдет ямщик под кровлею своей.
А я устал — покой давно мне нужен;
Но нет его... Меняют лошадей.

Ну-ну, живей! Долга моя дорога —
Сырая ночь — ни хаты, ни огня —
Ямщик поет — в душе опять тревога —
Про черный день нет песни у меня.

1842



В стихотворении два героя: седок и ямщик. Как, какими средствами поэт передает различие в их настроении? Чем его объясняет?

Как вы понимаете слова: «Долга моя дорога <...> Про черный день нет песни у меня»?

Вспомните произведения русских писателей и поэтов, посвященные дороге. В чем особенности изображения дороги у Полонского?

Подготовьте выразительное чтение стихотворения.

ЗИМНИЙ ПУТЬ

Ночь холодная мутно глядит
Под рогожу кибитки моей,
Под полозьями поле скрипит,
Под дугой колокольчик гремит,
А ямщик погоняет коней.

За горами, лесами, в дыму облаков,
Светит пасмурный призрак луны.
Вой протяжный голодных волков
Раздается в тумане дремучих лесов. —
Мне мерещатся странные сны.

Мне всё чудится: будто скамейка стоит,
На скамейке старуха сидит,
До полуночи пряжу придет,
Мне любимые сказки мои говорит,
Колыбельные песни поет.

И я вижу во сне, как на волке верхом
Еду я по тропинке лесной
Воевать с чародеем царем
В ту страну, где царевна сидит под замком,
Изнывая за крепкой стеной.

Там стеклянный дворец окружают сады,
Там жар-птицы поют по ночам
И клюют золотые плоды,
Там журчit ключ живой и ключ мертвой воды —
И не веришь и веришь очам.

А холодная ночь так же мутно глядит
Под рогожу кибитки моей,
Под полозьями поле скрипит,
Под дугой колокольчик гремит,
И ямщик погоняет коней.

1844



Сопоставьте первую и заключительную строфы произведения. Почему они почти одинаковы? Чего таким построением стихотворения добивается автор? Сюжеты каких народных сказок вспоминаются при чтении стихотворения? Как вы думаете, почему сон, насыщенный мотивами народных сказок, поэт противопоставляет дорожным впечатлениям путника?



Возвращаясь к прочитанному...

Почему стихи в данном разделе хрестоматии помещены под общим заголовком «Запечатленные мгновения»? Как вы понимаете эти слова?

Проектное задание

Вместе с товарищами подготовьте вечер русской поэзии. Его темой может стать лирика поэтов середины XIX века — Некрасова, Тютчева, Фета, Полонского, Майкова, А. К. Толстого или некоторых из них.

Подберите воспоминания о поэтах и стихотворения для выразительного чтения.

Подготовьте исполнение романсов и песен, написанных на их слова.

Чтение стихов желательно сопровождать краткими сообщениями и цитированием воспоминаний о жизни и творчестве полюбившихся вам писателей.

«ХОЧУ, ЧТОБ КАЖДЫЙ ИЗ ЛЮДЕЙ БЫЛ ЧЕЛОВЕКОМ!»

М. Горький



Искусство должно сделать то,
чтобы чувства братства и любви
к ближним <...> стали привычными
чувствами, инстинктом всех людей.

Л. Н. Толстой

ЧЕЛОВЕК В ДВИЖЕНИИ ВРЕМЕНИ

Литературу называют движущейся панорамой десятилетий. В самом деле, только она, единственная из всех видов искусства (не считая искусства кино, возникшего позднее и во многом на ее основе), может показать жизнь в движении, в изменении, в развитии. Только она способна раскрыть внутренний мир человека и «изнутри» и во внешних его проявлениях. И только она в состоянии изобразить героя в изменяющемся мире в самых разнообразных обстоятельствах, от рождения до смерти.

Многие произведения художников слова посвящены детям — и потому, что полная картина жизни без изображения детей невозможна — ведь они, наследуя прошлое, соединяют настоящее с будущим, и потому, что каждый взрослый — «родом из детства»: его формирование начинается еще в ранние годы и накрепко связано с движением времени.

Мы помещаем в хрестоматии с некоторыми сокращениями повести Л. Н. Толстого «Детство» и «Отрочество», М. Горького «Детство» и отдельные главы из романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы», объединенные в повесть «Мальчики». Во всех этих произведениях, раскрывая внутренний мир своих героев, рисуя нелегкое становление их характеров, писатели особое внимание уделяют утверждению в их душе добрых начал. Действие повестей Л. Н. Толстого и М. Горького охватывает несколько лет. В главах из романа Ф. М. Достоевского события происходят в сравнительно короткое время. Но во всех этих произведениях герои меняются, становятся добрее, обретают чувство любви и уважения к людям. Достаточно сопоставить хотя бы первую и последнюю сцены «Мальчиков» Достоевского: разъединенные и даже озлобленные друг на друга подростки, пережив болезнь и смерть своего товарища, в конце повести клянутся всегда быть вместе, идти «всю жизнь рука в руку».

Произведения Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, М. Горького о детстве по содержанию шире своих названий. В них подняты серьезные вопросы о смысле жизни, о том, каким должен быть человек и как следует относиться к людям, как воспитывать в себе лучшие душевые качества, как противостоять темным силам действительности. Неслучайно в этих произведениях рядом с юными главными героями действуют взрослые люди, наделенные яркими, неповторимыми характерами. В повести Горького, например, подрастающий Алеша видит сложный, противоречивый мир людей разных поколений, с их враждой и любовью, тяжелым бытом и мечтами о лучшем. Шаг за шагом писатель показывает, как в этом мире развивается и постепенно крепнет плодовитое зерно здорового, творческого, человеческого.

Поэтому, читая повести о детстве, не забывайте о созданных в них характерах взрослых людей.

К этим повестям мы добавили два рассказа русского писателя XX века В. Соловьина. Они о взрослых людях, но тоже о любви к ближнему, о том, каким должен быть человек в трудных обстоятельствах. Начинается, конечно, все с детских и отроческих лет...

Лев
Николаевич
ТОЛСТОЙ
(1828—1910)



Смысл жизни только один:
самосовершенствование —
улучшать свою душу.

Л. Н. Толстой

Л. Н. Толстому было двадцать три года, когда он решил написать историю своей жизни и проследить «ход своего морального развития». Будущий писатель находился тогда на распутье. Прерванное обучение в университете, неудачные попытки реформировать быт крестьян в родной Ясной Поляне, материальные затруднения, лишенное ясной цели существование тяготили Толстого, рождали беспокойные раздумья о будущей судьбе. Так возникла мысль проанализировать прожитое, разобраться в событиях и обстоятельствах, которые оказали влияние на становление характера. А детство было самым началом пути: события, наполнившие его, люди, встреченные в эту пору, казалось бы, самые незначительные факты были исполнены для писателя большого, высокого смысла. В январе 1851 года Толстой в дневнике сформулировал свое намерение: «Писать историю моего детства». К работе над задуманным произведением он приступает летом того же года на Кавказе, куда перебрался по совету своего брата, чтобы заново обрести себя. К этому времени замысел произведения уточняется: это будет роман под названием «Четыре эпохи развития», каждая из частей которого даст художественное воплощение определенной «эпохи» жизни.

Первая часть задуманной книги была опубликована в сентябрьском номере журнала «Современник» за 1852 год под названием «История моего детства» (в последующих публикациях

Толстой вернул повести первоначальное заглавие — «Детство»). Произведение вызвало благожелательные оценки критики. Ободренный успехом, автор увлеченно работал над следующей частью — повестью «Отрочество», которая была опубликована в том же журнале через два года после «Детства». Наконец, в 1857 году выходит из печати повесть «Юность». Четвертая часть, «Молодость», намеченная Толстым в предварительном плане романа, так и не была написана. Повести «Детство», «Отрочество», «Юность» составили художественный цикл — трилогию, которая написана в форме воспоминаний взрослого человека о безвозвратно минувших годах. Главный герой трилогии — Николенька Иртеньев. Он не лишен автобиографических черт, но и не является доподлинным автопортретом Толстого ранних лет его жизни.



Почему Л. Н. Толстой, начиная свой творческий путь, решил обратиться к первым десятилетиям своей жизни?

ДЕТСТВО (Избранные главы)

В повести «Детство» — двадцать восемь глав. В основном действие происходит в течение двух дней. Первая часть (главы I—XIV) содержит ряд сцен, развертывающихся в течение одного дня, — 12 августа 18... года: последний день в деревне; последние занятия с Карлом Ивановичем; охота перед самым отъездом. К изображению этого дня примыкает глава «Разлука», посвященная отъезду детей из деревни и расставанию Николенки с матерью навсегда. Вторая часть (главы XVI—XXIV) тоже рисует один день. События происходят в московском доме знатной и богатой бабушки через месяц после отъезда братьев Иртеньевых из Петровского. Печальным финалом «Детства» являются главы XXV — XXVIII — «Письмо», «Что ожидало нас в деревне», «Горе», «Последние грустные воспоминания». В них повествуется о болезни, смерти и похоронах матери и прощании Николенки с детством. Время действия этих глав — между 16 и 20 марта, спустя шесть месяцев после второго дня. Таким образом, все описанное в повести происходит в течение семи месяцев — от 12 августа 18... года до 20 марта следующего года. Кратковременность изображенных

событий восполняется многочисленными воспоминаниями автора, благодаря которым раздвигаются временные и пространственные рамки повествования и в воображении читателя возникает удивительно яркая и полная картина целой эпохи человеческой жизни. Своеобразным лирическим отступлением является глава XV — «Детство». Она занимает центральное место в произведении и как бы объединяет описания первого и второго дня.

Глава I

УЧИТЕЛЬ КАРЛ ИВАНЫЧ

12-го августа 18... , ровно в третий день после дня моего рождения, в который мне минуло десять лет и в который я получил такие чудесные подарки, в семь часов утра Карл Иваныч разбудил меня, ударив над самой моей головой хлопушкой — из сахарной бумаги на палке — по мухе. Он сделал это так неловко, что задел образок моего ангела, висевший на дубовой спинке кровати, и что убитая муха упала мне прямо на голову. Я высунул нос из-под одеяла, остановил рукою образок, который продолжал качаться, скинул убитую муху на пол и хотя заспанными, но сердитыми глазами окинул Карла Иваныча. Он же, в пестром ваточном халате, подпоясанном поясом из той же материи, в красной вязаной ермолке с кисточкой и в мягких козловых сапогах, продолжал ходить около стен, прицеливаться и хлопать.

«Положим, — думал я, — я маленький, но зачем он тревожит меня? Отчего он не бьет мух около Володиной постели? вон их сколько! Нет, Володя старше меня; а я меньше всех: оттого он меня и мучит. Только о том и думает всю жизнь, — прошептал я, — как бы мне делать неприятности. Он очень хорошо видит, что разбудил и испугал меня, но выказывает, как будто не замечает... противный человек! И халат, и шапочка, и кисточка — какие противные!»

В то время как я таким образом мысленно выражал свою досаду на Карла Иваныча, он подошел к своей кровати, взглянул на часы, которые висели над нею в шитом бисерном башмачке, повесил хлопушку на гвоздик и, как заметно было, в самом приятном расположении духа повернулся к нам.

— Auf, Kinder, auf!.. s'ist Zeit. Die Mutter ist schon im Saal¹, — крикнул он добрым немецким голосом, потом подошел

¹ Вставать, дети, вставать!.. пора. Мама уже в зале (нем.).

ко мне, сел у ног и достал из кармана табакерку. Я притворился, будто сплю. Карл Иваныч сначала понюхал, утер нос, щелкнул пальцами и тогда только принялся за меня. Он, посмеиваясь, начал щекотать мои пятки. — Nun, nun, Faulenzer!¹ — говорил он.

Как я ни боялся щекотки, я не вскочил с постели и не отвечал ему, а только глубже запрятал голову под подушки, изо всех сил брыкал ногами и употреблял все старания удержаться от смеха.

«Какой он добрый и как нас любит, а я мог так дурно о нем думать!»

Мне было досадно и на самого себя и на Карла Иваныча, хотелось смеяться и хотелось плакать: нервы были расстроены.

— Ach, lassen sie², Карл Иваныч! — закричал я со слезами на глазах, высовывая голову из-под подушек.

Карл Иваныч удивился, оставил в покое мои подошвы и с беспокойством стал спрашивать меня: о чем я? не видел ли я чего дурного во сне?.. Его доброе немецкое лицо, участие, с которым он старался угадать причину моих слез, заставляли их течь еще обильнее: мне было совестно, и я не понимал, как за минуту перед тем я мог не любить Карла Иваныча и находить противными его халат, шапочку и кисточку; теперь, наоборот, все это казалось мне чрезвычайно милым, и даже кисточка казалась явным доказательством его доброты. Я сказал ему, что плачу оттого, что видел дурной сон — будто маман умерла и ее несут хоронить. Все это я выдумал, потому что решительно не помнил, что мне снилось в эту ночь, но когда Карл Иваныч, тронутый моим рассказом, стал утешать и успокаивать меня, мне казалось, что я точно видел этот страшный сон, и слезы полились уже от другой причины.

Когда Карл Иваныч оставил меня и я, приподнявшись на постели, стал натягивать чулки на свои маленькие ноги, слезы немного унялись, но мрачные мысли о выдуманном сне не оставляли меня. Вшел дядька Николай — маленький, чистенький человечек, всегда серьезный, аккуратный, почтительный и большой приятель Карла Иваныча. Он нес наши платья и обувь: Володе сапоги, а мне покуда еще несносные башмаки с бантиками. При нем мне было бы совестно плакать; притом утреннее солнышко весело светило в окна, а Володя, передразнивая Марью Ивановну (гувернантку сестры), так весело и звучно смеялся, стоя над умывальником, что даже

¹ Ну, ну, ленивец! (нем.).

² Ах, оставьте (нем.).

серъезный Николай, с полотенцем на плече, с мылом в одной руке и с рукомойником в другой, улыбаясь, говорил:

— Будет вам, Владимир Петрович, извольте умываться.

Я совсем развеселился.

— Sind sie bald fertig?¹ — послышался из классной голос Карла Иваныча.

Голос его был строг и не имел уже того выражения доброты, которое тронуло меня до слез. В классной Карл Иваныч был совсем другой человек: он был наставник. Я живо оделся, умылся и, еще с щеткой в руке, приглаживая мокрые волосы, явился на его зов.

Карл Иваныч, с очками на носу и книгой в руке, сидел на своем обычном месте, между дверью и окошком. Налево от двери были две полочки: одна — наша, детская, другая — Карла Иваныча, собственная. На нашей были всех сортов книги — учебные и неучебные: одни стояли, другие лежали. Только два больших тома «*Histoire des voyages*»², в красных переплетах, чинно упирались в стену; а потом и пошли длинные, толстые, большие и маленькие книги, — корочки без книг и книги без корочек; все туда же, бывало, нажмешь и всунешь, когда прикажут перед рекреацией³ привести в порядок библиотеку, как громко называл Карл Иваныч эту полочку. Коллекция книг на *собственной* если не была так велика, как на нашей, то была еще разнообразнее. Я помню из них три: немецкую брошюру об унавоживании огородов под капусту — без переплета, один том истории Семилетней войны — в пергаменте, прожженном с одного угла, и полный курс гидростатики. Карл Иваныч большую часть своего времени проводил за чтением, даже испортил им свое зрение; но, кроме этих книг и «Северной пчелы»⁴, он ничего не читал.

В числе предметов, лежавших на полочке Карла Иваныча, был один, который больше всего мне его напоминает. Это — кружок из картона, вставленный в деревянную ножку, в которой кружок этот подвигался посредством шпеньков. На кружке была наклеена картинка, представляющая карикатуры какой-то барыни и парикмахера. Карл Иваныч очень хорошо клеил и кружок этот сам изобрел и сделал для того, чтобы защищать свои слабые глаза от яркого света.

¹ Скоро ли вы будете готовы? (нем.)

² «История путешествий» (фр.).

³ Рекреация — каникулы.

⁴ «Северная пчела» — газета; издавалась в 1825—1864 годах.

Как теперь вижу я перед собой длинную фигуру в ваточном халате и в красной шапочке, из-под которой виднеются редкие седые волосы. Он сидит подле столика, на котором стоит кружок с парикмахером, бросавшим тень на его лицо; в одной руке он держит книгу, другая покоятся на ручке кресел; подле него лежат часы с нарисованным егерем на циферблате, клетчатый платок, черная круглая табакерка, зеленый футляр для очков, щипцы на лоточке. Все это так чинно, аккуратно лежит на своем месте, что по одному этому порядку можно заключить, что у Карла Иваныча совесть чиста и душа покойна.

Бывало, как досыта набегаешься внизу по зале, на цыпочках прокрадешься на верх, в классную, смотришь — Карл Иваныч сидит себе один на своем кресле и с спокойно-величавым выражением читает какую-нибудь из своих любимых книг. Иногда я заставал его и в такие минуты, когда он не читал: очки спускались ниже на большом орлином носу, голубые полузакрытые глаза смотрели с каким-то особенным выражением, а губы грустно улыбались. В комнате тихо; только слышно его равномерное дыхание и бой часов с егерем.

Бывало, он меня не замечает, а я стою у двери и думаю:

«Бедный, бедный старик! Нас много, мы играем, нам весело, а он — один-одинешенек, и никто-то его не приласкает. Правду он говорит, что он сирота. И история его жизни какая ужасная! Я помню, как он рассказывал ее Николаю — ужасно быть в его положении!» И так жалко станет, что, бывало, подойдешь к нему, возьмешь за руку, и скажешь: «*Lieber*¹ Карл Иваныч!» Он любил, когда я ему говорил так; всегда приласкает, и видно, что растроган.

На другой стене висели ландкарты², все почти изорванные, но искусно подклевые рукою Карла Иваныча. На третьей стене, в середине которой была дверь вниз, с одной стороны висели две линейки: одна — изрезанная, наша, другая — новенькая, собственная, употребляемая им более для поощрения, чем для линевания; с другой — черная доска, на которой кружками отмечались наши большие проступки и крестиками — маленькие. Налево от доски был угол, в который нас ставили на колени.

Как мне памятен этот угол! Помню заслонку в печи, отдушник в этой заслонке и шум, который он производил,

¹ Милый (нем.).

² *Ландкарты* — географические карты.

когда его поворачивали. Бывало, стоишь, стоишь в углу, так что колени и спина заболят, и думаешь: «Забыл про меня Карл Иваныч; ему, должно быть, покойно сидеть на мягким кресле и читать свою гидростатику, — а каково мне?» — и начнешь, чтобы напомнить о себе, потихоньку отворять и затворять заслонку или ковырять штукатурку со стены; но если вдруг упадет с шумом слишком большой кусок на землю — право, один страх хуже всякого наказания. Оглянешься на Карла Иваныча, — а он сидит себе с книгой в руке и как будто ничего не замечает.

В середине комнаты стоял стол, покрытый оборванной черной kleenкой, из-под которой во многих местах виднелись края, изрезанные перочинными ножами. Кругом стола было несколько некрашеных, но от долгого употребления залакированных табуретов. Последняя стена была занята тремя окопками. Вот какой был вид из них: прямо под окнами дорога, на которой каждая выбоина, каждый камешек, каждая колея давно знакомы и мильы мне; за дорогой — стриженая липовая аллея, из-за которой кое-где виднеется плетеный частокол; через аллею виден луг, с одной стороны которого гумно, а напротив лес; далеко в лесу видна избушка сторожа. Из окна направо видна часть террасы, на которой сиживали обыкновенно большие до обеда. Бывало, покуда поправляет Карл Иваныч лист с диктовкой, выглянешь в ту сторону, видишь черную головку матушки, чью-нибудь спину и смутно слышишь оттуда говор и смех; так сделается досадно, что нельзя там быть, и думаешь: «Когда же я буду большой, перестану учиться и всегда буду сидеть не за диалогами, а с теми, кого я люблю?» Досада перейдет в грусть, и, бог знает отчего и о чем, так задумаешься, что и не слышишь, как Карл Иваныч сердится за ошибки.

Карл Иваныч снял халат, надел синий фрак с возвышениями и сборками на плечах, оправил перед зеркалом свой галстук и повел нас вниз — здороваться с матушкой.

Глава VII

ОХОТА

Доезжачий¹, прозвавшийся Турка, на голубой горбоносой лошади, в мохнатой шапке, с огромным рогом за плечами и ножом на поясе, ехал впереди всех. По мрачной и свирепой

¹ Доезжачий — старший псарь, обучающий собак и распоряжающийся ими на охоте.

наружности этого человека скорее можно было подумать, что он едет на смертный бой, чем на охоту. Около задних ног его лошади пестрым, волнившимся клубком бежали сомкнутые гончие. Жалко было видеть, какая участь постигала ту несчастную, которой вздумывалось отстать. Ей надо было с большими усилиями перетянуть свою подругу, и когда она достигала этого, один из выжлятников¹, ехавших сзади, непременно хлопал по ней арапником², приговаривая: «В кучу!» Выехав за ворота, папá велел охотникам и нам ехать по дороге, а сам повернулся в ржаное поле.

Хлебная уборка была во всем разгаре. Необозримое блестящее-желтое поле замыкалось только с одной стороны высоким синеющим лесом, который тогда казался мне самым отдаленным, таинственным местом, за которым или кончается свет, или начинаются необитаемые страны. Все поле было покрыто копнами и народом. В высокой густой ржи виднелись кое-где на выжатой полосе согнутая спина жницы, взмах колосьев, когда она перекладывала их между пальцев, женщина в тени, нагнувшаяся над люлькой, и разбросанные снопы по усеянному васильками жниву. В другой стороне мужики в одних рубахах, стоя на телегах, накладывали копны и пылили по сухому, раскаленному полю. Староста, в сапогах и армяке³ внакидку, с бирками⁴ в руке, издалека заметив папá, снял свою поярковую⁵ шляпу, утирал рыжую голову и бороду полотенцем и покрикивал на баб. Рыженькая лошадка, на которой ехал папá, шла легкой, игравой ходой, изредка опуская голову к груди, вытягивая поводья и смахивая густым хвостом оводов и мух, которые жадно лепились на нее. Две борзые собаки, напряженно загнув хвост серпом и высоко поднимая ноги, грациозно перепрыгивали по высокому жниву, за ногами лошади; Милка бежала впереди и, загнув голову, ожидала прикормки. Говор народа, топот лошадей и телег, веселый свист перепелов, жужжение насекомых, которые неподвижными стаями вились в воздухе, запах полыни, соломы и лошадиного пота, тысячи различных цветов и теней, которые разливало палящее солнце по светло-желтому жниву, синей

¹ Выжлятник — в псовой охоте: охотник, ведающий гончими.

² Арапник — длинная охотничья плеть с короткой рукояткой.

³ Армяк — старинная крестьянская верхняя одежда из толстого сукна.

⁴ Бирка — палочка или дощечка для нанесения нарезок, отмечающих счет.

⁵ Поярковый — из шерсти от первой стрижки молодой овцы.

дали леса и бело-лиловым облакам, белые паутины, которые носились в воздухе или ложились по живилю, — все это я видел, слышал и чувствовал.

Подъехав к Калиновому лесу, мы нашли линейку¹ уже там и, сверх всякого ожидания, еще телегу в одну лошадь, на середине которой сидел буфетчик. Из-под сена виднелись: самовар, кадка с мороженой формой и еще кой-какие привлекательные узелки и коробочки. Нельзя было ошибиться: это был чай на чистом воздухе, мороженое и фрукты. При виде телеги мы изъявили шумную радость, потому что пить чай в лесу на траве и вообще на таком месте, на котором никто и никогда не пивал чаю, считалось большим наслаждением.

Турка подъехал к острову², остановился, внимательно выслушал от папá подробное наставление, как равняться и куда выходить (впрочем, он никогда не соображался с этим наставлением, а делал по-своему), разомкнул собак, не спеша второчил смычки³, сел на лошадь и, посвистывая, скрылся за молодыми березками. Разомкнутые гончие прежде всего маханиями хвостов выразили свое удовольствие, встряхнулись, оправились и потом уже маленькой рысцой, приюхиваясь и махая хвостами, побежали в разные стороны.

— Есть у тебя платок? — спросил папá.

Я вынул из кармана и показал ему.

— Ну, так возьми на платок эту серую собаку...

— Жирана? — сказал я с видом знатока.

— Да, и беги по дороге. Когда придет полянка, остановись и смотри: ко мне без зайца не приходи!

Я обмотал платком мохнатую шею Жирана и опрометью бросился бежать к назначенному месту. Папá смеялся и кричал мне вслед:

— Скорей, скорей, а то опоздаешь.

Жиран беспрестанно останавливался, поднимая уши, и прислушивался к порсканью⁴ охотников. У меня недоставало сил стащить его с места, и я начинал кричать: «Ату! ату!» Тогда Жиран рвался так сильно, что я насилиu мог удерживать его и не раз упал, покуда добрался до места. Избрав у корня высокого дуба тенистое и ровное место, я лег на траву, усадил подле

¹ Линейка — длинный многоместный экипаж, в котором сидят боком по направлению движения.

² Остров — здесь: небольшой отдельно стоящий лес.

³ Смычок — здесь: охотничья веревка, которой связывают попарно гончих собак.

⁴ Порсканье — натравливание гончих криком на зверя.

себя Жирана и начал ожидать. Воображение мое, как всегда бывает в подобных случаях, ушло далеко вперед действительности: я воображал себе, что травлю уже третьего зайца, в то время как отзвалась в лесу первая гончая. Голос Турки громче и одушевленнее раздался по лесу; гончая взвизгивала, и голос ее слышался чаще и чаще; к нему присоединился другой, басистый голос, потом третий, четвертый... Голоса эти то замолкали, то перебивали друг друга. Звуки постепенно становились сильнее и непрерывнее и наконец слились в один звонкий, заливистый гул. *Остров был голосистый, и гончие варили варом*¹.

Услыхав это, я замер на своем месте. Вперив глаза в опушку, я бессмысленно улыбался; пот катился с меня градом, и хотя капли его, сбегая по подбородку, щекотали меня, я не вытирал их. Мне казалось, что не может быть решительнее этой минуты. Положение этой напряженности было слишком неестественно, чтобы продолжаться долго. Гончие то заливались около самой опушки, то постепенно отдалялись от меня; зайца не было. Я стал смотреть по сторонам. С Жираном было то же самое: сначала он рвался и взвизгивал, потом лег подле меня, положил морду мне на колени и успокоился.

Около оголившихся корней того дуба, под которым я сидел, по серой, сухой земле, между сухими дубовыми листьями, желудьми, пересохшими, обомшальными хворостинками, желто-зеленым мхом и изредка пробивавшимися тонкими зелеными травками кипя кипели муравьи. Они один за другим торопились по пробитым ими торным дорожкам: некоторые с тяжестьми, другие порожняком. Я взял в руки хворостину и загородил ею дорогу. Надо было видеть, как одни, презирая опасность, подлезали под нее, другие перелезали через; а некоторые, особенно те, которые были с тяжестьми, совершенно терялись и не знали, что делать: останавливались, искали обхода, или ворочались назад, или по хворостинке добирались до моей руки и, кажется, намеревались забраться под рукав моей курточки. От этих интересных наблюдений я был отвлечен бабочкой с желтыми крыльшками, которая чрезвычайно заманчиво вилась передо мною. Как только я обратил на нее внимание, она отлетела от меня шага на два, повисла над почти увядшим белым цветком дикого клевера и села на него. Не знаю, солнышко ли ее пригрело, или она брала сок из этой травки, — только видно было, что ей очень хорошо. Она

¹ Гончие варили варом — дружно и ретиво голосили и гнали.

изредка взмахивала крыльшками и прижималась к цветку, наконец совсем замерла. Я положил голову на обе руки и с удовольствием смотрел на нее.

Вдруг Жирая завыл и рванулся с такой силой, что я чуть было не упал. Я оглянулся. На опушке леса, приложив одно ухо и приподняв другое, перепрыгивал заяц. Кровь ударила мне в голову, и я все забыл в эту минуту: закричал что-то неистовым голосом, пустил собаку и бросился бежать. Но не успел я этого сделать, как уже стал раскаиваться: заяц присел, сделал прыжок, и больше я его не видел.

Но каков был мой стыд, когда вслед за гончими, которые в голос вывели на опушку, из-за кустов показался Турка! Он видел мою ошибку (которая состояла в том, что я не выдержал) и, презрительно взглянув на меня, сказал только: «Эх, барин!» Но надо знать, как это было сказано! Мне было бы легче, ежели бы он меня, как зайца, повесил на седло.

Долго стоял я в сильном отчаянии на том же месте, не звал собаки и только твердил, ударяя себя по ляжкам:

— Боже мой, что я наделал!

Я слышал, как гончие погнали дальше, как заатукали на другой стороне острова, отбили зайца и как Турка в свой огромный рог вызывал собак, — но все не трогался с места...

Глава XIII НАТАЛЬЯ САВИШНА

В половине прошлого столетия по дворам села Хабаровки бегала в затрапезном платье босоногая, но веселая, толстая и краснощекая девка *Наташка*. По заслугам и просьбе отца ее, кларнетиста Саввы, дед мой взял ее в *верх* — находиться в числе женской прислуги бабушки. Горничная *Наташка* отличалась в этой должности кротостью нрава и усердием. Когда родилась матушка и понадобилась няня, эту обязанность возложили на *Наташку*. И на этом новом поприще она заслужила похвалы и награды за свою деятельность, верность и привязанность к молодой госпоже. Но напудренная голова и чулки с пряжками молодого бойкого официанта Фоки, имевшего по службе частые сношения с Натальей, пленили ее грубое, но любящее сердце. Она даже сама решилась идти к дедушке просить позволенья выйти за Фоку замуж. Дедушка принял ее желание за неблагодарность, прогневался и сослал бедную Наталью за наказание на скотный двор в степную деревню. Через шесть месяцев, однако, так как никто не мог заменить

Наталью, она была возвращена в двор и в прежнюю должность. Возвратившись в затрапезку из изгнания, она явилась к дедушке, упала ему в ноги и просила возвратить ей милость, ласку и забыть ту дурь, которая на нее напала было и которая, она клялась, уже больше не возвратится. И действительно, она сдержала свое слово.

С тех пор Наташка сделалась Натальей Савишиной и надела чепец; весь запас любви, который в ней хранился, она перенесла на барышню свою.

Когда подле матушки заменила ее гувернантка, она получила ключи от кладовой, и ей на руки сданы были белье и вся провизия. Новые обязанности эти она исполняла с тем же усердием и любовью. Она вся жила в барском добре, во всем видела трату, порчу, расхищение и всеми средствами старалась противодействовать.

Когда таинан вышла замуж, желая чем-нибудь отблагодарить Наталью Савишину за ее двадцатилетние труды и привязанность, она позвала ее к себе и, выразив в самых лестных словах всю свою к ней признательность и любовь, вручила ей лист гербовой бумаги, на котором была написана вольная Наталья Савишина, и сказала, что, несмотря на то, будет ли она или нет продолжать служить в нашем доме, она всегда будет получать ежегодную пенсию в триста рублей. Наталья Савишина молча выслушала все это, потом, взяв в руки документ, злобно взглянула на него, пробормотала что-то сквозь зубы и выбежала из комнаты, хлопнув дверью. Не понимая причины такого странного поступка, таинан немного погодя вошла в комнату Натальи Савишиной. Она сидела с заплаканными глазами на сундуке, перебирая пальцами носовой платок, и пристально смотрела на валявшиеся на полу перед ней клочки изорванной вольной.

— Что с вами, голубушка Наталья Савишина? — спросила таинан, взяв ее за руку.

— Ничего, матушка, — отвечала она, — должно быть, я вам чем-нибудь противна, что вы меня со двора гоните... Что ж, я пойду.

Она вырвала свою руку и, едва удерживаясь от слез, хотела уйти из комнаты. Таинан удержала ее, обняла, и они обе расплакались.

С тех пор как я себя помню, помню я и Наталью Савишину, ее любовь и ласки; но теперь только умею ценить их, — тогда же мне и в голову не приходило, какое редкое, чудесное создание была эта старушка. Она не только никогда не говорила,

но и не думала, кажется, о себе: вся жизнь ее была любовь и самопожертвование. Я так привык к ее бескорыстной, нежной любви к нам, что и не воображал, чтобы это могло быть иначе, нисколько не был благодарен ей и никогда не задавал себе вопросов: а что, счастлива ли она? довольна ли?

Бывало, под предлогом необходимой надобности, прибезиши от урока в ее комнату, усядешься и начинаешь мечтать вслух, нисколько не стесняясь ее присутствием. Всегда она бывала чем-нибудь занята: или вязала чулок, или рылась в сундуках, которыми была наполнена ее комната, или записывала белье и, слушая всякий вздор, который я говорил, «как, когда я буду генералом, я женюсь на чудесной красавице, куплю себе рыжую лошадь, построю стеклянный дом и выпишу родных Карла Иваныча из Саксонии» и т. д., она приговаривала: «Да, мой батюшка, да». Обыкновенно, когда я вставал и собирался уходить, она отворяла голубой сундук, на крышке которого снутри — как теперь помню — были наклеены крашеное изображение какого-то гусара, картинка с помадной баночки и рисунок Володи, — вынимала из этого сундука куренье, зажигала его и, помахивая, говаривала:

— Это, батюшка, еще очаковское куренье. Когда ваш покойник дедушка — царство небесное — под турку ходили, так оттуда еще привезли. Вот уж последний кусочек остался, — прибавляла она со вздохом.

В сундуках, которыми была наполнена ее комната, было решительно все. Что бы ни понадобилось, обыкновенно говаривали: «Надо спросить у Натальи Савищны», — и действительно, порывшись немного, она находила требуемый предмет и говаривала: «Вот и хорошо, что припрятала». В сундуках этих были тысячи таких предметов, о которых никто в доме, кроме ее, не знал и не заботился.

Один раз я на нее рассердился. Вот как это было.

За обедом, наливая себе квасу, я уронил графин и облил скатерть.

— Позовите-ка Наталью Савищну, чтобы она порадовалась на своего любимчика, — сказала татаан.

Наталья Савищна вошла и, увидав лужу, которую я сделал, покачала головой; потом татаан сказала ей что-то на ухо, и она, погрозившись на меня, выплыла.

После обеда я в самом веселом расположении духа, прыгивая, отправился в залу, как вдруг из-за двери выскочила Наталья Савищна с скатертью в руке, поймала меня и, несмотря на отчаянное сопротивление с моей стороны, начала



С рисунка А. Костина

тереть меня мокрым по лицу, приговаривая: «Не пачкай скатертий, не пачкай скатертий!» Меня так это обидело, что я разревелся от злости.

«Как! — говорил я сам себе, прохаживаясь по зале и захлебываясь от слез. — Наталья Савицна, просто Наталья, говорит мне ты, и еще бьет меня по лицу мокрой скатертью, как дворового мальчишку. Нет, это ужасно!»

Когда Наталья Савицна увидала, что я распустил слюни, она тотчас же убежала, а я, продолжая прохаживаться, рассуждал о том, как бы отплатить дерзкой Наталье за нанесенное мне оскорбление.

Через несколько минут Наталья Савицна вернулась, робко подошла ко мне и начала уверещевать:

— Полноте, мой батюшка, не плачте... простите меня, дуру... я виновата... уж вы меня простите, мой голубчик... вот вам.

Она вынула из-под платка корнет¹, сделанный из красной бумаги, в котором были две карамельки и одна винная ягода, и дрожащей рукой подала его мне. У меня недоставало сил взглянуть в лицо доброй старушке; я, отвернувшись, принял подарок, и слезы потекли еще обильнее, но уже не от злости, а от любви и стыда.

Глава XV ДЕТСТВО

Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней? Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для меня источником лучших наслаждений.

Набегавшись досыта, сидишь, бывало, за чайным столом, на высоком креслице; уже поздно, давно выпил свою чашку молока с сахаром, сон смыкает глаза, но не трогаешься с места, сидишь и слушаешь. И как не слушать? говорит с кем-нибудь, и звуки голоса ее так сладки, так приветливы. Одни звуки эти так много говорят моему сердцу! Отуманенными дремотой глазами я пристально смотрю на ее лицо, и вдруг она сделалась вся маленькая, маленькая — лицо ее не больше пуговки; но оно мне все так же ясно видно: вижу, как она взглянула на меня и как улыбнулась. Мне нравится видеть ее такой крошечной. Я прищуриваю глаза еще больше, и она делается не больше тех

¹ Корнёт — здесь: кулечек, пакетик.

мальчиков, которые бывают в зрачках; но я пошевелился — и очарование разрушилось; я суживаю глаза, поворачиваюсь, всячески стараюсь возобновить его, но напрасно.

Я встаю, с ногами забираюсь и уютно укладываюсь на кресло.

— Ты опять заснешь, Николенька, — говорит мне маман, — ты бы лучше шел на верх.

— Я не хочу спать, мамаша, — ответишь ей, и неясные, но сладкие грезы наполняют воображение, здоровый детский сон смыкает веки, и через минуту забудешься и спишь до тех пор, пока не разбудят. Чувствуешь, бывало, впросонках, что чья-то нежная рука трогает тебя; по одному прикосновению узнаешь ее и еще во сне невольно схватишь эту руку и крепко, крепко прижмешь ее к губам.

Все уже разошлись; одна свеча горит в гостиной; маман сказала, что она сама разбудит меня; это она присела на кресло, на котором я сплю, своей чудесной нежной ручкой провела по моим волосам, и над ухом моим звучит милый знакомый голос:

— Вставай, моя душечка: пора идти спать.

Ничьи равнодушные взоры не стесняют ее: она не боится излить на меня всю свою нежность и любовь. Я не шевелюсь, но еще крепче целую ее руку.

— Вставай же, мой ангел.

Она другой рукой берет меня за шею, и пальчики ее быстро шевелятся и щекотят меня. В комнате тихо, полутемно; нервы мои возбуждены щекоткой и пробуждением; мамаша сидит подле самого меня; она трогает меня; я слышу ее запах и голос. Все это заставляет меня вскочить, обвить руками ее шею, прижать голову к ее груди и, задыхаясь, сказать:

— Ах, милая, милая мамаша, как я тебя люблю!

Она улыбается своей грустной, очаровательной улыбкой, берет обеими руками мою голову, целует меня в лоб и кладет к себе на колени.

— Так ты меня очень любишь? — Она молчит с минуту, потом говорит: — Смотри, всегда люби меня, никогда не забывай. Если не будет твоей мамаши, ты не забудешь ее? не забудешь, Николенька?

Она еще нежнее целует меня.

— Полно! и не говори этого, голубчик мой, душечка моя! — вскрикиваю я, целуя ее колени, и слезы ручьями льются из моих глаз — слезы любви и восторга.

После этого, как, бывало, придешь на верх и станешь перед иконами, в своем ваточном халатце, какое чудесное чувство

испытываешь, говоря: «Спаси, Господи, папеньку и маменьку». Повторяя молитвы, которые в первый раз лепетали детские уста мои за любимой матерью, любовь к ней и любовь к Богу как-то странно сливались в одно чувство.

После молитвы завернешься, бывало, в одеяльце; на душе легко, светло и отрадно; одни мечты гонят другие, — но о чём они? Они неуловимы, но исполнены чистой любовью и надеждами на светлое счастье. Вспомнишь, бывало, о Карле Иваныче и его горькой участи — единственном человеке, которого я знал несчастливым, — и так жалко станет, так полюбишь его, что слезы потекут из глаз, и думаешь: «Дай Бог ему счаствия, дай мне возможность помочь ему, облегчить его горе; я всем готов для него пожертвовать». Потом любимую фарфоровую игрушку — зайчика или собачку — уткнешь в угол пуховой подушки и любуешься, как хорошо, тепло и уютно ей там лежать. Еще помолишься о том, чтобы дал Бог счаствия всем, чтобы все были довольны и чтобы завтра была хорошая погода для гуляния, повернешься на другой бок, мысли и мечты перепутаются, смешаются, и уснешь тихо, спокойно, еще с мокрым от слез лицом.

Вернутся ли когда-нибудь та свежесть, беззаботность, потребность любви и сила веры, которыми обладаешь в детстве? Какое время может быть лучше того, когда две лучшие добродетели — невинная веселость и беспредельная потребность любви — были единственными побуждениями в жизни?

Где те горячие молитвы? где лучший дар — те чистые слезы умиления? Прилетал ангел-утешитель, с улыбкой утикал слезы эти и навевал сладкие грэзы неиспорченному детскому воображению.

Неужели жизнь оставила такие тяжелые следы в моем сердце, что навеки отошли от меня слезы и восторги эти? Неужели остались одни воспоминания?

Глава XIX ИВИНЫ

— Володя! Володя! Ивины! — закричал я, увидев в окно трех мальчиков в синих бекешах с бобровыми воротниками, которые, следуя за молодым гувернером-щеголем, переходили с противоположного тротуара к нашему дому.

Ивины приходились нам родственниками и были почти одних с нами лет; вскоре после приезда нашего в Москву мы познакомились и сошлись с ними.

Второй Ивин — Сережа — был смуглый, курчавый мальчик, со вздернутым твердым носиком, очень свежими красными губами, которые редко совершенно закрывали немного выдавшийся верхний ряд белых зубов, темно-голубыми прекрасными глазами и необыкновенно бойким выражением лица. Он никогда не улыбался, но или смотрел совершенно серьезно, или от души смеялся своим звонким, отчетливым и чрезвычайно увлекательным смехом. Его оригинальная красота поразила меня с первого взгляда. Я почувствовал к нему непреодолимое влечение. Видеть его было достаточно для моего счастья; и одно время все силы души моей были сосредоточены в этом желании; когда мне случалось провести дня три или четыре, не видав его, я начинал скучать, и мне становилось грустно до слез. Все мечты мои, во сне и наяву, были о нем: ложась спать, я желал, чтобы он мне приснился; закрывая глаза, я видел его перед собою и лелеял этот призрак, как лучшее наслаждение. Никому в мире я не решился бы поверить этого чувства, так много я дорожил им. Может быть, потому, что ему надоедало чувствовать беспрестанно устремленными на него мои беспокойные глаза, или просто, не чувствуя ко мне никакой симпатии, он заметно больше любил играть и говорить с Володей, чем со мною; но я все-таки был доволен, ничего не желал, ничего не требовал и всем готов был для него пожертвовать. Кроме страстного влечения, которое он внушал мне, присутствие его возбуждало во мне в не менее сильной степени другое чувство — страх огорчить его, оскорбить чем-нибудь, не понравиться ему: может быть, потому, что лицо его имело надменное выражение, или потому, что, презирая свою наружность, я слишком много ценил в других преимущества красоты, или, что вернее всего, потому, что это есть непременный признак любви, я чувствовал к нему столько же страха, сколько и любви. В первый раз, как Сережа заговорил со мной, я до того растерялся от такого неожиданного счастья, что побледнел, покраснел и ничего не мог отвечать ему. У него была дурная привычка, когда он задумывался, останавливать глаза на одной точке и беспрестанно мигать, подергивая при этом носом и бровями. Все находили, что эта привычка очень портит его, но я находил ее до того милою, что невольно привык делать то же самое, и через несколько дней после моего с ним знакомства бабушка спросила: не болят ли у меня глаза, что я ими хлопаю, как филин. Между нами никогда не было сказано ни слова о любви; но он чувствовал свою власть надо мною и бессознательно,

но тиранически употреблял ее в наших детских отношениях; я же, как ни желал высказать ему все, что было у меня на душе, слишком боялся его, чтобы решиться на откровенность; старался казаться равнодушным и безропотно подчинялся ему. Иногда влияние его казалось мне тяжелым, несносным; но выйти из-под него было не в моей власти.

Мне грустно вспомнить об этом свежем, прекрасном чувстве бескорыстной и беспредельной любви, которое так и умерло, не излившись и не найдя сочувствия.

Странно, отчего, когда я был ребенком, я старался быть похожим на большого, а с тех пор, как перестал быть им, часто желал быть похожим на него. Сколько раз это желание — не быть похожим на маленького, в моих отношениях с Сережей, останавливало чувство, готовое излиться, и заставляло лицемерить. Я не только не смел поцеловать его, чего мне иногда очень хотелось, взять его за руку, сказать, как я рад его видеть, но не смел даже называть его Сережа, а непременно Сергей: так уж было заведено у нас. Каждое выражение чувствительности доказывало ребячество и то, что тот, кто позволял себе его, был еще *мальчишка*. Не пройдя еще через те горькие испытания, которые доводят взрослых до осторожности и холодности в отношениях, мы лишали себя чистых наслаждений нежной детской привязанности по одному только странному желанию подражать *большим*.

Еще в лакайской встретил я Ивиных, поздоровался с ними и опрометью пустился к бабушке: я объявил ей о том, что приехали Ивины, с таким выражением, как будто это известие должно было вполне осчастливить ее. Потом, не спуская глаз с Сережи, я последовал за ним в гостиную и следил за всеми его движениями. В то время как бабушка сказала, что он очень вырос, и устремила на него свои проницательные глаза, я испытывал то чувство страха и надежды, которое должен испытывать художник, ожидая приговора над своим произведением от уважаемого судьи.

Молодой гувернер Ивиных, Herr Frost, с позволения бабушки сошел с нами в палисадник, сел на зеленую скамью, живописно сложил ноги, поставил между ними палку с бронзовым набалдашником и с видом человека, очень довольного своими поступками, закурил сигару. Herr Frost был немец, но немец совершенно не того покроя, как наш добрый Карл Иваныч: во-первых, он правильно говорил по-русски, с дурным выговором — по-французски и пользовался вообще, в особенности между дамами, репутацией очень ученого человека;

во-вторых, он носил рыжие усы, большую рубиновую булавку в черном атласном шарфе, концы которого были просунуты под помочи, и светло-голубые панталоны с отливом и со штрипками; в-третьих, он был молод, имел красивую, самодовольную наружность и необыкновенно видные, мускулистые ноги. Заметно было, что он особенно дорожил этим последним преимуществом: считал его действие неотразимым в отношении особ женского пола и, должно быть, с этой целью старался выставлять свои ноги на самое видное место и, стоя или сидя на месте, всегда приводил в движение свои икры. Это был тип молодого русского немца, который хочет быть молодцом и волокитой.

В палисаднике было очень весело. Игра в разбойники шла как нельзя лучше; но одно обстоятельство чуть-чуть не расстроило всего. Сережа был разбойник: погнавшись за проезжающими, он споткнулся и на всем бегу ударился коленом о дерево, так сильно, что я думал, он расшибется вдребезги. Несмотря на то, что я был жандарм и моя обязанность состояла в том, чтобы ловить его, я подошел и с участием стал спрашивать, больно ли ему. Сережа рассердился на меня: сжал кулаки, топнул ногой и голосом, который ясно доказывал, что он очень больно ушибся, закричал мне:

— Ну, что это? после этого игры никакой нет! Ну, что ж ты меня не ловишь? что ж ты меня не ловишь? — повторял он несколько раз, исcosa поглядывая на Володю и старшего Ивина, которые, представляя проезжающих, припрыгивая, бежали по дорожке, и вдруг взвизгнул и с громким смехом бросился ловить их.

Не могу передать, как поразил и пленил меня этот геройский поступок: несмотря на страшную боль, он не только не заплакал, но не показал и виду, что ему больно, и ни на минуту не забыл игры.

Вскоре после этого, когда к нашей компании присоединился еще Иленька Грап и мы до обеда отправились на верх, Сережа имел случай еще больше пленить и поразить меня своим удивительным мужеством и твердостью характера.

Иленька Грап был сын бедного иностранца, который когда-то жил у моего деда, был чем-то ему обязан и почитал теперь своим непременным долгом присыпать очень часто к нам своего сына. Если он полагал, что знакомство с нами может доставить его сыну какую-нибудь честь или удовольствие, то он совершенно ошибался в этом отношении, потому что мы не только не были дружны с Иленькой, но обращали на него

внимание только тогда, когда хотели посмеяться над ним. Иленька Грап был мальчик лет тринадцати, худой, высокий, бледный, с птичьей рожицей и добродушно-покорным выражением. Он был очень бедно одет, но зато всегда напомажен так обильно, что мы уверяли, будто у Грапа в солнечный день помада тает на голове и течет под курточку. Когда я теперь вспоминаю его, я нахожу, что он был очень услужливый, тихий и добрый мальчик; тогда же он мне казался таким презренным существом, о котором не стоило ни жалеть, ни даже думать.

Когда игра в разбойники прекратилась, мы пошли на верх, начали возиться и щеголять друг перед другом разными гимнастическими штуками. Иленька с робкой улыбкой удивления поглядывал на нас, и когда ему предлагали попробовать то же, отказывался, говоря, что у него совсем нет силы. Сережа был удивительно мил; он снял курточку — лицо и глаза его разгорелись, — он беспрестанно хохотал и затевал новые шалости: перепрыгивал через три стула, поставленные рядом, через всю комнату перекатывался колесом, становился кверху ногами на лексиконы Татищева¹, положенные им в виде пьедестала на середину комнаты, и при этом выделявал ногами такие уморительные штуки, что невозможно было удержаться от смеха. После этой последней штуки он задумался, помигал глазами и вдруг с совершенно серьезным лицом подошел к Иленьке: «Попробуйте сделать это; право, это нетрудно». Грап, заметив, что общее внимание обращено на него, покраснел и чуть слышным голосом уверял, что он никак не может этого сделать.

— Да что ж в самом деле, отчего он ничего не хочет показать? Что он за девочка... непременно надо, чтобы он стал на голову!

И Сережа взял его за руку.

— Непременно, непременно на голову! — закричали мы все, обступив Иленьку, который в эту минуту заметно испугался и побледнел, схватили его за руку и повлекли к лексиконам.

— Пустите меня, я сам! курточку разорвете! — кричала несчастная жертва. Но эти крики отчаяния еще более воодушевляли нас; мы помирали со смеху; зеленая курточка трещала на всех швах.

Володя и старший Ивии нагнули ему голову и поставили ее на лексиконы; я и Сережа схватили бедного мальчика за

¹ Татищев В. Н. — русский историк XVIII века. Лексикон — словарь.

тоненькие ноги, которыми он махал в разные стороны, засучили ему панталоны до колен и с громким смехом вскинули их кверху; младший Ивин поддерживал равновесие всего туловища.

Случилось так, что после шумного смеха мы вдруг все замолчали, и в комнате стало так тихо, что слышно было только тяжелое дыхание несчастного Грапа. В эту минуту я не совсем был убежден, что все это очень смешно и весело.

— Вот теперь молодец, — сказал Сережа, хлопнув его рукою.

Иленька молчал и, стараясь вырваться, кидал ногами в разные стороны. Одним из таких отчаянных движений он ударили каблуком по глазу Сережу так больно, что Сережа тотчас же оставил его ноги, схватился за глаз, из которого потекли невольные слезы, и из всех сил толкнул Иленьку. Иленька, не будучи более поддерживаем нами, как что-то безжизненное, грохнулся на землю и от слез мог только выговорить:

— За что вы меня тираните?

Плачевная фигура бедного Иленьки с заплаканным лицом, взъерошенными волосами и засученными панталонами, из-под которых видны были нечищенные голенища, поразила нас; мы все молчали и старались принужденно улыбаться.

Первый опомнился Сережа.

— Вот баба, нюня, — сказал он, слегка трогая его ногою, — с ним шутить нельзя... Ну, полно, вставайте.

— Я вам сказал, что ты негодный мальчишка, — злобно выговорил Иленька и, отвернувшись прочь, громко зарыдал.

— А-а! каблуками бить да еще браниться! — закричал Сережа, схватив в руки лексикон и взмахнув над головою несчастного, который и не думал защищаться, а только закрывал руками голову.

— Вот тебе! вот тебе!.. Бросим его, коли он шуток не понимает... Пойдемте вниз, — сказал Сережа, неестественно засмеявшись.

Я с участием посмотрел на бедняжку, который, лежа на полу и спрятав лицо в лексиконах, плакал так, что, казалось, еще немного, и он умрет от конвульсий, которые дергали все его тело.

— Э, Сергей, — сказал я ему, — зачем ты это сделал?

— Вот хорошо!.. я не заплакал, надеюсь, сегодня, как разбил себе ногу почти до кости.

«Да, это правда, — подумал я. — Иленька больше ничего, как плакса, а вот Сережа — так это молодец... что это за молодец!..»

Я не сообразил того, что бедняжка плакал, верно, не столько от физической боли, сколько от той мысли, что пять мальчиков, которые, может быть, нравились ему, без всякой причины, все согласились ненавидеть и гнать его.

Я решительно не могу объяснить себе жестокости своего поступка. Как я не подошел к нему, не защитил и не утешил его? Куда девалось чувство сострадания, заставлявшее меня, бывало, плакать навзрыд при виде выброшенного из гнезда галчонка или щенка, которого несут, чтобы кинуть за забор, или курицы, которую несет поваренок для супа?

Неужели это прекрасное чувство было заглушено во мне любовью к Сереже и желанием казаться перед ним таким же молодцом, как и он сам? Незавидные же были эти любовь и желание казаться молодцом! Они произвели единственные темные пятна на страницах моих детских воспоминаний.



Обдумаем прочитанное

1. В рассказе от имени Николеньки Иртеньева писатель искусно соединяет изображение непосредственно происходивших событий с воспоминаниями и размышлениями рассказчика. С одной стороны, можно встретить выражения: «я сказал ему», «я живо оделся» и т. д., с другой — «бывало», «как мне памятен...». Найдите в главе места, где события и люди изображаются с точки зрения маленького героя, и строки, написанные в виде воспоминаний взрослого человека.

2. Как меняется отношение Николеньки к Карлу Иванычу на протяжении первой главы? В чем выразилось мастерство писателя в изображении переживаний мальчика? Случалось ли вам в детстве резко, за несколько минут, изменить свое мнение о человеке без видимых на то причин?

3. В повествовании об окружающем Николеньку мире велика роль не только воспоминаний и размышлений героя-рассказчика, но и описаний, знакомящих читателя с другими героями, событиями и местом действия. Назовите описания, которые вам запомнились. Определите их роль в создании образа главного героя.

4. В главе «Охота» Николенька не выполняет наказ папы. Что ему помешало? Какими словами передает автор состояние душевного смятения мальчика, не справившегося с заданием отца? Рассмотрите на цветной вклейке репродукцию картины Владимира Егоровича Маковского «Охотники на привале». Найдите в тексте строки, которым картина могла бы служить иллюстрацией.

5. Сопоставьте героинь стихотворений А. С. Пушкина «Зимний вечер», «Няне», Арину Егоровну из романа «Дубровский» и Наталью Савишну Л. Н. Толстого. Что общего между ними? Почему герой-повествователь любил «мечтать вслух» и мог говорить «всякий

вздор» именно в комнате Натальи Савишины? Как характеризует Николеньку и Наталью Савишину эпизод со скатертью? Что, судя по этому эпизоду, больше всего ценил в людях взрослый рассказчик?

6. Почему рассказчик называет детские годы счастливой порой? Какие качества души пробуждаются в человеке в детстве и утрачиваются, по мнению рассказчика, с годами? А чем, по-вашему, ценные детские годы в жизни человека?

7. Как относится к Илеинке Грапу подросток Николенька Иртеньев? За что, вспоминая издевательства над мальчиком, осуждает себя взрослый рассказчик? Случалось ли вам переоценивать свои поступки?

ОТРОЧЕСТВО (Избранные главы)

«Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства» сменяется отрочеством, — самой мрачной порой жизни Николеньки Иртеньева. Выделяя «характеристические черты каждой эпохи жизни», Л. Н. Толстой писал в планах своего произведения, что детство отмечено теплотой и верностью чувства, а отрочество — самоуверенностью, неощущностью, тщеславием, гордостью. Эти черты, вытесняющие детскую непосредственность, свойственны и Николеньке. Он познает «зло» социального неравенства, испытывает на себе дурное влияние тщеславного воспитателя, сменившего доброго Карла Ивановича, тяжело переживает столкновения интересов в семье.

В «Отрочестве» двадцать семь глав. В них рассказывается о происшествиях, случившихся с Николенькой, содержится психологическая характеристика окружающих его людей. Все это позволяет писателю проследить умственное и нравственное развитие героя.

Некрасов, редактор журнала «Современник», где было напечатано «Отрочество», писал, что «талант автора “Отрочества” самобытен и симпатичен в высшей степени» и что «такие вещи, как описание летней дороги и грозы или сидение в каземате¹, — и многое, многое, дадут этому рассказу долгую жизнь в нашей литературе».

Повесть «Отрочество» начинается главой «Поездка на долгих». В ней рассказывается о переезде героев из Петровского в Москву на одних и тех же лошадях (на «долгих», бессменных). Путешественники отправились в путь в двух экипажах: в карете разместились Мими, Марья Ивановна, ее дочь Катенька, сестра

¹ Имеется в виду «заключение» Николеньки в чулан, а затем в комнату рядом с классной за грубость по отношению к воспитателю.

Николенки Любочка, горничная и приказчик Яков, в бричке — Николенька, Володя и лакей Василий. Поездка длилась четыре дня, которые после тяжелой утраты — смерти матери — произвели на Николеньку отрадное впечатление. Вот как рассказчик, Николенька, делится своими впечатлениями о путешествии: «...беспрестанно новые живописные места и предметы останавливают мое внимание, а весенняя природа вселяет в душу отрадные чувства — довольства настоящим и надежды на будущее. <...> Все так прекрасно вокруг меня, а на душе так легко и спокойно...»

Об одном из эпизодов путешествия повествуется в главе «Гроза».

Глава II

ГРОЗА

Солнце склонялось к западу и косыми жаркими лучами невыносимо жгло мне шею и щеки; невозможно было дотронуться до раскаленных краев брички; густая пыль поднималась по дороге и наполняла воздух. Не было ни малейшего ветерка, который бы относил ее. Впереди нас, на одинаковом расстоянии, мерно покачивался высокий, запыленный кузов кареты с вожами¹, из-за которого виднелся изредка кнут, которым помахивал кучер, его шляпа и фуражка Якова. Я не знал, куда деваться: ни черное от пыли лицо Володи, дремавшего подле меня, ни движения спины Филиппа, ни длинная тень нашей брички, под косым углом бежавшая за нами, не доставляли мне развлечения. Все мое внимание было обращено на верстовые столбы, которые я замечал издалека, и на облака, прежде рассыпанные по небосклону, которые, приняв зловещие, черные тени, теперь собирались в одну большую, мрачную тучу. Изредка погромыхивал дальний гром. Это последнее обстоятельство более всего усиливало мое нетерпение скорее приехать на постоянный двор. Гроза наводила на меня невыразимо тяжелое чувство тоски и страха.

До ближайшей деревни оставалось еще верст десять, а большая темно-лиловая туча, взявшаяся бог знает откуда, без малейшего ветра, но быстро подвигалась к нам. Солнце, еще не скрытое облаками, ярко освещает ее мрачную фигуру и серые полосы, которые от нее идут до самого горизонта. Изредка

¹ Вáжи — большие чемоданы, укреплявшиеся на крыше кареты или вожка.

вдалеке вспыхивает молния и слышится слабый гул, постепенно усиливающийся, приближающийся и переходящий в прерывистые раскаты, обнимающие весь небосклон. Василий приподнимается с козел и поднимает верх брички; кучера надевают армяки и при каждом ударе грома снимают шапки и крестятся; лошади настораживают уши, раздувают ноздри, как будто принююхиваясь к свежему воздуху, которым пахнет от приближающейся тучи, и бричка скорее катит по пыльной дороге. Мне становится жутко, и я чувствую, как кровь быстрее обращается в моих жилах. Но вот передовые облака уже начинают закрывать солнце; вот оно выглянуло в последний раз, осветило страшно-мрачную сторону горизонта и скрылось. Вся окрестность вдруг изменяется и принимает мрачный характер. Вот задрожала осиновая роща; листья становятся какого-то бело-мутного цвета, ярко выдающегося на лиловом фоне тучи, шумят и вертятся; макушки больших берез начинают раскачиваться, и пучки сухой травы летят через дорогу. Стрижи и белогрудые ласточки, как будто с намерением остановить нас, реют вокруг брички и пролетают под самой грудью лошадей; галки с растрепанными крыльями как-то боком летают по ветру; края кожаного фартука, которым мы застегнулись, начинают подниматься, пропускать к нам порывы влажного ветра и, размахиваясь, биться о кузов брички. Молния вспыхивает как будто в самой бричке, ослепляет зрение и на одно мгновение освещает серое сукно, басон¹ и прижавшуюся к углу фигуру Володи. В ту же секунду над самой головой раздается величественный гул, который, как будто поднимаясь все выше и выше, шире и шире, по огромной спиральной линии, постепенно усиливается и переходит в оглушительный треск, невольно заставляющий трепетать и сдерживать дыхание. Гнев Божий! как много поэзии в этой простонародной мысли!

Колеса вертятся скорее и скорее; по спинам Василья и Филиппа, который нетерпеливо помахивает вожжами, я замечаю, что и они боятся. Бричка шибко катится под гору и стучит по дощатому мосту; я боюсь пошевелиться и с минуты на минуту ожидаю нашей общей погибели.

Тпру! оторвался валек², и на мосту, несмотря на беспрерывные оглушительные удары, мы принуждены остановиться.

Прислонив голову к краю брички, я с захватывающим дыханием замиранием сердца безнадежно слежу за движениями

¹ *Басон* — плетеная тесьма или бахрома, идущая для украшения одежды, мебели; использовалась для декоративной обивки дорожных экипажей.

² *Валёк* — короткий круглый брусков, на который надеваются постремки.

толстых черных пальцев Филиппа, который медлительно захлестывает петлю и выравнивает постромки¹, толкая пристяжную² ладонью и кнутовищем.

Тревожные чувства тоски и страха увеличивались во мне вместе с усилением грозы, но когда пришла величественная минута безмолвия, обыкновенно предшествующая разражению грозы, чувства эти дошли до такой степени, что, продолжись это состояние еще четверть часа, я уверен, что умер бы от волнения. В это самое время из-под моста вдруг появляется, в одной грязной дырявой рубахе, какое-то человеческое существо с опухшим бессмысленным лицом, качающейся, ничем не покрытой обстриженной головой, кривыми безмускульными ногами и с какой-то красной, глянцевитой кульяпкой вместо руки, которую он сует прямо в бричку.

— Ба-а-шка! убо-го-му Хри-ста ради, — звучит болезненный голос, и нищий с каждым словом крестится и кланяется в пояс.

Не могу выразить чувства холодного ужаса, охватившего мою душу в эту минуту. Дрожь пробегала по моим волосам, а глаза с бессмыслием страха были устремлены на нищего...

Василий, в дороге подающий милостыню, дает наставления Филиппу насчет укрепления валька и, только когда все уже готово и Филипп, собирая вожжи, лезет на козлы, начинает что-то доставать из бокового кармана. Но только что мы трогаемся, ослепительная молния, мгновенно наполняя огненным светом всю лощину, заставляет лошадей остановиться и, без малейшего промежутка, сопровождается таким оглушительным треском грома, что кажется, весь свод небес рушится над нами. Ветер еще усиливается: гривы и хвосты лошадей, шинель Василья и края фартука принимают одно направление и отчаянно развеиваются от порывов неистового ветра. На кожаный верх брички тяжело упала крупная капля дождя... другая, третья, четвертая, и вдруг как будто кто-то забаранил над нами, и вся окрестность огласилась равномерным шумом падающего дождя. По движениям локтей Василья я замечаю, что он развязывает кошелек; нищий, продолжая креститься и кланяться, бежит подле самых колес, так что, того и гляди, раздавят его. «Подай Хри-ста ра-ди». Наконец медный грош летит мимо нас, и жалкое созданье, в обтянувшем его худые члены, промокшем до нитки рубице, качаясь

¹ Пострёмки — ремни, которые крепятся к хомуту.

² Пристяжная — лошадь, идущая сбоку от оглобель, для помощи коренной.

от ветра, в недоумении останавливается посреди дороги и исчезает из моих глаз.

Косой дождь, гонимый сильным ветром, лил как из ведра; с фризовой¹ спины Василья текли потоки в лужу мутной воды, образовавшуюся на фартуке. Сначала сбитая катышками пыль превратилась в жидкую грязь, которую месили колеса, толчки стали меньшие, и по глинистым колеям потекли мутные ручьи. Молния светила шире и бледнее, и раскаты грома уже были не так поразительны за равномерным шумом дождя.

Но вот дождь становится мельче; туча начинает разделяться на волнистые облака, светлеть в том месте, в котором должно быть солнце, и сквозь серовато-белые края тучи чуть виднеется клочок ясной лазури. Через минуту робкий луч солнца уже блестит в лужах дороги, на полосах падающего, как сквозь сито, мелкого прямого дождя и на обмытой, блестящей зелени дорожной травы. Черная туча так же грозно застилает противоположную сторону небосклона, но я уже не боюсь ее. Я испытываю невыразимо отрадное чувство надежды в жизни, быстро заменяющее во мне тяжелое чувство страха. Душа моя улыбается так же, как и освеженная, повеселевшая природа. Василий откидывает воротник шинели, снимает фуражку и отряхивает ее; Володя откидывает фартук; я высовываюсь из брички и жадно впиваю в себя освеженный, душистый воздух. Блестящий, обмытый кузов кареты с вождями и чемоданами покачивается перед нами, спины лошадей, шлеи, вожжи, шины колес — все мокро и блестит на солнце, как покрытое лаком. С одной стороны дороги — необозримое озимое поле, кое-где перерезанное неглубокими овражками, блестит мокрой землею и зеленью и расстилается тенистым ковром до самого горизонта; с другой стороны — осиновая роща, поросшая ореховым и черемушным подседом², как бы в избытке счаствия стоит, не шелохнется и медленно роняет с своих обмытых ветвей светлые капли дождя на сухие прошлогодние листья. Со всех сторон выются с веселой песнью и быстро падают хохлатые жаворонки; в мокрых кустах слышно хлопотливое движение маленьких птичек, и из середины рощи ясно долетают звуки кукушки. Так обаятелен этот чудный запах леса после весенней грозы, запах березы, фиалки³, прелого листа, сморчков, черемухи, что я не могу усидеть

¹ Фриз — толстая ворсистая ткань.

² Подсёд — здесь: нижний ярус более молодых деревьев в лесу.

³ Современное написание фиалка.

в бричке, соскакиваю с подножки, бегу к кустам и, несмотря на то, что меня осыпает дождевыми каплями, рву мокрые ветки распустившейся черемухи, бью себя ими по лицу и упиваюсь их чудным запахом. Не обращая даже внимания на то, что к сапогам моим липнут огромные комки грязи и чулки мои давно уже мокры, я, цлепая по грязи, бегу к окну кареты.

— Любочка! Катенька! — кричу я, подавая туда несколько веток черемухи, — посмотри, как хорошо!

Девочки пищат, ахают; Мими кричит, чтобы я ушел, а то меня непременно раздавят.

— Да ты понюхай, как пахнет! — кричу я.

Глава III НОВЫЙ ВЗГЛЯД

Катенька сидела подле меня в бричке и, склонив свою хорошенькую головку, задумчиво следила за убегающей под колесами пыльной дорогой. Я молча смотрел на нее и удивлялся тому не детски грустному выражению, которое в первый раз встречал на ее розовеньком лице.

— А вот скоро мы и приедем в Москву, — сказал я, — как ты думаешь, какая она?

— Не знаю, — отвечала она нехотя.

— Ну все-таки, как ты думаешь: больше Серпухова или нет?..

— Что?

— Я ничего.

Но по тому инстинктивному чувству, которым один человек угадывает мысли другого и которое служит путеводною нитью разговора, Катенька поняла, что мне больно ее равнодушие; она подняла голову и обратилась ко мне:

— Папá говорил вам, что мы будем жить у бабушки?

— Говорил; бабушка хочет совсем с нами жить.

— И все будем жить?

— Разумеется; мы будем жить на верху в одной половине; вы в другой половине; а папá во флигеле; а обедать будем все вместе, внизу у бабушки.

— Маман говорит, что бабушка такая важная — сердитая?

— Не-ет! Это только так кажется сначала. Она важная, но совсем не сердитая; напротив, очень добрая, веселая. Коли бы ты видела, какой бал был в ее именины!

— Все-таки я боюсь ее: да, впрочем, бог знает, будем ли мы...

Катенька вдруг замолчала и опять задумалась.

- Что-о? — спросил я с беспокойством.
- Ничего, я так.
- Нет, ты что-то сказала: «Бог знает...»
- Так ты говорил, какой был бал у бабушки.
- Да вот жалко, что вас не было; гостей было пропасть, человек тысяча, музыка, генералы, и я танцевал... Катенька! — сказал я вдруг, останавливаясь в середине своего описания, — ты не слушаешь?
- Нет, слышу; ты говорил, что ты танцевал.
- Отчего ты такая скучная?
- Не всегда же веселой быть.
- Нет, ты очень переменилась с тех пор, как мы приехали из Москвы. Скажи по правде, — прибавил я с решительным видом, поворачиваясь к ней, — отчего ты стала какая-то странная?
- Будто я странная? — отвечала Катенька с одушевлением, которое доказывало, что мое замечание интересовало ее, — я совсем не странная.
- Нет, ты уж не такая, как прежде, — продолжал я, — прежде видно было, что ты во всем с нами заодно, что ты нас считаешь как родными и любишь так же, как и мы тебя, а теперь ты стала такая серьезная, удаляешься от нас...
- Совсем нет...
- Нет, дай мне договорить, — перебил я, уже начиная ощущать легкое щекотанье в носу, предшествующее слезам, которые всегда навертывались мне на глаза, когда я высказывал давно сдержанную задушевную мысль, — ты удаляешься от нас, разговариваешь только с Мими, как будто не хочешь нас знать.
- Да ведь нельзя же всегда оставаться одинаковыми; надо когданибудь и перемениться, — отвечала Катенька, которая имела привычку объяснять все какою-то фаталистической¹ необходимостью, когда не знала, что говорить.
- Я помню, что раз, поссорившись с Любочкой, которая назвала ее *глупой девочкой*, она отвечала: не всем же умным быть, надо и глупым быть; но меня не удовлетворил ответ, что надо же и перемениться когда-нибудь, и я продолжал допрашивать:
- Для чего же это надо?
- Ведь не всегда же мы будем жить вместе, — отвечала Катенька, слегка краснея и пристально вглядываясь в спину Филиппа. — Маменька могла жить у покойницы вашей

¹ *Фаталистический* — неотвратимый, неизбежный.

маменьки, которая была ее другом; а с графиней, которая, говорят, такая сердитая, еще, бог знает, сойдутся ли они? Кроме того, все-таки когда-нибудь да мы разойдемся: вы богаты — у вас есть Петровское, а мы бедные — у маменьки ничего нет.

Вы богаты — мы бедны: эти слова и понятия, связанные с ними, показались мне необыкновенно странны. Бедными, по моим тогдашим понятиям, могли быть только нищие и мужики, и это понятие бедности я никак не мог соединить в своем воображении с грациозной, хорошенькой Катей. Мне казалось, что Мими и Катенька ежели всегда жили, то всегда и будут жить с нами и делить все поровну. Иначе и быть не могло. Теперь же тысячи новых, неясных мыслей, касательно одинокого положения их, зароились в моей голове, и мне стало так совестно, что мы богаты, а они бедны, что я покраснел и не мог решиться взглянуть на Катеньку.

«Что ж такое, что мы богаты, а они бедны? — думал я, — и каким образом из этого вытекает необходимость разлуки? Отчего ж нам не разделить поровну того, что имеем?» Но я понимал, что с Катенькой не годится говорить об этом, и какой-то практический инстинкт, в противность этим логическим размышлениям, уже говорил мне, что она права и что неуместно бы было объяснять ей свою мысль.

— Неужели точно ты уедешь от нас? — сказал я, — как же это мы будем жить врозь?

— Что же делать, мне самой больно; только ежели это случится, я знаю, что я сделаю...

— В актрисы пойдешь... вот глупости! — подхватил я, зная, что быть актрисой было всегда любимой мечтой ее.

— Нет, это я говорила, когда была маленькой...

— Так что же ты сделаешь?

— Пойду в монастырь и буду там жить, буду ходить в черненьком платьице, в бархатной шапочке.

Катенька заплакала.

Случалось ли вам, читатель, в известную пору жизни, вдруг замечать, что ваш взгляд на вещи совершенно изменяется, как будто все предметы, которые вы видели до тех пор, вдруг повернулись к вам другой, неизвестной еще стороной? Такого рода моральная перемена произошла во мне в первый раз во время нашего путешествия, с которого я и считаю начало моего отрочества.

Мне в первый раз пришла в голову ясная мысль о том, что не мы одни, то есть наше семейство, живем на свете, что не все интересы вертятся около нас, а что существует другая



С рисунка А. Костина

жизнь людей, ничего не имеющих общего с нами, не заботящихся о нас и даже не имеющих понятия о нашем существовании. Без сомнения, я и прежде знал все это; но знал не так, как я это узнал теперь, не сознавал, не чувствовал.

Мысль переходит в убеждение только одним известным путем, часто совершенно неожиданным и особенным от путей, которые, чтобы приобрести то же убеждение, проходят другие умы. Разговор с Катенькой, сильно тронувший меня и заставивший задуматься над ее будущим положением, был для меня этим путем. Когда я глядел на деревни и города, которые мы проезжали, в которых в каждом доме жило по крайней мере такое же семейство, как наше, на женщин, детей, которые с минутным любопытством смотрели на экипаж и навсегда исчезали из глаз, на лавочников, мужиков, которые не только не кланялись нам, как я привык видеть это в Петровском, но не удостаивали нас даже взглядом, мне в первый раз пришел в голову вопрос: что же их может занимать, ежели они никак не заботятся о нас? и из этого вопроса возникли другие: как и чем они живут, как воспитывают своих детей, учат ли их, пускают ли играть, как наказывают? и т. д.

Глава V СТАРШИЙ БРАТ

Я был только годом и несколькими месяцами моложе Володи; мы росли, учились и играли всегда вместе. Между нами не делали различия старшего и младшего, но именно около того времени, о котором я говорю, я начал понимать, что Володя не товарищ мне по годам, наклонностям и способностям. Мне даже казалось, что Володя сам сознает свое первенство и гордится им. Такое убеждение, может быть и ложное, внушало мне самолюбие, страдавшее при каждом столкновении с ним. Он во всем стоял выше меня: в забавах, в учении, в ссорах, в умении держать себя, и все это отдаляло меня от него и заставляло испытывать непонятные для меня моральные страдания. Ежели бы, когда Володе в первый раз сделали голландские рубашки со складками, я сказал прямо, что мне весьма досадно не иметь таких, я уверен, что мне стало бы легче и не казалось бы всякий раз, когда он оправлял воротнички, что он делает это для того только, чтобы оскорбить меня.

Меня мучило больше всего то, что Володя, как мне иногда казалось, понимал меня, но старался скрывать это.

Кто не замечал тех таинственных бессловесных отношений,

проявляющихся в незаметной улыбке, движении или взгляде между людьми, живущими постоянно вместе: братьями, друзьями, мужем и женой, господином и служащим, в особенности когда люди эти не во всем откровенны между собой. Сколько недосказанных желаний, мыслей и страха — быть понятым — выражается в одном случайному взгляде, когда робко и нерешительно встречаются ваши глаза!

Но, может быть, меня обманывала в этом отношении моя излишняя восприимчивость и склонность к анализу; может быть, Володя совсем и не чувствовал того же, что я. Он был пылок, откровенен и непостоянен в своих увлечениях. Увлекаясь самыми разнородными предметами, он предавался им всей душой.

То вдруг на него находила страсть к картинкам: он сам принимался рисовать, покупал на все свои деньги, выпрашивал у рисовального учителя, у папа, у бабушки; то страсть к вещам, которыми он украшал свой столик, собирая их по всему дому; то страсть к романам, которые он доставал потихоньку и читал по целым дням и ночам... Я невольно увлекался его страстями; но был слишком горд, чтобы идти по его следам, и слишком молод и несамостоятелен, чтобы избрать новую дорогу. Но ничему я не завидовал столько, как счастливому благородно-откровенному характеру Володи, особенно резко выражавшемуся в ссорах, случавшихся между нами. Я чувствовал, что он поступает хорошо, но не мог подражать ему.

Однажды, во время сильнейшего пыла его страсти к вещам, я подошел к его столу и разбил нечаянно пустой разноцветный флакончик.

— Кто тебя просил трогать мои вещи? — сказал вошедший в комнату Володя, заметив расстройство, произведенное мною в симметрии разнообразных украшений его столика. — А где флакончик? непременно ты...

— Нечаянно уронил; он и разбился, что ж за беда?

— Сделай милость, никогда не смей прикасаться к моим вещам, — сказал он, составляя куски разбитого флакончика и сокрушением глядя на них.

— Пожалуйста, не командуй, — отвечал я. — Разбил так разбил; что ж тут говорить!

И я улыбнулся, хотя мне совсем не хотелось улыбаться.

— Да, тебе ничего, а мне чего, — продолжал Володя, делая жест подергивания плечом, который он наследовал от папа, — разбил, да еще и смеется, этакой несносный мальчишка!

— Я мальчишка; а ты большой, да глупый.

— Не намерен с тобой браниться, — сказал Володя, слегка отталкивая меня, — убирайся.

— Не толкайся!

— Убирайся!

— Я тебе говорю, не толкайся!

Володя взял меня за руку и хотел оттащить от стола; но я уже был раздражен до последней степени: схватил стол за ножку и опрокинул его. «Так вот же тебе!» — и все фарфоровые и хрустальные украшения с дребезгом полетели на пол.

— Отвратительный мальчишка!.. — закричал Володя, стараясь поддержать падающие вещи.

«Ну, теперь все кончено между нами, — думал я, выходя из комнаты, — мы навек поссорились».

До вечера мы не говорили друг с другом; я чувствовал себя виноватым, боялся взглянуть на него и целый день не мог ничем заняться; Володя, напротив, учился хорошо и, как всегда, после обеда разговаривал и смеялся с девочками.

Как только учитель кончал класс, я выходил из комнаты: мне страшно, неловко и совестно было оставаться одному с братом. После вечернего класса истории я взял тетради и направился к двери. Проходя мимо Володи, несмотря на то, что мне хотелось помириться с ним, я надулся и старался сделать сердитое лицо. Володя в это самое время поднял голову и с чуть заметной, добродушной насмешливой улыбкой смело посмотрел на меня. Глаза наши встретились, и я понял, что он понимает меня и то, что я понимаю, что он понимает меня; но какое-то непреодолимое чувство заставило меня отвернуться.

— Николенька! — сказал он мне самым простым, нисколько не патетическим голосом, — полно сердиться. Извини меня, ежели я тебя обидел.

И он подал мне руку.

Как будто, поднимаясь все выше и выше, что-то вдруг стало давить меня в груди и захватывать дыхание; но это продолжалось только одну секунду: на глазах показались слезы, и мне стало легче.

— Прости... ме...ня, Воло...дя! — сказал я, пожимая его руку.

Володя смотрел на меня, однако так, как будто никак не понимал, отчего у меня слезы на глазах...



Обдумаем прочитанное

1. Проследите по тексту, как меняются на протяжении главы «Гроза» состояние природы и чувства главного героя. Какую роль в создании словесного пейзажа играют цветовые и звуковые эпитеты? Какие иллюстрации к главе вам хотелось бы увидеть? Опишите их. Рассмотрите на цветной вклейке репродукцию картины Максима Никифоровича Боробьева «Дуб, раздробленный молнией». Эта картина может быть воспринята и как воспроизведение ужасного явления в природе, и как символ серьезных перемен в жизни человека. Насколько, по-вашему, она близка переживаниям героя повести Л. Н. Толстого?

2. Почему глава III называется «Новый взгляд»? Рассмотрите рисунок А. Костина к этой главе, на котором изображен Николенька. Есть ли такой момент в главе? Что своим рисунком художник стремился сказать читателю? Какую роль в рисунке играет пейзаж?

3. Вспомните о впечатлении, которое произвел на Николеньку нищий в главе «Гроза». Сопоставьте это впечатление с раздумьями юного героя в главе «Новый взгляд» о богатых и бедных. Как изменилось отношение Николеньки к бедным людям и к миру вообще?

◆ 4. Попробуйте ответить на вопрос, заданный автором: «Случалось ли вам, читатель, в известную пору жизни, вдруг замечать, что ваш взгляд на вещи совершенно изменяется, как будто все предметы, которые вы видели до тех пор, вдруг повернулись к вам другой, неизвестной еще стороной?» Обоснуйте свой ответ примером.

5. В чем Николенька видел различие между собой и старшим братом? За что позднее осуждал себя в отношениях с ним? Какова, по-вашему, истинная причина ссоры Николеньки с Володей? Почему взрослый рассказчик, повествуя о давно прошедшем, вспомнил эпизод ссоры с братом? Как вы думаете, какое значение он придавал этому эпизоду в формировании своего характера и нравственности?

6. Какие черты Николеньки показались вам привлекательными? Почему?

ГЕРОЙ И РАССКАЗЧИК

Главный герой трилогии Л. Н. Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность» — Николенька Иртеньев.

Именно его глазами увидены события и другие герои трилогии. Николенька предстает перед читателем еще не сложившимся, а только формирующимся человеком. Он еще не может истинно и зрело судить о людях, которые оказывают непосредственное влияние на ход его «морального развития». В этих случаях на помощь ему приходит рассказчик. Рядом с «я», принадлежащим Николеньке, в трилогии живет другое «я»,

принадлежащее умудренному жизненным опытом человеку, взволнованно вспоминающему о безвозвратно прошедших годах своей жизни. Поэтому в трилогии нередко сопоставляются «тогда», когда действующее лицо и переживаемое событие даны глазами Николеньки, и «теперь», когда они осмысливаются «умным и чувствительным человеком». Вспомним, что говорится в главе «Ивины» об Иленьке Грапе: «Когда я теперь вспоминаю его, я нахожу, что он был очень услужливый, тихий и добрый мальчик; тогда же он мне казался таким презренным существом, о котором не стоило ни жалеть, ни даже думать». Восприятие героев и событий Николенькой и оценка сложных и противоречивых взаимоотношений героя с внешним миром часто не совпадают. В этом и заключается главная особенность повествовательной манеры писателя в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность».



-
1. Найдите в прочитанных вами главах примеры суждений подростка Николеньки Иртеньева и взрослого рассказчика, вспоминающего и оценивающего минувшее. Сопоставьте эти суждения. В чем разница?
 2. Почему в отрочестве Николенька так много внимания уделял вопросам нравственности?



Пишем сочинение

Подготовьте сочинение на одну из тем:

1. Страницы повестей «Детство» и «Отрочество», вызвавшие у меня особенный интерес.
2. Кто из героев повестей «Детство» и «Отрочество» мне особенно симпатичен? Почему?



Приглашаем в библиотеку

Постарайтесь прочитать полностью повести Л. Н. Толстого «Детство» и «Отрочество».

Читая повести (или главы из них), записывайте в свой читательский дневник понравившиеся вам высказывания писателя и его героев.



**Федор
Михайлович
ДОСТОЕВСКИЙ**
(1821—1881)

Я не хочу мыслить и жить иначе, как с верой в то, что все наши девяносто миллионов русских (или там сколько их тогда народится) будут все когда-нибудь образованы, очеловечены и счастливы.

Ф. М. Достоевский. 1876

Труден был жизненный путь писателя: здесь и ранняя смерть матери, и нелегкие годы учения в Главном инженерном училище с его жесткой военной дисциплиной, и заключение в Петропавловскую крепость за участие в собраниях тайного политического кружка. Восемь долгих месяцев провел молодой писатель в каземате. Сколько пережил и передумал он за эти бесконечные дни вынужденного одиночества! А 22 декабря 1849 года, морозным зимним утром, его, вместе с другими участниками кружка, вывели как «преступников» на Семеновский плац и прочитали приговор военного суда: «Подвергнуть смертной казни расстреливанием». До смерти оставалось несколько минут. Троих уже привязывали к столбам. Звучала какая-то команда, он ее не рассышал, но увидел, как серые солдаты подняли ружья на изготовку. Теперь уж — наверное... И этот саван, в который их облачили, и священник в погребальном одеянии поднес уже крест для предсмертного целования, и в ушах, во всем существе — еще глухо отдается неотвратимое: «Отставного инженер-поручика Достоевского подвергнуть смертной казни расстреливанием...»

«Ему все хотелось представить себе, как можно скорее и ярче, что вот как же это так: он теперь есть и живет, а через три минуты будет уже нечто, кто-то или что-то, — так кто же? где же?.. Вершина собора с позолоченной крышей сверкала на ярком солнце. Он помнил, что ужасно упорно

смотрел на эту крышу и на лучи, от нее сверкавшие; оторваться не мог от лучей; ему казалось, что эти лучи его новая природа, что он через три минуты как-нибудь сольется с ними...» И беспрерывная мысль: «Что, если б не умирать! Что, если б воротить жизнь, — какая бесконечность! И все это было бы мое! Я бы тогда каждую минуту в целый век обратил...» — так устами своего героя в романе «Идиот» рассказал потом Достоевский об этом страшном дне. И в этот самый момент к эшафоту подъехал царский адъютант и остановил расстрел. И, словно из ужасного сна, начинает постепенно выплывать смысл чужих слов: «Его величество повелел вместо смертной казни... отставного инженер-поручика Федора Достоевского... в каторжную работу в крепостях на четыре года, а потом рядовым...» Это была жизнь. В тот же вечер после пережитого он писал Михаилу: «Брат! Я не уныл и не пал духом. Жизнь везде жизнь, жизнь в нас самих, а не во внешнем. Подле меня будут люди, и быть человеком между людьми и оставаться им навсегда, в каких бы то ни было несчастьях не уныть и не пачь — вот в чем жизнь, в чем задача ее».

И вот — долгий, многодневный путь, рядом с охранником, по замершим просторам России, когда морозы доходили до сорока градусов. «Я промерзal до сердца», — вспоминал потом Достоевский. В январе 1850 года закованный в кандалы писатель был доставлен в Омскую крепость-острог, где в течение четырех лет ему предстояло отбывать тяжелые каторжные работы. Очень трудны были для Достоевского эти казавшиеся бесконечными четыре года, разбившие его жизнь на две столь разные половины. Пережитое на каторге стало беспощадной школой, обострившей внимание писателя к униженным, оскорблённым, страдающим.

Лишь в конце 1859 года Достоевский возвратился в Петербург. Началась жизнь профессионального писателя. Его романы «Униженные и оскорблённые», «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы» и другие принесли ему мировую славу.

В 1876 году в «Дневнике писателя» (так называл он свои статьи, печатавшиеся в журнале) Достоевский сообщал: «Я давно уже поставил себе идеалом написать роман о русских теперешних детях, ну и, конечно, о теперешних их отцах».

Этот замысел был осуществлен в романе «Братья Карамазовы», главы из которого приводятся ниже.

Трудно читать Достоевского. Он втягивает нас в тяжелые переживания, заставляет страдать вместе со своими героями. Писатель изображает их не в обыденной жизни, а в критические, переломные ее моменты, когда все чувства обострены, душа

страдает и обнажается ее человеческая суть. Если опустить рассказ о поступках героев, их слова и обратиться только к авторским ремаркам, ясно откроется этот накал страстей: «был как бы в исступлении», «с исступленным и побледневшим лицом», «взволнованным срывающимся голосом», «вскричал с разгоревшимся взором», «горящие глазенки», «сердце в нем зажглось», «душа дрожала от слез», «с злобным и вызывающим взглядом», «в страшном испуге»... Можно продолжать без конца. Глубокие переживания не дают говорить героям: речь их взволнованна, мысли порой сбивчивы, от этого в речи недоговоренности, перебивы, неправильности.

Не все читатели готовы к таким переживаниям.

Но в произведениях Достоевского есть то, чего нет у других писателей и без чего не может обойтись всякий культурный человек. Он заставляет думать осложностях жизни, воспитывает добрые чувства в человеке и побуждает видеть в жизни не только светлые стороны, но и зло, с которым можно и должно бороться и которое можно одолеть.

Сам писатель считал, что даже в самых сложных его книгах есть куски, доступные детскому пониманию. Он хотел выбрать такие отрывки и издать их для детей отдельной книгой. Такую книгу подготовил и издал хорошо знавший Достоевского историк литературы Орест Федорович Миллер. В нее вошел и фрагмент из «Братьев Карамазовых», который вы будете читать, — «Мальчики».

А в предисловии к этой книге, переизданной уже в наше время, С. В. Михалков заметил: «Возможно, некоторые читатели и поплачут над этой книгой. Но ведь и смеяться-то по-настоящему не может тот, кто не умеет сочувствовать людям. Смех — это не просто беспечальность. Если человек умеет смеяться только как беспечальный тупица, то это не добрый, а черствый человек».

В статье использованы материалы книги Ю. Селезнева «В мире Достоевского» и статьи К. Тюнькина «О жизни Федора Михайловича Достоевского».

МАЛЬЧИКИ

СВЯЗАЛСЯ СО ШКОЛЬНИКАМИ

...Как только Алеша Карамазов¹ прошел площадь и свернул в переулок, чтобы выйти в Михайловскую улицу, параллель-

¹ Алеша Карамазов — один из главных героев романа «Братья Карамазовы». Ему двадцать лет; он послушник, то есть прислужник в монастыре, готовится стать монахом.

ную Большой, но отделявшуюся от нее лишь канавкой (весь город был пронизан канавками), он увидел внизу перед мостиком кучку школьников, все малолетних деток, от девяти до двенадцати лет, не больше. Одни расходились по домам из класса со своими ранчиками за плечами, другие с кожанными мешочками на ремнях через плечо, одни в курточках, другие в пальтишках, а иные и в высоких сапогах со складками на голеницах, в каких особенно любят щеголять маленькие детки, которых балуют зажиточные отцы. Вся группа оживленно о чем-то толковала, по-видимому, совещалась. Алеша никогда не мог безучастно проходить мимо ребяток, в Москве тоже это бывало с ним, и хоть он больше всего любил трехлетних детей или около того, но и школьники лет десяти, одиннадцати ему очень нравились. А потому как ни озабочен он был теперь, но ему вдруг захотелось свернуть к ним и вступить в разговор. Подходя, он вглядывался в их румяные, оживленные личики и вдруг увидел, что у всех мальчиков было в руках по камню, у других так по два. За канавкой же, примерно шагах в тридцати от группы, стоял у забора и еще мальчик, тоже школьник, тоже с мешочком на боку, по росту лет десяти, не больше, или даже меньше того, — бледненький, болезненный и со сверкающими черными глазками. Он внимательно и пытливо наблюдал группу шести школьников, очевидно его же товарищей, с ним же вышедших сейчас из школы, но с которыми он, видимо, был во вражде. Алеша подошел и, обратясь к одному курчавому, белокурому, румяному мальчику в черной курточке, заметил, оглядев его:

— Когда я носил вот такой, как у вас, мешочек, так у нас носили на левом боку, чтобы правою рукой тотчас достать; а у вас ваш мешок на правом боку, вам неловко доставать.

— Да он левша, — ответил тотчас же другой мальчик, молодцеватый и здоровый, лет одиннадцати. Все остальные пять мальчиков уперлись глазами в Алешу.

— Он и камни левшой бросает, — заметил третий мальчик. В это мгновение в группу как раз влетел камень, задел слегка мальчика-левшу, но пролетел мимо, хотя пущен был ловко и энергически. Пустил же его мальчик за канавкой.

— Лупи его, сажай в него, Смурров! — закричали все. Но Смурров (левша) и без того не заставил ждать себя и тотчас отплатил: он бросил камнем в мальчика за канавкой, но неудачно: камень ударился в землю. Мальчик за канавкой тотчас же пустил еще в группу камень, на этот раз прямо в Алешу, и довольно больно ударил его в плечо. У мальчишки за канавкой

весь карман был полон заготовленными камнями. Это видно было за тридцать шагов по отдувшимся карманам его пальтишка.

— Это он в вас, в вас, он нарочно в вас метил. Ведь вы Карамазов, Карамазов? — закричали, хохоча, мальчики. — Ну, все разом в него, пали!

И шесть камней разом вылетели из группы. Один угодил мальчику в голову, и тот упал, но мигом вскочил и с остервенением начал отвечать в группу камнями. С обеих сторон началась непрерывная перестрелка, у многих в группе тоже оказались в кармане заготовленные камни.

— Что вы это! Не стыдно ли, господа! Шестеро на одного, да вы убьете его! — закричал Алеша.

Он вскочил и стал навстречу летящим камням, чтобы загородить собою мальчика за канавкой. Троє или четверо на минутку унялись.

— Он сам первый начал! — закричал мальчик в красной рубашке раздраженным детским голоском, — он подлец, он давеча в классе Красоткина перочинным ножиком пырнул, кровь потекла. Красоткин только фискалить¹ не хотел, а этого надо избить...

— Да за что? Вы, верно, сами его дразните?

— А вот он опять вам камень в спину прислал. Он вас знает, — закричали дети. — Это он в вас теперь кидает, а не в нас. Ну все, опять в него, не промахивайся, Смурров!

И опять началась перестрелка, на этот раз очень злая. Мальчику за канавкой ударило камнем в грудь; он вскрикнул, заплакал и побежал вверх в гору, на Михайловскую улицу. В группе загаддали: «Ага, струсишь, бежал, мочалка!»

— Вы еще не знаете, Карамазов, какой он подлый, его убить мало, — повторил мальчик в куртке, с горящими глазенками, старше всех, по-видимому.

— А какой он? — спросил Алеша. — Фискал, что ли?

Мальчики переглянулись как будто с усмешкой.

— Вы туда же идете, в Михайловскую? — продолжал тот же мальчик. — Так вот догоните-ка его... вон видите, он остановился опять, ждет и на вас глядит.

— На вас глядит, на вас глядит! — подхватили мальчики.

— Так вот и спросите его, любит ли он банную мочалку, растрепанную. Слышите, так и спросите.

Раздался общий хохот. Алеша смотрел на них, а они на него.

¹ Фискалить — ябедничать, доносить.

— Не ходите, он вас зашибет, — закричал предупредительно Смуров.

— Господа, я его спрашивать о мочалке не буду, потому что вы, верно, его этим как-нибудь дразните, но я узнаю от него, за что вы его так ненавидите...

— Узнайте-ка, узнайте-ка, — засмеялись мальчики.

Алеша перешел мостик и пошел в горку мимо забора прямо к опальному¹ мальчику.

— Смотрите, — кричали ему вслед предупредительно, — он вас не побоится, он вдруг пырнет, исподтишка... как Красоткина.

Мальчик ждал его, не двигаясь с места. Подойдя совсем, Алеша увидел пред собою ребенка не более девяти лет от роду, из слабых и малорослых, с бледненьким худеньким продолговатым личиком, с большими темными и злобно смотревшими на него глазами. Одет он был в довольно ветхое старенькое пальтишко, из которого уродливо вырос. Голые руки торчали из рукавов. На правой коленке панталон² была большая заплатка, а на правом сапоге, на носке, где большой палец, большая дырка, видно, что сильно замазанная чернилами. В оба отдувшиеся кармашка его пальто были набраны камни. Алеша остановился перед ним в двух шагах, вопросительно смотря на него. Мальчик, догадавшись тотчас по глазам Алеши, что тот его бить не хочет, тоже спустил куражу³ и сам даже заговорил.

— Я один, а их шесть... Я их всех перебью один, — сказал он вдруг, сверкнув глазами.

— Вас один камень, должно быть, очень сильно ударили, — заметил Алеша.

— А я Смурову в голову попал! — вскрикнул мальчик.

— Они мне там сказали, что вы меня знаете и за что-то в меня камнем бросили? — спросил Алеша.

Мальчик мрачно посмотрел на него.

— Я вас не знаю. Разве вы меня знаете? — допрашивал Алеша.

— Не приставайте! — вдруг раздражительно вскрикнул мальчик, сам, однако ж, не двигаясь с места, как бы все чего-то выжидал и опять злобно засверкав глазенками.

¹ Опальный — попавший в опалу — гнев, немилость.

² Панталоны — брюки (устар.).

³ Спустить куражу — перестать курчиться, вести себя заносчиво, нагло, издевательски.

— Хорошо, я пойду, — сказал Алеша, — только я вас не знаю и не дразню. Они мне сказали, как вас дразнят, но я вас не хочу дразнить, прощайте!

— Монах в гарнитуровых штанах! — крикнул мальчик, все тем же злобным и вызывающим взглядом следя за Алешей, да кстати и став в позу, рассчитывая, что Алеша непременно бросится на него теперь, но Алеша повернулся, поглядел на него и пошел прочь. Но не успел он сделать и трех шагов, как в спину его больно ударился пущенный мальчиком самый большой булыжник, который только был у него в кармане.

— Так вы сзади? Они правду, стало быть, говорят про вас, что вы нападаете исподтишка? — обернулся опять Алеша, но на этот раз мальчишка с остервенением опять пустил в Алешу камнем и уже прямо в лицо, но Алеша успел заслониться вовремя, и камень ударил его в локоть.

— Как вам не стыдно! Что я вам сделал? — вскричал он.

Мальчик молча и задорно ждал лишь одного, что вот теперь Алеша уж несомненно на него бросится; видя же, что тот даже и теперь не бросается, совершенно озлился, как зверенок: он сорвался с места и кинулся сам на Алешу, и не успел тот шевельнуться, как злой мальчишка, нагнув голову и схватив обеими руками его левую руку, больно укусил ему средний ее палец. Он впился в него зубами и секунд десять не выпускал его. Алеша закричал от боли, дергая изо всей силы палец. Мальчик выпустил его, наконец, и отскочил на прежнюю дистанцию. Палец был больно прокусшен, у самого ногтя, глубоко, до кости; полилась кровь. Алеша вынул платок и крепко обернулся в него раненную руку. Обертывал он почти целую минуту. Мальчишка все это время стоял и ждал. Наконец Алеша поднял на него свой тихий взор.

— Ну хорошо, — сказал он, — видите, как вы меня больно укусили, ну и довольно ведь, так ли? Теперь скажите, что я вам сделал?

Мальчик посмотрел с удивлением.

— Я хоть вас совсем не знаю и в первый раз вижу, — все так же спокойно продолжал Алеша, — но не может быть, чтоб я вам ничего не сделал, — не стали бы вы меня так мучить даром. Так что же я сделал и чем я виноват пред вами, скажите?

Вместо ответа мальчик вдруг громко заплакал, в голос, и вдруг побежал от Алеши. Алеша пошел тихо вслед за ним на Михайловскую улицу, и долго еще видел он, как бежал вдали мальчик, не умалая шагу, не оглядываясь и, верно, все

так же в голос плача. Он положил непременно, как только найдется время, разыскать его и разъяснить эту чрезвычайно поразившую его загадку. <...>

НАДРЫВ В ИЗБЕ

<...> Алеша разыскал в Озерной улице дом мещанки Калмыковой, ветхий домишко, перекосившийся, всего в три окна на улицу, с грязным двором, посреди которого уединенно стояла корова. Вход был со двора в сени; налево из сеней жила старая хозяйка со старухой дочерью, и кажется, обе глухие. На вопрос его о штабс-капитане, несколько раз повторенный, одна из них, поняв наконец, что спрашивают жильцов, ткнула ему пальцем чрез сени, указывая на дверь в чистую избу. Квартира штабс-капитана действительно оказалась только простою избой. Алеша взялся было рукой за железную скобу, чтобы отворить дверь, как вдруг необыкновенная тишина за дверями поразила его. Он знал, однако, со слов Катерины Ивановны, что отставной штабс-капитан человек семейный. «Или спят все они, или, может быть, услыхали, что я пришел, и ждут, пока я отворю; лучше я сперва постучусь к ним», — и он постучал. Ответ послышался, но не сейчас, а секунд даже, может быть, десять спустя.

— Кто таков! — прокричал кто-то громким и усиленно сердитым голосом.

Алеша отворил тогда дверь и шагнул через порог. Он очутился в избе, хотя и довольно просторной, но чрезвычайно загроможденной и людьми и всяким домашним скарбом¹. Налево была большая русская печь. От печи к левому окну чрез всю комнату была протянута веревка, на которой было развешано разное тряпье. По обеим стенам налево и направо помещалось по кровати, покрытых вязанными одеялами. На одной из них, на левой, была воздвигнута горка из четырех ситцевых подушек, одна другой меньше. На другой же кровати справа виднелась лишь одна очень маленькая подушечка. Далее в переднем углу было небольшое место, отгороженное занавеской или простыней, тоже перекинутую через веревку, протянутую поперек угла. За этой занавеской тоже примечалась сбоку устроенная на лавке и на приставленном к ней стуле постель. Простой деревянный четырехугольный мужицкий стол был отодвинут из переднего угла к серединному окошку.

¹ Скарб — пожитки, вещи.

Все три окна, каждое в четыре мелкие, зеленые заплесневшие стекла, были очень тусклы и нагло заперты, так что в комнате было довольно душно и не так светло. На столе стояла сковорода с остатками глазной яичницы, лежал надъеденный ломоть хлеба и сверх того находился полууштоф¹ со слабыми остатками земных благ лишь на донушке. Возле левой кровати на стуле помещалась женщина, похожая на даму, одетая в ситцевое платье. Она была очень худа лицом, желтая; чрезвычайно впалые щеки ее свидетельствовали с первого раза о ее болезненном состоянии. Но всего более поразил Алешу взгляд бедной дамы — взгляд чрезвычайно вопросительный и в то же время ужасно надменный. И до тех пор пока дама не заговорила сама и пока объяснялся Алеша с хозяином, она все время так же надменно и вопросительно переводила свои большие карие глаза с одного говорившего на другого. Подле этой дамы у левого окошка стояла молодая девушка с довольно некрасивым лицом, с рыженькими жиidenькими волосами, бедно, хотя и весьма опрятно одетая. Она брезгливо осматривала вошедшего Алешу. Направо, тоже у постели, сидело и еще одно женское существо. Это было очень жалкое создание, молодая тоже девушка, лет двадцати, но горбатая и безногая, с отсохшими, как сказали потом Алеше, ногами. Костили ее стояли подле, в углу, между кроватью и стеной. Замечательно прекрасные и добрые глаза бедной девушки с какою-то спокойною кротостью поглядели на Алешу. За столом, кончая яичницу, сидел господин лет сорока пяти, невысокого роста, сухощавый, слабого сложения, рыжеватый, с рыженькою редкою бородкой, весьма похожею на растрепанную мочалку (это сравнение и особенно слово «мочалка» так и сверкнули почему-то с первого же взгляда в уме Алещи, он это потом припомнил). Очевидно, этот самый господин и крикнул из-за двери: кто таков, так как другого мужчины в комнате не было. Но когда Алеша вошел, он словно сорвался со скамьи, на которой сидел за столом, и, наскоро обтираясь дырявою салфеткой, подлетел к Алеше.

— Монах на монастырь просит, знал к кому прийти! — громко между тем проговорила стоявшая в левом углу девица.

Но господин, подбежавший к Алеше, мигом повернулся к ней на каблуках и взмолнованным срывающимся каким-то голосом ей ответил:

¹ Полуштоф — старая русская мера водки, а также четырехгранная бутыль такой меры.

— Нет-с, Варвара Николаевна, это не то-с, не угадали-с! Позвольте спросить в свою очередь, — вдруг опять повернулся он к Алеше, — что побудило вас-с посетить... эти недра-с?

Алеша внимательно смотрел на него, он в первый раз этого человека видел. Было в нем что-то угловатое, спепшающее и раздражительное. Хотя он, очевидно, сейчас выпил, но пьян не был. Лицо его изображало какую-то крайнюю наглость и в то же время — странно это было — видимую трусость. Он похож был на человека, долгое время подчинявшегося и натерпевшегося, но который бы вдруг вскочил и захотел заявить себя. Или, еще лучше, на человека, которому ужасно бы хотелось вас ударить, но который ужасно боится, что вы его ударите. В речах его и в интонации довольно пронзительного голоса слышался какой-то юродливый¹ юмор, то злой, то робеющий, не выдерживающий тона и срывающийся. Вопрос о «недрах» задал он как бы весь дрожа, выпучив глаза и подскочив к Алеше до того в упор, что тот машинально сделал шаг назад. Одет был этот господин в темное, весьма плохое, какое-то нанковое² пальто, запахнутое и в пятнах. Панталоны на нем были чрезвычайно какие-то светлые, такие, что никто давно и не носит, клетчатые и из очень тоненькой какой-то материи, смятые снизу и сбившиеся оттого наверх, точно он из них, как маленький мальчик, вырос.

— Я... Алексей Карамазов... — проговорил было в ответ Алеша.

— Отменно умею понимать-с, — тотчас же отрезал господин, давая знать, что ему и без того известно, кто он такой. — Штабс я капитан-с³ Снегирев-с, в свою очередь; но все же желательно узнать, что именно побудило...

— Да я так только зашел. Мне в сущности от себя хотелось бы вам сказать одно слово... Если только позволите...

— В таком случае вот и стул-с, извольте взять место-с. Это в древних комедиях говорили: «Извольте взять место»... — и штабс-капитан быстрым жестом схватил порожний стул (простой мужицкий, весь деревянный и ничем не обитый) и поставил его чуть не посередине комнаты; затем, схватив другой такой же стул для себя, сел напротив Алеши, по-прежнему к нему в упор и так, что колени их почти соприкасались вместе.

¹ Юродливый — от юродствовать — напускать на себя дурь, прикидываться дурачком.

² Нанковый — из грубой хлопчатобумажной ткани, обычно желтого цвета.

³ Штабс-капитан — офицерский чин — выше поручика и ниже капитана.

— Николай Ильич Снегирев-с, русской пехоты бывший штабс-капитан-с, хоть и посрамленный своими пороками, но все же штабс-капитан. Скорее бы надо сказать: штабс-капитан Словоерсов, а не Снегирев, ибо лишь со второй половины жизни стал говорить словоерсами. Слово-ер-с¹ приобретается в унижении.

— Это так точно, — усмехнулся Алеша, — только невольно приобретается или нарочно?

— Видит бог, невольно. Все не говорил, целую жизнь не говорил словоерсами, вдруг упал и встал с словоерсами. Это делается вышею силой. Вижу, что интересуетесь современными вопросами. Чем, однако, мог возбудить столь любопытства, ибо живу в обстановке, невозможной для гостеприимства.

— Я пришел... по тому самому делу...

— По тому самому делу? — нетерпеливо прервал штабс-капитан.

— По поводу той встречи вашей с братом моим Дмитрием Федоровичем, — неловко отрезал Алеша.

— Какой же это встречи-с? Это уж не той ли самой-с? Значит, насчет мочалки, банной мочалки? — надвинулся он вдруг так, что в этот раз положительно стукнулся коленками в Алешу. Губы его как-то особенно сжалась в ниточку.

— Какая это мочалка? — пробормотал Алеша.

— Это он на меня тебе, папа, жаловаться пришел! — крикнул знакомый уже Алеше голосок давешнего мальчика из-за занавески в углу. — Это я ему давеча палец укусил! — Занавеска отдернулась, и Алеша увидел давешнего врага своего, в углу, под образами, на приложенной на лавке и на стуле постельке. Мальчик лежал накрытый своим пальтишком и еще стареньkim ватным одеяльцем. Очевидно, был нездоров и, судя по горящим глазам, в лихорадочном жару. Он беспощадно, не по-давешнему, глядел теперь на Алешу: «Дома, дескать, теперь не достанешь».

— Какой такой палец укусил? — привскочил со стула штабс-капитан. — Это вам он палец укусил-с?

— Да, мне. Давеча он на улице с мальчиками камнями перебрасывался; они в него шестеро кидают, а он один. Я подошел к нему, а он и в меня камень бросил, потом другой мне в голову. Я спросил: что я ему сделал? Он вдруг бросился и больно укусил мне палец, не знаю за что.

¹ Слово-ер-с — название звука «с» — сокращение «сударь», — прибавленного к слову в знак особой почтительности и даже принижения по отношению к собеседнику.

— Сейчас высеку-с! Сею минутой высеку-с, — совсем уже вскочил со стула штабс-капитан.

— Да я ведь вовсе не жалуюсь, я только рассказал... Я вовсе не хочу, чтобы вы его высекли. Да он, кажется, теперь и болен...

— А вы думали я высеку-с? Что я Илюшечку возьму да сейчас и высеку пред вами для вашего полного удовлетворения? Скоро вам это надо-с? — проговорил штабс-капитан, вдруг повернувшись к Алеше с таким жестом, как будто хотел на него броситься. — Жалею, сударь, о вашем пальчике, но не хотите ли, я, прежде чем Илюшечку сечь, свои четыре пальца, сейчас же на ваших глазах, для вашего справедливого удовлетворения, вот этим самым ножом оттяпаю. Четырех-то пальцев, я думаю, вам будет довольно-с для утоления жажды мщения-с, пятого не потребуете?.. — Он вдруг остановился и как бы задохся. Каждая черточка на его лице ходила и дергалась, глядел же с чрезвычайным вызовом. Он был как бы в исступлении.

— Я, кажется, теперь все понял, — тихо и грустно ответил Алеша, продолжая сидеть. — Значит, ваш мальчик — добрый мальчик, любит отца и бросился на меня как на брата вашего обидчика... Это я теперь понимаю, — повторил он раздумывая. — Но брат мой Дмитрий Федорович раскаивается в своем поступке, я знаю это, и если только ему возможно будет прийти к вам, или всего лучше свидеться с вами опять в том самом месте, то он попросит у вас при всех прощения... если вы пожелаете.

— То есть вырвал бороденку и попросил извинения... Все, дескать, закончил и удовлетворил, так ли-с?

— О нет, напротив, он сделает все, что вам будет угодно и как вам будет угодно!

— Так что если б я попросил его светлость стать на коленки предо мной в этом самом трактире-с — «Столичный город» ему наименование — или на площади-с, так он и стал бы?

— Да, он станет и на колени.

— Пронзили-с. Прослезили меня и пронзили-с. Слишком наклонен чувствовать... <....> Пойдемте же, Алексей Федорович, покончить надо-с...

И, схватив Алешу за руку, он вывел его из комнаты прямо на улицу.

И НА ЧИСТОМ ВОЗДУХЕ

— Воздух чистый-с, а в хоромах-то у меня и впрямь несвежо, во всех даже смыслах. Пройдемте, сударь, шагом. Очень бы хотелось мне вас заинтересовать-с.

— Я и сам к вам имею одно чрезвычайное дело... — заметил Алеша, — и только не знаю, как мне начать.

— Как не узнать, что у вас до меня дело-с? Без дела-то вы бы никогда ко мне и не заглянули. Али в самом деле только жаловаться на мальчика приходили-с? Так ведь это невероятно-с. А кстати о мальчике-с: я вам там всего изъяснить не мог-с, а здесь теперь сцену эту вам опишу-с. Видите ли, мочалка-то была гуще-с, еще всего неделю назад, — я про бороденку мою говорю-с; это ведь бороденку мою мочалкой прозвали, школьники главное-с. Ну-с, вот-с, тянет меня тогда ваш братец Дмитрий Федорович за мою бороденку, вытянул из трактира на площадь, а как раз школьники из школы выходят, а с ними и Илюша. Как увидал он меня в таком виде-с, бросился ко мне: «Папа, — кричит, — папа!» Хватается за меня, обнимает меня, хочет меня вырвать, кричит моему обидчику: «Пустите, пустите, это папа мой, папа, простите его», — так ведь и кричит: «Простите»; ручонками-то тоже его схватил, да руку-то ему, эту самую-то руку его, и целует-с... помню я в ту минуту, какое у него было личико-с, не забыл-с и не забуду-с!..

— Клянусь, — воскликнул Алеша, — брат вам самым искренним образом, самым полным, выразит раскаяние, хотя бы даже на коленях на той самой площади... Я заставлю его, иначе он мне не брат!

— Ага, так это еще в проекте¹ находится. Не прямо от него, а от благородства лишь вашего сердца исходит пылкого-с. Так бы и сказали-с. Нет, уж в таком случае позвольте мне и о высочайшем рыцарском и офицерском благородстве вашего братца досказать, ибо он его тогда выразил-с. Кончил он это меня за мочалку тащить, пустил на волю-с: «Ты, говорит, офицер, и я офицер, если можешь найти секунданта, порядочного человека, то присылай — дам удовлетворение, хотя бы ты и мерзавец!» Воистину рыцарский дух! Удалились мы тогда с Илюшой, а родословная фамильная картина навеки у Илюши в памяти душевной отпечатлелась. Нет уж, где нам дворянами оставаться-с. Да и посудите сами-с, изволили сами быть сейчас у меня в хоромах — что видели-с? Три дамы сидят-с, одна без ног слабоумная, другая без ног горбатая, а третья с ногами, да слишком уж умная, курсистка-с², в Петербург снова рвется,

¹ Прожект — проект. То есть то, о чем говорит Алеша, только предполагается, только может произойти.

² Курсистка — слушательница женских курсов, готовивших врачей или учителей.

там на берегах Невы права женщины русской отыскивать. Про Илюшу не говорю-с, всего девять лет-с, один как перст, ибо умри я — и что со всеми этими недрами станется, я только про то одно вас спрошу-с? А если так, то вызови я его на дуэль, а ну как он меня тотчас же и убьет, ну что же тогда? С ними-то тогда со всеми что станется-с? Еще хуже того, если он не убьет, а лишь только меня искалечит: работать нельзя, а рот-то все-таки остается, кто ж его накормит тогда, мой рот, и кто ж их-то всех тогда накормит-с? Аль Илюшу вместо школы милостыню просить высыпать ежедневно? Так вот что оно для меня значит-с на дуаль-то его вызвать-с, глупое это слово-с, и больше ничего-с.

— Он будет у вас просить прощения, он посреди площади вам в ноги поклонится, — вскричал опять Алеша с загоревшимся взором.

— Хотел я его в суд позвать, — продолжал штабс-капитан, — но разверните наш кодекс, много-ль мне придется удовлетворения за личную обиду мою с обидчика получить-с?
<...> Вследствие всего сего я и притих-с, и вы недра видели-с. А теперь позвольте спросить: больно он вам пальчик давеча укусил, Илюша-то? В хоромах-то я при нем войти в сию подробность не решился.

— Да, очень больно, и он очень был раздражен. Он мне как Карамазову за вас отомстил, мне это ясно теперь. Но если бы вы видели, как он с товарищами-школьниками камнями перекидывался? Это очень опасно, они могут его убить, они дети, глупы, камень летит и может голову проломить.

— Да уж и попало-с, не в голову, так в грудь-с, повыше сердца-с, сегодня удар камнем, синяк-с, пришел, плачет, охает, а вот и заболел.

— И знаете, ведь он там сам первый и нападает на всех, он озлился за вас, они говорят, что одному мальчику, Красоткину, давечка в бок перочинным ножиком пырнул...

— Слышал и про это, опасно-с: Красоткин это чиновник здешний, еще, может быть, хлопоты выйдут-с...

— Я бы вам советовал, — с жаром продолжал Алеша, — некоторое время не посыпать его вовсе в школу, пока он уимется... и гнев этот в нем пройдет...

— Гнев-с! — подхватил штабс-капитан, — именно гнев-с. В маленьком существе, а великий гнев-с. Вы этого всего не знаете-с. Позвольте мне пояснить эту повесть особенно. Дело в том, что после того события все школьники в школе стали его мочалкой дразнить. Дети в школах народ безжалостный: порознь ангелы Божии, а вместе, особенно в школах, весьма

часто безжалостны. Начали они его дразнить, воспрянул в Илюше благородный дух. Обыкновенный мальчик, слабый сын, — тот бы смирился, отца своего застыдился, а этот один против всех восстал за отца. За отца и за истину-с, за правду-с. Ибо, что он тогда вынес, как вашему братцу руки целовал и кричал ему: «Простите папочку, простите папочку», — то это только Бог один знает да я-с. И вот так-то детки наши — то есть не ваши, а наши-с, детки презренных, но благородных нищих-с, правду на земле еще в девять лет от роду узнают-с. Богатым где: те всю жизнь такой глубины не исследуют, а мой Илюшка в ту самую минуту на площади-то-с, как руки-то его целовал, в ту самую минуту всю истину произошел-с. Воспала в него эта истина-с и пришибла его навеки-с, — горячо и опять как бы в исступлении произнес штабс-капитан и при этом ударил правым своим кулаком в левую ладонь, как бы желая наяву выразить, как пришибла его Илюшу «истину». — В тот самый день он у меня в лихорадке был-с, всю ночь бредил. Весь тот день мало со мной говорил, совсем молчал даже, только заметил я: глядит, глядит на меня из угла, а все больше к окну припадает и делает вид, будто бы уроки учит, а я вижу, что не уроки у него на уме. На другой день я выпил-с и многого не помню-с, грешный человек, с горя-с. Маменька тоже тут плакать начала-с — маменьку-то я очень люблю-с — ну с горя и клюкнул на последние-с. Вы, сударь, не презирайте меня: в России пьяные люди у нас самые добрые. Самые добрые люди у нас и самые пьяные. Лежу это я и Илюшу в тот день не очень запомнил, а в тот-то именно день мальчишки и подняли его на смех в школе с утра-с: «Мочалка, — кричат ему, — отца твоего за мочалку из трактира тащили, а ты подле бежал и прощения просил». На третий это день пришел он опять из школы, смотрю — лица на нем нет, побледнел. Что ты, говорю? Молчит. Ну в хоромах-то ничего было разговаривать, а то сейчас маменька и девицы участие примут, — девицы-то к тому же всё уже узнали, даже еще в первый день. Варвара-то Николаевна уже стала ворчать: «Шуты, паяцы, разве может у вас что разумное быть?» — «Так точно, говорю, Варвара Николаевна, разве может у нас что разумное быть?» Тем на тот раз и отделался. Вот-с к вечеру я и вывел мальчика погулять. А мы с ним, надо вам знать-с, каждый вечер и допреж того гулять выходили, ровно по тому самому пути, по которому с вами теперь идем, от самой нашей калитки до вон того камня большущего, который вон там на дороге сиротой лежит

у плетня и где выгон¹ городской начинается: место пустынное и прекрасное-с. Идем мы с Илюшой, ручка его в моей руке, по обыкновению; махонькая у него ручка, пальчики тоненькие, холодненькие, — грудкой ведь он у меня страдает. «Папа, говорит, папа!» — «Что», — говорю ему, глазенки, вижу, у него сверкают. «Папа, как он тебя тогда, папа!» — «Что делать, Илюша», — говорю. «Не мирись с ним, папа, не мирись. Школьники говорят, что он тебе десять рублей за это дал». — «Нет, говорю, Илюша, я денег от него не возьму теперь ни за что». Так он и затрясся весь, схватил мою руку в свои обе ручки, опять целует. «Папа, говорит, папа, вызови его на дуэль, в школе дразнят, что ты трус и не вызовешь его на дуэль, а десять рублей у него возьмешь». — «На дуэль, Илюша, мне нельзя его вызвать», — отвечаю я и излагаю ему вкратце все то, что и вам на сей счет сейчас изложил. Выслушал он. <...> «Папа, говорит, папа, я его повалю, как большой буду, я ему саблю выбью своей саблей, брошусь на него, повалю его, замахнусь на него саблей и скажу ему: мог бы сейчас убить, но прощаю тебя, вот тебе!» Видите, видите, сударь, какой процессик в головке-то его произошел в эти два дня, это он день и ночь об этом именно мнении саблей думал и ночью, должно быть, об этом бредил-с. Только стал он из школы приходить больно битый, это третьего дня я все узнал, и вы правы-с; больше уж в школу эту я его не пошлю-с. Узнаю я, что он против всего класса один идет и всех сам вызывает, сам озлился, сердце в нем зажглось, — испугался я тогда за него. Опять ходим гуляем. «Папа, спрашивает, ведь богатые всех сильнее на свете?» — «Да, говорю, Илюша, нет на свете сильнее богатого». — «Папа, говорит, я разбогатею, я в офицеры пойду и всех разобью, меня царь наградит, я приеду, и тогда никто не посмеет. — Потом помолчал, да и говорит — губенки-то у него все по-прежнему вздрагивают: — Папа, говорит, какой это нехороший город наш, папа!» — «Да, говорю, Илюшечка, не очень-таки хороши наш город». — «Папа, переедем в другой город, в хороший, говорит, город, где про нас и не знают». — «Переедем, говорю, переедем, Илюша, — вот только денег скоплю». Обрадовался я слушаю отвлечь его от мыслей темных, и стали мы мечтать с ним, как мы в другой город переедем, лошадку свою купим да тележку. Маменьку да сестриц усадим, закроем их, а сами сбоку пойдем, изредка тебя подсажу, а я тут подле пойду, потому лошадку свою поберечь надо,

¹ Выгон — место, где пасется скот, пастбище.

не всем же садиться, так и отправимся. Восхитился он этим, а главное, что своя лошадка будет и сам на ней поедет. А уж известно, что русский мальчик так и родится вместе с лошадкой. Болтали мы долго, слава Богу, думаю, развлек я его, утешил. Это третьего дня вечером было, а вчера вечером уже другое оказалось. Опять он утром в эту школу пошел, мрачный вернулся, очень уж мрачен. Вечером взял я его за ручку, вывел гулять, молчит, не говорит. Ветерок тогда начался, солнце затмилось, осенью повеяло, да и смеркалось уж — идем, обоим нам грустно. «Ну, мальчик, как же мы, говорю, с тобой в дорогу-то соберемся», — думаю на вчерашний-то разговор навести. Молчит. Только пальчики его, слышу, в моей руке вздрогнули. Э, думаю, плохо, новое есть. Дошли мы, вот как теперь, до этого самого камня, сел я на камень этот, а на небесах все змеи запущены, гудят и трещат, змеев тридцать видно. Ведь ныне змейный сезон-с. «Вот, говорю, Илюша, пора бы и нам змеек прошлогодний запустить. Почемю-ка я его, где он у тебя там спрятан?» Молчит мой мальчик, глядит в сторону, стоит ко мне боком. А тут ветер вдруг загудел, понесло песком... Бросился он вдруг ко мне весь, обнял мне обеими ручонками шею, стиснул меня. Знаете, детки коли молчаливые да гордые, да слезы долго перемогают в себе, да как вдруг прорвутся, если горе большое придет, так ведь не то что слезы потекут-с, а брызнут словно ручьи-с. Теплыми-то брызгами этими так вдруг и обмочил он мне все лицо. Зарыдал как в судороге, затрясся, прижимает меня к себе, я сижу на камне. «Папочка, вскрикивает, папочка, милый папочка, как он тебя унизил!» Зарыдал тут и я-с, сидим и сотрясаемся обнявшись. «Папочка, говорит, папочка!» — «Илюша, — говорю ему, — Илюшечка!» Никто-то нас тогда не видел-с, Бог один видел, авось мне в формуляр¹ занесет-с. Поблагодарите вашего брата, Алексей Федорович. Нет-с, я моего мальчика для вашего удовлетворения не высеку-с!

Кончил он опять со своим давешним злым и юродливым вывертом. Алеша почувствовал, однако, что ему уж он доверяет и что будь на его месте другой, то с другим этот человек не стал бы так «разговаривать» и не сообщил бы ему того, что сейчас ему сообщил. Это ободрило Алешу, у которого душа дрожала от слез.

— Ах, как бы мне хотелось помириться с вашим мальчиком! — воскликнул он. — Если б вы это устроили...

¹ *Формулár* — послужной список, где в установленных графах отмечалось прохождение службы военным или гражданским лицом.

ЖУЧКА

У постели смертельно больного Илюши собирались его школьные товарищи и Алеша Карамазов. Пришел и друг Илюши, последнее время находившийся с ним в ссоре, Коля Красоткин. Он решил сначала наедине встретиться с Алешей.

Коля с важной миной в лице прислонился к забору и стал ожидать появления Алеши. Да, с ним ему давно уже хотелось встретиться. Он много наслышался о нем от мальчиков, но до сих пор всегда наружно выказывал презрительно равнодушный вид, когда ему о нем говорили, даже «критиковал» Алешу, выслушивая то, что о нем ему передавали. Но про себя очень, очень хотел познакомиться: что-то было во всех высказанных им рассказах об Алеше симпатическое и влекущее. Таким образом, теперешняя минута была важная; во-первых, надо было себя в грязь лицом не ударить, показать независимость: «А то подумает, что мне тринадцать лет, и примет меня за такого же мальчишку, как и эти. И что ему эти мальчишки? Спрошу его, когда сойдусь. Скверно, однако же, то, что я такого маленького роста. Тузиков моложе меня, а на полголовы выше. Лицо у меня, впрочем, умное; я не хороши, я знаю, что я мерзок лицом, но лицо умное. Тоже надо не очень высказываться, а то сразу-то с объятиями, он и подумает... Тьфу, какая будет мерзость, если подумает!..»

Так волновался Коля, изо всех сил стараясь принять самый независимый вид. Главное, его мучил маленький его рост, не столько «мерзкое» лицо, сколько рост. У него дома, в углу на стене, еще с прошлого года была сделана карандашом черточка, которую он отметил свой рост, и с тех пор каждые два месяца он с волнением подходил опять мериться: на сколько успел вырасти? Но увы! Вырастал он ужасно мало, и это приходило его порой просто в отчаяние. Что же до лица, то было оно вовсе не «мерзкое», напротив, довольно миловидное, беленькое, бледненькое, с веснушками. Серые, небольшие, но живые глазки смотрели смело и часто загорались чувством. Скулы были несколько широки, губы маленькие, не очень толстые, но очень красные; нос маленький и решительно вздернутый: «Совсем курносый, совсем курносый!» — бормотал про себя Коля, когда смотрелся в зеркало, и всегда отходил от зеркала с негодованием. «Да вряд ли и лицо умное?» — подумывал он иногда, даже сомневаясь и в этом. Впрочем, не надо полагать, что забота о лице и о росте поглощала всю его душу. Напротив, как ни язвительны были минуты пред

зеркалом, но он быстро забывал о них, и даже надолго, «весь отдаваясь идеям и действительной жизни», как определял он сам свою деятельность.

Алеша появился скоро и спеша подошел к Коле; за несколько шагов еще тот разглядел, что у Алеши было какое-то совсем радостное лицо. «Неужели так рад мне?» — с удовольствием подумал Коля. Здесь, кстати, заметим, что Алеша очень изменился с тех пор, как мы его оставили: он сбросил подрясник¹ и носил теперь прекрасно спитый сюртук², мягкую круглую шляпу и коротко обстриженные волосы. Все это очень его скрасило, и смотрел он совсем красивчиком. Миловидное лицо его имело всегда веселый вид, но веселость эта была какая-то тихая и спокойная. К удивлению Коли, Алеша вышел к нему в том, в чем сидел в комнате, без пальто, видно, что поспешил. Он прямо протянул Коле руку.

— Вот и вы наконец, как мы вас все ждали.

— Были причины, о которых сейчас узнаете. Во всяком случае, рад познакомиться. Давно ждал случая и много слышал, — пробормотал, немного задыхаясь, Коля.

— Да мы с вами и без того бы познакомились, я сам о вас много слышал, но здесь-то вы запоздали.

— Скажите, как здесь?

— Илюша очень плох, он непременно умрет.

— Что вы! Согласитесь, что медицина подлость, Карамазов, — с жаром воскликнул Коля.

— Илюша часто, очень часто поминал об вас, даже, знаете, во сне, в бреду. Видно, что вы ему очень, очень были дороги прежде... до того случая... с ножиком. Тут есть и еще причина... Скажите, это ваша собака?

— Моя. Перезвон.

— А не Жучка? — жалостно поглядел Алеша в глаза Коле. — Та уже так и пропала?

— Знаю, что вам хотелось бы всем Жучку, слышал все-с, — загадочно усмехнулся Коля. — Слушайте, Карамазов, я вам объясню все дело, я, главное, с тем и пришел, для этого вас и вызвал, чтобы вам предварительно объяснить весь пассаж, прежде чем мы войдем, — оживленно начал он. — Видите,

¹ Подрясник — у православного духовенства: длинная одежда с узкими рукавами, поверх которой надевается ряса — верхняя одежда в талию, с широкими рукавами.

² Сюртук — род пиджака, двубортного, в талию, с длинными полами.

Карамазов, весной Илюша поступает в приготовительный класс. Ну, известно, наш приготовительный класс: мальчишки, детвора. Илюшу тотчас же начали задирать. Я двумя классами выше и, разумеется, смотрю издали, со стороны. Вижу, мальчик маленький, слабенький, но не подчиняется, даже с ними дерется, гордый, глазенки горят. Я люблю этих. А они его пуще. Главное, у него тогда было платьишко скверное, штанишки наверх лезут, а сапоги каши просят. Они его и за это. Унижают. Нет, это уж я не люблю, тотчас заступил и экстрафёферу задал¹. Я ведь их бью, а они меня обожают, вы знаете ли это, Карамазов? — экспансивно² поквасился Коля. — Да и вообще люблю детвору. У меня и теперь на шее дома два птенца сидят, даже сегодня меня задержали. Таким образом, Илюшу перестали бить, и я взял его под мою протекцию³. Вижу, мальчик гордый, это я вам говорю, что гордый, но кончил тем, что предался мне рабски, исполняет малейшие мои повеления, слушает меня как Бога, лезет мне подражать. В антрактах между классами сейчас ко мне, и мы вместе с ним ходим. По воскресеньям тоже. У нас в гимназии смеются, когда старший сходится на такую ногу с маленьким, но это предрассудок. Такова моя фантазия, и баста, не правда ли? Я его учю, развиваю — почему, скажите, я не могу его развивать, если он мне нравится? Ведь вот вы же, Карамазов, сошлись со всеми этими птенцами, значит, хотите действовать на молодое поколение, развивать, быть полезным? И признаюсь, эта черта в вашем характере, которую я узнал понастырке, всего более заинтересовала меня. Впрочем, к делу: примечаю, что в мальчике развивается какая-то чувствительность, сентиментальность, а я, знаете, решительный враг всяких телячьих нежностей, с самого моего рождения. И к тому же противоречия: горд, а мне предан рабски — предан рабски, а вдруг засверкают глазенки и не хочет даже соглашаться со мной, спорит, на стену лезет. Я проводил иногда разные идеи: он не то что с идеями не согласен, а просто вижу, что он лично против меня бунтует, потому что я на его нежности отвечаю хладнокровием. И вот, чтобы его выдергивать, я, чем он нежнее, тем становлюсь еще хладнокровнее, нарочно так поступаю, таково мое убеждение. Я имел в виду вышколить характер, выровнять, создать человека... ну и там... вы, разумеется, меня

¹ Экстрафёферу задал — задал перцу.

² Экспансивно — восторженно, бурно проявляя свои чувства.

³ Протекция — покровительство.

с пол слова понимаете. Вдруг замечаю, он день, другой, третий смущен, скорбит, но уж не о нежностях, а о чем-то другом, сильнейшем, высшем. Думаю, что за трагедия? Наступаю на него и узнаю штуку: каким-то он образом сошелся с лакеем покойного отца вашего (который тогда еще был в живых) Смердяковым, а тот и научи его, дурачка, глупой шутке, то есть зверской шутке, подлой шутке — взять кусок хлеба, макишу, воткнуть в него булавку и бросить какой-нибудь дворовой собаке, из таких, которые с голодухи кусок, не жуя, глотают, и посмотреть, что из этого выйдет. Вот и смастерили они такой кусок и бросили вот этой самой лохматой Жучке, о которой теперь такая история, одной дворовой собаке из такого двора, где ее просто не кормили, а она-то весь день на ветер лает. (Любите вы этот глупый лай, Карамазов? Я терпеть не могу.) Так и бросилась, проглотила и завизжала, завертелась и пустилась бежать, бежит и все визжит, и исчезла — так мне описывал сам Илюша. Признается мне, а сам плачет-плачует, обнимает меня, сотрясается: «Бежит и визжит, бежит и визжит», — только это и повторяет, поразила его эта картина. Ну, вижу, угрызения совести. Я принял серьезно. Мне, главное, и за прежнее хотелось его прошколить, так что, признаюсь, я тут схитрил, притворился, что в таком негодовании, какого, может, и не было у меня вовсе: «Ты, говорю, сделал низкий поступок, ты подлец, я, конечно, не разглашу, но пока прерываю с тобою сношения. Дело это обдумаю и дам тебе знать через Смуррова (вот этого самого мальчика, который теперь со мной пришел и который всегда мне был предан): буду ли продолжать с тобою впредь отношения, или брошу тебя навеки как подлеца». Это страшно его поразило. Я, признаюсь, тогда же почувствовал, что, может быть, слишком строго отнесся, но что делать, такова была моя тогдашняя мысль. День спустя посыпаю к нему Смуррова и чрез него передаю, что я с ним больше «не говорю», то есть это так у нас называется, когда два товарища прерывают между собой сношения. Тайна в том, что я хотел его выдержать на фербанте¹ всего только несколько дней, а там, видя раскаяние, опять протянуть ему руку. Это было твердое мое намерение. Но что же вы думаете: выслушал от Смуррова, и вдруг у него засверкали глаза. «Передай, — закричал он, — от меня Красоткину, что я всем собакам буду теперь куски с булавками кидать, всем,

¹ Фербант (нем.) — ссылка, изгнание; здесь: в смысле «в одиночестве».

всем!» — «А, думаю, вольный душок завелся, его надо выкурить», — и стал ему выказывать полное презрение, при всякой встрече отвертываюсь или иронически улыбаюсь. И вдруг тут происходит этот случай с его отцом, помните, мочалка-то? Поймите, что он таким образом уже предварительно приготовлен был к страшному раздражению. Мальчики, видя, что я его оставил, накинулись на него, дразнят: «Мочалка, мочалка». Вот тут-то у них и начались баталии, о которых я страшно сожалею, потому что его, кажется, очень сильно тогда раз избили. Вот раз он бросается на всех на дворе, когда выходили из классов, а я как раз стою в десяти шагах и смотрю на него. И клянусь, я не помню, чтоб я тогда смеялся, напротив, мне тогда очень, очень стало жалко его, и еще миг, и я бы бросился его защищать. Но он вдруг встретил мой взгляд: что ему показалось — не знаю, но он выхватил перочинный ножик, бросился на меня и ткнул мне его в бедро, вот тут, у правой ноги. Я не двинулся, я, признаюсь, иногда бываю храбр, Карамазов, я только посмотрел с презрением, как бы говоря взглядом: «Не хочешь ли, мол, еще, за всю мою дружбу, так я к твоим услугам». Но он другой раз не пырнулся, он не выдержал, он сам испугался, бросил ножик, заплакал в голос и пустился бежать. Я, разумеется, не фискалил и приказал всем молчать, чтобы не дошло до начальства, даже матери сказал, только когда все зажило, да и ранка была пустая, царапина. Потом слышу, в тот же день он бросался камнями и вам палец укусил, — но понимаете, в каком он был состоянии! Ну что делать, я сделал глупо: когда он заболел, я не пошел его простить, то есть помириться, теперь раскаиваюсь. Но тут уж у меня явились особые цели. Ну вот и вся история... только, кажется, я сделал глупо...

— Ах, как это жаль, — воскликнул с волнением Алеша, — что я не знал ваших этих с ним отношений раньше, а то бы я сам давно уже пришел к вам вас просить пойти к нему со мной вместе. Верите ли, в жару, в болезни, он бредил вами. Я и не знал, как вы ему дороги! И неужели, неужели вы так и не отыскали эту Жучку? Отец и все мальчики по всему городу разыскивали. Верите ли, он, больной, в слезах, три раза при мне уж повторял отцу: «Это оттого я болен, папа, что я Жучку тогда убил, это меня Бог наказал», — не собьешь его с этой мысли! И если бы только достали теперь эту Жучку и показали, что она не умерла, а живая, то, кажется, он бы воскрес от радости. Все мы на вас надеялись.

— Скажите, с какой же стати надеялись, что я отыщу Жучку, то есть что именно я отыщу? — с чрезвычайным любопытством спросил Коля, — почему именно на меня рассчитывали, а не на другого?

— Какой-то слух был, что вы ее отыскиваете и что когда отыщете ее, то приведете. Смурров что-то говорил в этом роде. Мы, главное, все стараемся уверить, что Жучка жива, что ее где-то видели. Мальчики ему живого зайчика откуда-то достали, только он посмотрел, чуть-чуть улыбнулся и попросил, чтобы выпустили его в поле. Так мы и сделали. Сию минуту отец воротился и ему щенка меделянского принес, тоже достал откуда-то, думал этим утешить, только хуже еще, кажется, выпло...

— Еще скажите, Карамазов: что такое этот отец? Я его знаю, но что он такое по вашему определению: шут, паяц?

— Ах нет, есть люди глубоко чувствующие, но как-то придавленные. Шутовство у них вроде злобной иронии на тех, которым в глаза они не смеют сказать правды от долговременной унизительной робости перед ними. Поверьте, Красоткин, что такое шутовство чрезвычайно иногда трагично. У него все теперь, все на земле совокупилось в Илюше, и умри Илюша, он или с ума сойдет с горя, или лишит себя жизни. Я почти убежден в этом, когда теперь на него смотрю!

— Я вас понимаю, Карамазов, я вижу, вы знаете человека, — прибавил проникновенно Коля.

— А я, как увидал вас с собакой, так и подумал, что вы это привели ту самую Жучку.

— Подождите, Карамазов, может быть, мы ее и отыщем, а эта — это Перезвон. Я впущу ее теперь в комнату и, может быть, развеселю Илюшу побольше, чем меделянским щенком. Подождите, Карамазов, вы кой-что сейчас узнаете. Ах, боже мой, что ж я вас держу! — вскричал вдруг стремительно Коля. — Вы в одном сюртучке на таком холода, а я вас задерживаю: видите, видите, какой я эгоист! О, все мы эгоисты, Карамазов!

— Не беспокойтесь, правда, холодно, но я не простудлив. Пойдемте, однако же. Кстати: как ваше имя, я знаю, что Коля, а дальше?

— Николай, Николай Иванов Красоткин, или, как говорят по-казенному: сын Красоткин, — чему-то засмеялся Коля, но вдруг прибавил: — Я, разумеется, ненавижу мое имя Николай.

— Почему же?

— Тривиально¹, казенно...

¹ Тривиально — неоригинально, пошло.

— Вам тринадцатый год? — спросил Алеша.

— То есть четырнадцатый, через две недели четырнадцать, весьма скоро. Признаюсь пред вами заранее в одной слабости, Карамазов, это уж так пред вами, для первого знакомства, чтобы вы сразу увидели всю мою натуру: я ненавижу, когда меня спрашивают про мои года, более чем ненавижу... и наконец... про меня, например, есть клевета, что я на прошлой неделе с приготовительными в разбойники играл. То, что я играл, это действительность, но что я для себя играл, для доставления себе самому удовольствия, то это решительно клевета. Я имею основание думать, что до вас это дошло, но я не для себя играл, а для детворы играл, потому что они ничего без меня не умели выдумать. И вот у нас всегда вздор распустят. Это город сплетен, уверяю вас. <...>

Коля был чрезвычайно доволен Алешей. Его поразило то, что с ним он в высшей степени на ровной ноге и что тот говорит с ним как с «самым большим».

— Я вам сейчас один фортель¹ покажу, Карамазов, тоже одно театральное представление, — нервно засмеялся он, — я с тем и пришел.

— Зайдем сначала налево к хозяевам, там все ваши свои пальто оставляют, потому что в комнате тесно и жарко.

— О, ведь я на мгновение, я войду и просижу в пальто. Перезвон останется здесь в сенях и умрет: «Иси, Перезвон, куш² и умри!» — видите, он и умер. А я сначала войду, высмотрю обстановку и потом, когда надо будет, свистну: «Иси, Перезвон!» — и вы увидите, он тотчас же влетит как угорелый. Только надо, чтобы Смурров не забыл отворить в то мгновение дверь. Уж я распоряжусь, и вы увидите фортель...

У ИЛЮШИНОЙ ПОСТЕЛЬКИ

В знакомой уже нам комнате, в которой обитало семейство известного нам отставного штабс-капитана Снегирева, было в эту минуту и душно и тесно от многочисленной набравшейся публики. Несколько мальчиков сидели в этот раз у Илюши, и хоть все они готовы были, как и Смурров, отрицать, что помирил и свел их с Илюшой Алеша, но это было так. Все искусство его в этом случае состояло в том, что свел он их с Илюшой, одного за другим, без «телячих нежностей», а совсем как бы не нарочно

¹ Фортель — трюк, ловкая проделка.

² Куш — приказание собаке: Смири! Лежать!

и нечаянно. Илюше же это принесло огромное облегчение в его страданиях. Увидев почти нежную дружбу и участие к себе всех этих мальчиков, прежних врагов своих, он был очень тронут. Одного только Красоткина недоставало, и это лежало на его сердце страшным гнетом. Если было в горьких воспоминаниях Илюшечки нечто самое горчайшее, то это именно весь этот эпизод с Красоткиным, бывшим единственным другом его и защитником, на которого он бросился тогда с ножиком. Так думал и умненький мальчик Смуров (первый пришедший помириться с Илюшой). Но сам Красоткин, когда Смуров отдаленно сообщил ему, что Алеша хочет к нему прийти «по одному делу», тотчас же оборвал и отрезал подход, поручив Смурову немедленно сообщить «Карамазову», что он сам знает, как поступать, что советов ни от кого не просит и что, если пойдет к больному, то сам знает, когда пойти, потому что у него «свой расчет». <...>

Между тем Илюша уже недели две как почти не сходил с своей постельки, в углу, у образов. В классы же не ходил с самого того случая, когда встретился с Алешей и укусил ему палец. Впрочем, он с того же дня и захворал, хотя еще с месяц мог кое-как ходить изредка по комнате и в сенях, изредка вставая с постельки. Наконец совсем обессилел, так что без помощи отца не мог двигаться. Отец трепетал над ним, перестал даже совсем пить, почти обезумел от страха, что умрет его мальчик, и часто, особенно после того, как проведет, бывало, его по комнате под руку и уложит опять в постельку, — вдруг выбегал в сени, в темный угол и, прислонившись лбом к стене, начинал рыдать каким-то заливчатым, сотрясающимся плачем, давя свой голос, чтобы рыданий его не было слышно у Илюшечки. Возвращаясь же в комнату, начинал обыкновенно чем-нибудь развлекать и утешать своего дорогого мальчика, рассказывал ему сказки, смешные анекдоты или представлял из себя разных смешных людей, которых ему удавалось встречать, даже подражал животным, как они смешно воют или кричат. Но Илюша очень не любил, когда отец коверкался и представлял из себя шута. Мальчик хоть и старался не показывать, что ему это неприятно, но с болью сердца сознавал, что отец в обществе унижен, и всегда, неотвязно, вспоминал о «мочалке» и о том «страшном дне». Ниночка, безногая, тихая и кроткая сестра Илюшечки, тоже не любила, когда отец коверкался <...>, зато полоумная маменька очень забавлялась и от всего сердца смеялась, когда ее супруг начнет, бывало, что-нибудь представлять или выделять какие-нибудь смешные жесты. <...>

В то самое мгновение, когда Красоткин отворил дверь и появился в комнате, все, штабс-капитан и мальчики, столни-

лись около постельки больного и рассматривали только что принесенного крошечного меделянского щенка, вчера только родившегося, но еще за неделю заказанного штабс-капитаном, чтобы развлечь и утешить Илюшечку, все тосковавшего об исчезнувшей и, конечно, уже погибшей Жучке. Но Илюша, уже слышавший и знаяший еще за три дня, что ему подарят маленькую собачку, и не простую, а настоящую меделянскую (что, конечно, было ужасно важно), хотя и показывал из тонкого и деликатного чувства, что рад подарку, но все, и отец и мальчики, ясно увидели, что новая собачка, может быть, только еще сильнее шевельнула в его сердечке воспоминание о несчастной, им замученной Жучке. Щеночек лежал и копошился подле него, и он, болезненно улыбаясь, гладил его своею тоненъкою, бледненъкою, высохшою ручкой; даже видно было, что собачка ему понравилась, но... Жучки все же не было, все же это не Жучка, а вот если бы Жучка и щеночек вместе, тогда бы было полное счастье!

— Красоткин! — крикнул вдруг один из мальчиков, первый завидевший вошедшего Колю. Произошло видимое волнение, мальчики расступились и стали по обе стороны постельки, так что вдруг открыли всего Илюшечку. Штабс-капитан стремительно бросился навстречу Коле.

— Пожалуйте, пожалуйте... дорогой гость! — залепетал он ему. — Илюшечка, господин Красоткин к тебе пожаловал...

Но Красоткин, наскоро подав ему руку, мигом выказал и чрезвычайное свое знание светских приличий. Он тотчас же и прежде всего обратился к сидевшей в своем кресле супруге штабс-капитана (которая как раз в ту минуту была ужасно как недовольна и брюзжала на то, что мальчики заслонили собою постельку Илюши и не дают ей поглядеть на новую собачку) и чрезвычайно вежливо шаркнул пред нею ножкой, а затем, повернувшись к Ниночке, отдал и ей, как даме, такой же поклон. Этот вежливый поступок произвел на больную даму необыкновенно приятное впечатление.

— Вот и видно сейчас хорошо воспитанного молодого человека, — громко произнесла она, разводя руками, — а то что прочие-то наши гости: один на другом приезжают.

— Как же, мамочка, один-то на другом, как это так? — хоть и ласково, но опасаясь немногого за «мамочку», пролепетал штабс-капитан.

— А так и въезжают. Сядет в сенях один другому верхом на плечи, да в благородное семейство и въедет, сидя верхом. Какой же это гость?

— Да кто же, кто же, мамочка, так въезжал, кто же?

— Да вот этот мальчик на этом мальчике сегодня въехал, а вот тот на том...

Но Коля уже стоял у постельки Илюши. Больной видимо побледнел. Он приподнялся на кроватке и пристально-пристало посмотрел на Колю. Тот не видел своего прежнего маленького друга уже месяца два и вдруг остановился пред ним совсем пораженный: он и вообразить не мог, что увидит такое похудевшее и пожелтевшее лицико, такие горящие в лихорадочном жару и как будто ужасно увеличившиеся глаза, такие худенькие ручки. С горестным удивлением всматривался он, что Илюша так глубоко и часто дышит и что у него так скохлись губы. Он шагнул к нему, подал руку и, почти совсем потерявшись, проговорил:

— Ну что, старик... как поживаешь?

Но голос его пресекся, развязности не хватило, лицо как-то вдруг передернулось, и что-то задрожало около его губ. Илюша болезненно ему улыбался, все еще не в силах сказать слова. Коля вдруг поднял руку и провел для чего-то свою ладонью по волосам Илюши.

— Ни-че-го! — пролепетал он ему тихо, не то ободряя его, не то сам не зная, зачем это сказал. С минуту опять помолчали.

— Что это у тебя, новый щенок? — вдруг самым бесчувственным голосом спросил Коля.

— Да-а-а! — ответил Илюша длинным шепотом, задыхаясь.

— Черный нос, значит, из злых, из цепных, — важно и твердо заметил Коля, как будто все дело было именно в щенке и в его черном носе. Но главное было в том, что он все еще изо всех сил старался побороть в себе чувство, чтобы не запла-кать как «маленький», и все еще не мог побороть. — Подрастет, придется посадить на цепь, уж я знаю.

— Он огромный будет! — воскликнул один мальчик из толпы.

— Известно, меделянский, огромный, вот этакий, с теленка, — раздалось вдруг несколько голосков.

— С теленка, с настоящего теленка-с, — подскочил птабск-капитан, — я нарочно отыскал такого, самого-самого злюще-го, и родители его тоже огромные и самые злющие, вот этакие от полу ростом... Присядьте-с, вот здесь на кроватке у Илюши, а не то здесь на лавку. Милости просим, гость дорогой, гость долго-жданный... С Алексеем Федоровичем изволили прибыть-с?

Красоткин присел на постельке, в ногах у Илюши. Он хоть, может быть, и приготовил дорогой, с чего развязно начать разговор, но теперь решительно потерял нитку.

— Нет... я с Перезвоном... У меня такая собака теперь, Перезвон. Славянское имя. Там ждет... свистну, и влетит. Я тоже с собакой, — оборотился он вдруг к Илюше, — помнишь, старик, Жучку? — вдруг огrel он его вопросом.

Личико Илюшечки перекосилось. Он страдальчески посмотрел на Колю. Алеша, стоявший у дверей, нахмурился и кивнул было Коле украдкой, чтобы тот не заговаривал про Жучку, но тот не заметил или не захотел заметить.

— Где же... Жучка? — надорванным голоском спросил Илюша.

— Ну, брат, твоя Жучка — фью! Пропала твоя Жучка!

Илюша смолчал, но пристально-пристально посмотрел еще раз на Колю. Алеша, поймав взгляд Коли, изо всех сил опять закивал ему, но тот снова отвел глаза, сделав вид, что и теперь не заметил.

— Забежала куда-нибудь и пропала. Как не пропасть после такой закуски, — безжалостно резал Коля, а между тем сам как будто стал от чего-то задыхаться. — У меня зато Перезвон... Славянское имя... Я к тебе привел...

— Не на-до! — проговорил вдруг Илюшечка.

— Нет, нет, надо, непременно посмотри... Ты развлечешься. Я нарочно привел... такая же лохматая, как и та... Вы позвольте, сударыня, позвать сюда мою собаку? — обратился он вдруг к госпоже Снегиревой в каком-то совсем уже непостижимом волнении.

— Не надо, не надо! — с горестным надрывом в голосе воскликнул Илюша. Укор загорелся в глазах его.

— Вы бы-с... — рванулся вдруг штабс-капитан с сундука у стенки, на котором было присел, — вы бы-с... в другое время-с... — пролепетал он, но Коля, неудержимо настаивая и спеша, вдруг крикнул Смуркову: «Смурков, отвори дверь!» — и только что тот отворил, свистнул в свою свистульку. Перезвон стремительно влетел в комнату.

— Прыгай, Перезвон, служи! Служи! — завопил Коля, вскочив с места, и собака, став на задние лапы, вытянулась прямо перед постелькой Илюши. Произошло нечто никем не ожиданное: Илюша вздрогнул и вдруг с силой двинулесь вперед, нагнувшись к Перезвону и, как бы замирая, смотрел на него.

— Это... Жучка! — прокричал он вдруг надтреснутым от страдания и счаствия голоском.

— А ты думал кто? — звонким, счастливым голосом из всей силы завопил Красоткин и, нагнувшись к собаке, обхватил ее и приподнял к Илюше.

— Гляди, стариk, видишь, глаз кривой и левое ухо надрезано, точь-в-точь те приметы, как ты мне рассказал. Я его по этим приметам и разыскал! Тогда же разыскал, вскорости. Она ведь ничья была, она ведь была ничья! — пояснил он, быстро оборачиваясь к штабс-капитану, к супруге его, к Алеше и потом опять к Илюше, — она была у Федотовых на задворках, прижилась было там, но те ее не кормили, а она беглая, она забегла из деревни... Я ее и разыскал... Видишь, стариk, она тогда твой кусок, значит, не проглотила. Если бы проглотила, так уж конечно бы померла, ведь уж конечно! Значит, успела выплюнуть, коли теперь жива. А ты и не заметил, что она выплюнула. Выплюнула, а язык себе все-таки уколола, вот отчего тогда и завизжала. Бежала и визжала, а ты и думал, что она совсем проглотила. Она должна была очень визжать, потому что у собаки очень нежная кожа во рту... нежнее, чем у человека, гораздо нежнее! — воскликнул неистово Коля, с разгоревшимся и с сияющим от восторга лицом.

Илюша же и говорить не мог. Он смотрел на Колю своими большими и как-то ужасно выкатившимися глазами, с раскрытым ртом и побледнев как полотно. И если бы только знал не подозревавший ничего Красоткин, как мучительно и убийственно могла влиять такая минута на здоровье больного мальчика, то ни за что бы не решился выкинуть такую штуку, какую выкинул. Но в комнате понимал это, может быть, лишь один Алеша. Что же до штабс-капитана, то он весь как бы обратился в самого маленького мальчика.

— Жучка! Так это-то Жучка? — выкрикивал он блаженным голосом. — Илюшечка, ведь это Жучка, твоя Жучка! Маменька, ведь это Жучка! — Он чуть не плакал.

— А я-то и не догадался! — горестно воскликнул Смуров. — Ай да Красоткин, я говорил, что он найдет Жучку, вот и нашел!

— Вот и нашел! — радостно отозвался еще кто-то.

— Молодец Красоткин! — прозвенел третий голосок.

— Молодец, молодец! — закричали все мальчики и начали аплодировать.

— Да стойте, стойте, — силился всех перекричать Красоткин, — я вам расскажу, как это было, штутка в том, как это было, а не в чем другом! Ведь я его разыскал, затащил к себе и тотчас же спрятал, и дом на замок, и никому не показывал до самого последнего дня. Только один Смуров узнал две недели назад, но я уверил его, что это Перезвон, и он не догадался, а я в антракте научил Жучку всем наукам, вы посмотрите, посмотрите только, какие он штуки знает! Для того и учил,

чтоб уж привесть к тебе, старик, обученного, гладкого: вот, дескать, старик, какая твоя Жучка теперь! Да нет ли у вас какого-нибудь кусочка говядинки, он вам сейчас одну такую штуку покажет, что вы со смеху упадете, — говядинки, кусочек, ну неужели же у вас нет?

Штабс-капитан стремительно кинулся, через сени, в избу к хозяевам, где варилось и штабс-капитанское кушанье. Коля же, чтобы не терять драгоценного времени, отчаянно спеша, крикнул Перезвону: «Умри!» И тот вдруг завертелся, лег на спину и замер неподвижно всеми четырьмя своими лапками вверх. Мальчики смеялись, Илюша смотрел с прежнею страшальческою своею улыбкой, но всех больше понравилось, что умер Перезвон, «маменьке». Она расхохоталась на собаку и принялась щелкать пальцем и звать:

— Перезвон, Перезвон!

— Ни за что не подымется, ни за что, — победоносно и справедливо гордясь, прокричал Коля, — хоть весь свет кричи, а вот я крикну, и в один миг вскочит! Иси, Перезвон!

Собака вскочила и принялась прыгать, визжа от радости. Штабс-капитан вбежал с куском вареной говядины.

— Не горяча? — торопливо и деловито осведомился Коля, принимая кусок, — нет, не горяча, а то собаки не любят горячего. Смотрите же все, Илюшечка, смотри, да смотри же, смотри, старик, что же ты не смотришь? Я привел, а он не смотрит!

Новая штука состояла в том, чтобы неподвижно стоящей и протянувшей свой нос собаке положить на самый нос лакомый кусочек говядины. Несчастный пес, не шевелясь, должен был простоять с куском на носу сколько велит хозяин, не двигнуться, не шевельнуться, хоть полчаса. Но Перезвона выдержали только самую маленькую минутку.

— Пиль! — крикнул Коля, и кусок в один миг перелетел с носу в рот Перезвона. Публика, разумеется, выразила восторженное удивление.

— И неужели, неужели вы из-за того только, чтобы обучить собаку, все время не приходили! — воскликнул с невольным укором Алеша.

— Именно для того, — прокричал простодушнейшим образом Коля. — Я хотел показать его во всем блеске!

— Перезвон! Перезвон! — защелкал вдруг своими худенькими пальчиками Илюша, маня собаку.

— Да чего тебе! Пусть он к тебе на постель сам вскочит. Иси, Перезвон! — стукнул ладонью по постели Коля, и Перезвон как стрела влетел к Илюше. Тот стремительно обнял его

голову обеими руками, а Перезвон мигом облизал ему за это щеку. Илюшка прижался к нему, протянулся на постельке и спрятал от всех в его косматой шерсти свое лицо.

— Господи, господи! — восклицал штабс-капитан.

Коля присел опять на постель к Илюше.

— Илюша, я тебе могу еще одну штуку показать. Я тебе пушечку принес. Помнить, я тебе еще тогда говорил про эту пушечку, а ты сказал: «Ах, как бы и мне ее посмотреть!» Ну, вот я теперь и принес.

И Коля, торопясь, вытащил из своей сумки свою бронзовую пушечку. Торопился он потому, что уж сам был очень счастлив: в другое время так выждал бы, когда пройдет эффект, произведенный Перезвоном, но теперь поспешил, презирая всякую выдержку: «уж и так счастливы, так вот вам и еще счастья!» Сам уж он был очень упоен.

— Я эту штучку давно уже у чиновника Морозова наглядел — для тебя, старик, для тебя. Она у него стояла даром, от брата ему досталась, я и выменял ему на книжку, из папина шкафа: «Родственник Магомета, или Целительное дурачество». Сто лет книжке, забытая, в Москве вышла, когда еще цензуры не было, а Морозов до этих штучек охотник. Еще поблагодарил...

Пушечку Коля держал в руке перед всеми, так что все могли видеть и наслаждаться. Илюша приподнялся и, продолжая правою рукой обнимать Перезвона, с восхищением разглядывал игрушку. Эффект дошел до высокой степени, когда Коля объявил, что у него есть и порох и что можно сейчас же и выстрелить, «если это только не обеспокоит дам». «Маменька» немедленно попросила, чтоб ей дали поближе посмотреть на игрушку, что тотчас и было исполнено. Бронзовая пушечка на колесиках ей ужасно понравилась, и она принялась ее катать на своих коленях. На просьбу о позволении выстрелить отвечала самым полным согласием, не понимая, впрочем, о чем ее спрашивают. Коля показал порох и дробь. Штабс-капитан, как бывший военный человек, сам распорядился зарядом, всыпав самую маленькую порцию пороха, дробь же попросил отложить до другого раза. Пушку поставили на пол, дулом в пустое место, втиснули в затравку три порошинки и зажгли спичкой. Произошел самый блистательный выстрел. «Маменька» вздрогнула было, но тотчас же засмеялась от радости. Мальчики смотрели с молчаливым торжеством, но более всего блаженствовал, смотря на Илюшу, штабс-капитан. Коля поднял пушечку и немедленно подарил ее Илюше, вместе с дробью и с порохом.

— Это я для тебя, для тебя! Давно приготовил, — повторил он еще раз, в полноте счастья. <...>

— Доктор приехал! — воскликнула вдруг все время молчавшая Ниночка.

Действительно, к воротам дома подъехала принадлежавшая г-же Хохлаковой карета. Штабс-капитан, ждавший все утро доктора, сломя голову бросился к воротам встречать его. «Маменька» подобралась и напустила на себя важности. Алеша подошел к Илюше и стал оправлять ему подушку. Ниночка, из своих кресел, с беспокойством следила за тем, как он оправляет постельку. Мальчики торопливо стали прощаться, некоторые из них пообещались зайти вечером. Коля крикнул Перезвона, и тот соскочил с постели.

— Я не уйду, не уйду! — проговорил впопыхах Коля Илюш, — я пережду в сенях и приду опять, когда уедет доктор, приду с Перезвоном.

Но уже доктор входил — важная фигура в медвежьей шубе, с длинными темными бакенбардами и с глянцевито выбритым подбородком. Ступив через порог, он вдруг остановился, как бы опешив: ему, верно, показалось, что он не туда зашел: «Что это? Где я?» — пробормотал он, не скидая с плеч шубы и не снимая котиковской фуражки с котиковым же козырьком с своей головы. Толпа, бедность комнаты, развешанное в углу на веревке белье сбили его с толку. Штабс-капитан согнулся перед ним в три погибели.

— Вы здесь-с, здесь-с, — бормотал он подобострастно, — вы здесь-с, у меня-с, вам ко мне-с...

— Сне-ги-рев? — произнес важно и громко доктор. — Господин Снегирев — это вы?

— Это я-с!

— А!

Доктор еще раз брезгливо оглядел комнату и сбросил с себя шубу. Всем в глаза блеснул важный орден на шее. Штабс-капитан подхватил на лету шубу, а доктор снял фуражку.

— Где же пациент? — спросил он громко и настоятельно. <...>

ИЛЮША

Доктор выходил из избы опять уже закутанный в шубу и с фуражкой на голове. Лицо его было почти сердитое и брезгливое, как будто он все боялся обо что-то запачкаться. Мельком окинул он глазами сени и при этом строго глянул на

Алешу и Колю. Алеша махнул из дверей кучеру, и карета, привезшая доктора, подъехала к выходным дверям. Штабс-капитан стремительно выскочил вслед за доктором и, согнувшись, почти извиваясь перед ним, остановил его для последнего слова. Лицо бедняка было убитое, взгляд испуганный:

— Ваше превосходительство, ваше превосходительство... неужели?.. — начал было он и не договорил, а лишь всплеснул руками в отчаянии, хотя все еще с последнюю мольбой смотря на доктора, точно в самом деле от теперешнего слова доктора мог измениться приговор над бедным мальчиком.

— Что делать! Я не Бог, — небрежным, хотя и привычно внушительным голосом ответил доктор.

— Доктор... Ваше превосходительство... и скоро это, скоро?

— При-го-това-тесь ко всему, — отчеканил, ударяя по каждому слогу, доктор и, склонив взор, сам приготовился было шагнуть за порог к карете.

— Ваше превосходительство, ради Христа! — испуганно остановил его еще раз штабс-капитан, — ваше превосходительство!.. так разве ничего, неужели ничего, совсем ничего теперь не спасет?..

— Не от меня теперь за-ви-сит, — нетерпеливо проговорил доктор, — и, однако же, гм, — приостановился он вдруг, — если б вы, например, могли... на-пра-вить... вашего пациента... сейчас и nimалo не медля (слова «сейчас и nimалo не медля» доктор произнес не то что строго, а почти гневно, так что штабс-капитан даже вздрогнул) в Си-ра-ку-зы, то... вследствие новых bla-го-при-ятных кли-ма-ти-ческих условий... могло бы, может быть, про-и-зойти...

— В Сиракузы! — вскричал штабс-капитан, как бы ничего еще не понимая.

— Сиракузы — это в Сицилии, — отрезал вдруг громко Коля, для пояснения. Доктор поглядел на него.

— В Сицилию! Батюшка, ваше превосходительство, — потерялся штабс-капитан, — да ведь вы видели! — обвел он обеими руками кругом, указывая на свою обстановку, — а маменька-то, а семейство-то?

— Н-нет, семейство не в Сицилию, а семейство ваше на Кавказ, раннею весной... дочь вашу на Кавказ, а супругу... продержав курс вод тоже на Кав-ка-зе ввиду ее ревматизмов... немедленно после того на-пра-вить в Париж, в лечебницу доктора пси-хи-атра Ле-пель-льетье, я бы мог вам дать к нему записку, и тогда... могло бы, может быть, произойти...

— Доктор, доктор! Да ведь вы видите! — размахнул вдруг опять руками штабс-капитан, указывая в отчаянии на голые бревенчатые стены сеней.

— А, это уж не мое дело, — усмехнулся доктор, — я лишь сказал то, что могла сказать на-у-ка на ваш вопрос о последних средствах, а остальное... к сожалению моему...

— Не беспокойтесь, лекарь, моя собака вас не укусит, — громко отрезал Коля, заметив несколько беспокойный взгляд доктора на Перезвона, ставшего на пороге. Гневная нотка прозвенела в голосе Коли. Слово же «лекарь», вместо доктор, он сказал нарочно и, как сам объявил потом, «для оскорблении сказал».

— Что та-кое-е? — вскинул головой доктор, удивленно уставившись на Колю. — Ка-кой это? — обратился он вдруг к Алеше, будто спрашивал у того отчета.

— Это хозяин Перезвона, лекарь, не беспокойтесь о моей личности, — отчеканил опять Коля.

— Звон? — переговорил доктор, не поняв, что такое Перезвон.

— Да не знает, где он. Прощайте, лекарь, увидимся в Сиракузах.

— Кто эт-то? Кто, кто? — вдруг закипятился ужасно доктор.

— Это здешний школьник, доктор, он шалун, не обращайте внимания, — нахмурившись и скороговоркой проговорил Алеша. — Коля, молчите! — крикнул он Красоткину. — Не надо обращать внимания, доктор, — повторил он уже несколько нетерпеливее.

— Выс-сечь, выс-сечь надо, выс-сечь! — затопал было ногами слишком уже почему-то взбесившийся доктор.

— А знаете, лекарь, ведь Перезвон-то у меня пожалуй что икусается! — проговорил Коля задрожавшим голоском, побледнев и сверкнув глазами. — Иси, Перезвон!

— Коля, если вы скажете еще одно только слово, то я с вами разорву навеки! — властно крикнул Алеша.

— Лекарь, есть только одно существо в целом мире, которое может приказывать Николаю Красоткину, это вот этот человек, — Коля указал на Алешу, — ему повинуюсь, прощайте!

Он сорвался с места и, отворив дверь, быстро прошел в комнату. Перезвон бросился за ним. Доктор постоял было еще секунд пять как бы в столбняке, смотря на Алешу, потом вдруг плюнул и быстро пошел к карете, громко повторяя: «Этта,

этта, этта, я не знаю, что этта!» Штабс-капитан бросился его подсаживать. Алеша прошел в комнату вслед за Колей. Тот стоял уже у постельки Илюши. Илюша держал его за руку и звал папу. Через минуту воротился и штабс-капитан.

— Папа, папа, поди сюда... мы... — пролепетал было Илюша в чрезвычайном возбуждении, но, видимо не в силах продолжать, вдруг бросил свои обе исхудальные ручки вперед и крепко, как только мог, обнял их обоих разом, и Колю и папу, соединив их в одно объятие и сам к ним прижалвшись. Штабс-капитан вдруг весь так и затрясся от безмолвных рыданий, а у Коли задрожали губы и подбородок.

— Папа, папа! Как мне жалко тебя, папа! — горько простонал Илюша.

— Илюшечка... голубчик... доктор сказал... будешь здоров... будем счастливы... доктор... — заговорил было штабс-капитан.

— Ах, папа! Я ведь знаю, что тебе новый доктор про меня сказал... Я ведь видел! — воскликнул Илюша и опять крепко, изо всей силы прижал их обоих к себе, спрятав на плече у папы свое лицо.

— Папа, не плачь... а как я умру, то возьми ты хорошего мальчика, другого... сам выбери из них из всех, хорошего, назови его Илюшой и люби его вместо меня...

— Молчи, старик, — выздоровеешь! — точно осердившись, крикнул вдруг Красоткин.

— А меня, папа, меня не забывай никогда, — продолжал Илюша, — ходи ко мне на могилку... да вот что, папа, похорони ты меня у нашего большого камня, к которому мы с тобой гулять ходили, и ходи ко мне туда с Красоткиным, вечером... И Перезвон... А я буду вас ждать... Папа, папа!

Его голос пресекся, все трое стояли обнявшись и уже молчали. Плакала тихо на своем кресле и Ниночка, и вдруг, увидав всех плачущими, засиплась слезами и мамаша.

— Илюшечка! Илюшечка! — восклицала она.

Красоткин вдруг высвободился из объятий Илюши.

— Прощай, старик, меня ждет мать к обеду, — проговорил он скороговоркой. — Как жаль, что я ее не предупредил. Очень будет беспокоиться... Но после обеда я тотчас к тебе, на весь день, на весь вечер, и столько тебе расскажу, столько расскажу! И Перезвона приведу, а теперь с собой уведу, потому что он без меня выть начнет и тебе мешать будет: до свиданья!

И он выбежал в сени. Ему не хотелось расплакаться, но в сенях он-таки заплакал. В этом состоянии нашел его Алеша.

— Коля, вы должны непременно сдержать слово и прийти, а то он будет в страшном горе, — настойчиво проговорил Алеша.

— Непременно! О, как я кляну себя, что не приходил раньше, — плача и уже не конфузясь, что плачет, пробормотал Коля. В эту минуту вдруг словно выскоцил из комнаты штабс-капитан и тотчас затворил за собою дверь. Лицо его было исступленное, губы дрожали. Он стал перед обоими молодыми людьми и вскинул вверх обе руки.

— Не хочу хорошего мальчика! Не хочу другого мальчика! — прошептал он диким шепотом, скрежеща зубами. — Аще забуду тебе, Иерусалиме, да прильпнет...

Он не договорил, как бы захлебнувшись, и опустился в бессилии пред деревянную лавку на колени. Стиснув обоими кулаками свою голову, он начал рыдать, как-то нелепо взвизгвая, изо всей силы крепясь, однако чтобы не услышали его взвизгов в избе. Коля выскоцил на улицу.

— Прощайте, Карамазов! Сами-то придете? — резко и сердито крикнул он Алеше.

— Вечером непременно буду.

— Что он это такое про Иерусалим... Это что еще такое?

— Это из Библии: «Аще забуду тебе, Иерусалиме», то есть если забуду все, что есть у меня драгоценного, если променяю на что, то да поразит...

— Понимаю, довольно! Сами-то приходите! Иси, Перезвон! — совсем уже свирепо прокричал он собаке и большими, скорыми шагами запагал домой.

ПОХОРОНЫ ИЛЮШЕЧКИ. РЕЧЬ У КАМНЯ

...Алеша еще у ворот дома был встречен криками мальчиков, товарищей Илюшиных. Они все с нетерпением ждали его и обрадовались, что он, наконец, пришел. Всех их собралось человек двенадцать, все пришли со своими ранчиками и сумочками через плечо. «Папа плакать будет, будьте с напой», — завещал им Илюша, умирая, и мальчики это запомнили. Во глазах их был Коля Красоткин.

— Как я рад, что вы пришли, Карамазов! — воскликнул он, протягивая Алеше руку. — Здесь ужасно. Право, тяжело смотреть. Снегирев не пьян, мы знаем наверно, что он ничего сегодня не пил, а как будто пьян... Я тверд всегда, но это ужасно. <...>

Алеша вошел в комнату. В голубом, убранном белым рюшем гробе лежал, сложив ручки и закрыв глазки, Илюша.

Черты исхудалого лица его совсем почти не изменились... Выражение лица было серьезное и как бы задумчивое. Особенно хороши были руки, сложенные накрест, точно вырезанные из мрамора. В руки ему вложили цветов, да и весь гроб был уже убран снаружи и снутри цветами. <...>

Когда Алеша отворил дверь, штабс-капитан с пучком цветов в дрожащих руках своих обсыпал ими снова своего дорогого мальчика. Он едва взглянул на вошедшего Алешу, да и ни на кого не хотел глядеть, даже на плачущую, помешанную жену свою, свою «мамочку», которая все старалась приподняться на свои больные ноги и заглянуть поближе на своего мертвого мальчика. Ниночку же дети приподняли с ее стулом и придвинули вплоть к гробу. Она сидела, прижавшись к нему своею головой, и тоже, должно быть, тихо плакала. Лицо Снегирева имело вид оживленный, но как бы растерянный, а вместе с тем и ожесточенный. В жестах его, в вырывавшихся словах его было что-то полуумное. «Батюшка, милый батюшка!» — восклицал он поминутно, смотря на Илюшу. У него была привычка, еще когда Илюша был в живых, говорить ему ласкающи: «Батюшка, милый батюшка!» <...>

Дети подняли гроб, но, пронося мимо матери, остановились перед ней на минутку и опустили его, чтоб она могла с Илюшой проститься. Но увидав вдруг это дорогое личико вблизи, на которое все три дня смотрела лишь с некоторого расстояния, она вдруг вся затряслась и начала истерически дергать над гробом свою седою головой взад и вперед.

— Мама, окреши его, благослови его, поцелуй его, — прокричала ей Ниночка. Но та, как автомат, все дергалась своею головой и безмолвно, с искривленным от жгучего горя лицом, вдруг стала бить себя кулаком в грудь. Гроб понесли дальше. <...> Алеша, выходя из дома, обратился было к квартирной хозяйке с просьбой присмотреть за оставшимися, но та и договорить не дала:

— Знамо дело, при них буду, христиане и мы тоже. — Старуха, говоря это, плакала.

Нести до церкви было недалеко, шагов триста, не более. День стал ясный, тихий; морозило, но немного. Благовестный звон еще раздавался. Снегирев суетливо и растерянно бежал за гробом в своем стареньком, коротеньком, почти летнем пальтишке, с непокрытою головой и с старою, широкополою, мягкою шляпой в руках. Он был в какой-то неразрешимой заботе, то вдруг протягивал руку, чтобы поддержать изголовье гроба, и только мешал несущим, то забегал сбоку и искал, где

бы хоть тут пристроиться. Упал один цветок на снег, и он так и бросился подымать его, как будто от потери этого цветка бог знает что зависело.

— А корочку-то, корочку-то забыли, — вдруг воскликнул он в страшном испуге. Но мальчики тотчас напомнили ему, что корочку хлебца он уже захватил еще давеча и что она у него в кармане. Он мигом выдернул ее из кармана и, удостоверившись, успокоился.

— Илюшечка велел, Илюшечка, — пояснил он тотчас Алеше, — лежал он ночью, а я подле сидел, и вдруг приказал: «Папочка, когда засыплют мою могилку, покроши на ней корочку хлебца, чтоб воробушки прилетали, я услышу, что они прилетели, и мне весело будет, что я не один лежу». <...>

Все тихонько брали по тропинке, и вдруг Смурров воскликнул:

— Вот Илюшин камень, под которым его хотели похоронить!

Все молча остановились у большого камня. Алеша посмотрел, и целая картина того, что Снегирев рассказывал когда-то об Илюшечке, как тот, плача и обнимая отца, восклицал: «Папочка, папочка, как он унизил тебя!» — разом представилась его воспоминанию. Что-то как бы сотряслось в его душе. Он с серьезным и важным видом обвел глазами все эти милые, светлые лица школьников, Илюшиных товарищей, и вдруг сказал им:

— Господа, мне хотелось бы вам сказать здесь, на этом самом месте, одно слово.

Мальчики обступили его и тотчас устремили на него пристальные, ожидающие взгляды.

— Господа, мы скоро расстанемся... Скоро я здешний город покину, может быть, очень надолго. Вот мы и расстанемся, господа. Согласимся же здесь, у Илюшина камушка, что не будем никогда забывать — во-первых, Илюшечку, а во-вторых, друг об друге. И что бы там ни случилось с нами потом в жизни, хотя бы мы и двадцать лет потом не встречались, — все-таки будем помнить о том, как мы хоронили бедного мальчика, в которого прежде бросали камни, помните, там у мостика-то? — а потом так все его полюбили. Он был славный мальчик, добрый и храбрый мальчик, чувствовал честь и горькую обиду отцовскую, за которую и восстал. Итак, во-первых, будем помнить его, господа, во всю нашу жизнь. И хотя бы мы были заняты самыми важными делами, достигли почестей или впали бы в какое великое несчастье, — все равно не забывайте никогда,

как нам было раз здесь хорошо, всем сообща, соединенным таким хорошим и добрым чувством, которое и нас сделало на это время любви нашей к бедному мальчику, может быть, лучшими, чем мы есть в самом деле. Голубчики мои, — дайте я вас так назову — голубчиками, потому что вы все очень похожи на них, на этих хорошеных сизых птичек, теперь, в эту минуту, как я смотрю на ваши добрые, милые лица, — милые мои деточки, может быть, вы не поймете, что я вам скажу, потому что я говорю часто очень непонятно, но вы все-таки запомните и потом когда-нибудь согласитесь с моими словами. Знайте же, что ничего нет выше, и сильнее, и здоровее, и полезнее вперед для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное еще из детства, из родительского дома. Вам много говорят про воспитание ваше, а вот какое-нибудь этакое прекрасное, святое воспоминание, сохраненное с детства, может быть, самое лучшее воспитание и есть. Если много набрать таких воспоминаний с собою в жизнь, то спасен человек на всю жизнь. И даже если и одно только хорошее воспоминание при нас останется в нашем сердце, то и то может послужить когда-нибудь нам во спасение. Может быть, мы станем даже злыми потом, даже пред дурным поступком устоять будем не в силах, над слезами человеческими будем смеяться и над теми людьми, которые говорят, вот как давеча Коля воскликнул: «Хочу пострадать за всех людей», — и над этими людьми, может быть, злобно издеваться будем. А все-таки как ни будем мы злы, чего не дай бог, но как вспомним про то, как хоронили Илюшу, как мы любили его в последние дни и как вот сейчас говорили так дружно и так вместе у этого камня, то самый жестокий из нас человек и самый насмешливый, если мы такими сделаемся, все-таки не посмеет внутри себя посмеяться над тем, как он был добр и хорош в эту теперешнюю минуту! Мало того, может быть, именно это воспоминание одно его от великого зла удержит, и он одумается и скажет: «Да, я был тогда добр, смел и честен». Пусть усмехнется про себя, это ничего, человек часто смеется над добрым и хорошим; это лишь от легкомыслия; но уверяю вас, господа, что как усмехнется, так тотчас же в сердце скажет: «Нет, это я дурно сделал, что усмехнулся, потому что над этим нельзя смеяться!»

— Это непременно так будет, Карамазов, я вас понимаю, Карамазов! — воскликнул, сверкнув глазами, Коля. Мальчики заволновались и тоже хотели что-то воскликнуть, но сдержались, пристально и умиленно смотря на оратора.

— Это я говорю на тот страх, что мы дурными сделаемся, — продолжал Алеша, — но зачем нам и делаться дурными, не правда ли, господа? Будем, во-первых и прежде всего, добры, потом честны, а потом — не будем никогда забывать друг об друге. Это я опять-таки повторяю. Я слово вам даю от себя, господа, что я ни одного из вас не забуду; каждое лицо, которое на меня теперь, сейчас, смотрит, припомню, хоть бы и через тридцать лет. Давеча вот Коля сказал Карташову, что мы будто бы не хотим знать, «есть он или нет на свете?». Да разве я могу забыть, что Карташов есть на свете и что вот он <...> смотрит на меня своими славными, добрыми, веселыми глазками. Господа, милые мои господа, будем все велико-душны и смелы, как Илюшечка, умны, смелы и великодушны, как Коля (но который будет гораздо умнее, когда подрастет), и будем такими же стыдливыми, но умненькими и милыми, как Карташов. Да чего я говорю про них обоих! Все вы, господа, милы мне отныне, всех вас заключу в мое сердце, а вас прошу заключить и меня в ваше сердце! Ну, а кто нас соединил в этом добром хорошем чувстве, об котором мы теперь всегда, всю жизнь вспоминать будем и вспоминать намерены, кто как не Илюшечка, добрый мальчик, милый мальчик, дорогой для нас мальчик на веки веков! Не забудем же его никогда, вечная ему и хорошая память в наших сердцах, отныне и во веки веков!

— Так, так, вечная, вечная, — прокричали все мальчики своими звонкими голосами, с умиленными лицами.

— Будем помнить и лицо его, и платье его, и бедненькие сапожки его, и гробик его, и несчастного грешного отца его, и о том, как он смело один восстал на весь класс за него!

— Будем, будем помнить! — прокричали опять мальчики, — он был храбрый, он был добрый!

— Ах, как я любил его! — воскликнул Коля.

— Ах, деточки, ах, милые друзья, не бойтесь жизни! Как хороша жизнь, когда что-нибудь сделаешь хорошее и правдивое!

— Да, да, — восторженно повторили мальчики.

— Карамазов, мы вас любим! — воскликнул неудержимо один голос, кажется Карташова.

— Мы вас любим, мы вас любим, — подхватили и все. У многих сверкали на глазах слезинки.

— Ура Карамазову! — восторженно провозгласил Коля.

— И вечная память мертвому мальчику! — с чувством прибавил опять Алеша.

- Вечная память! — подхватили снова мальчики.
- Карамазов! — крикнул Коля, — неужели и взаправду религия говорит, что мы все встанем из мертвых и оживем и увидим опять друг друга, и всех, и Илюшечку?
- Непременно восстанем, непременно увидим и весело, радостно расскажем друг другу все, что было, — полусмеясь, полу в восторге ответил Алеша.
- Ах, как это будет хорошо! — вырвалось у Коли.
- Ну, а теперь кончим речи и пойдемте на его поминки. Не смущайтесь, что блины будем есть. Это ведь старинное, вечное, и тут есть хорошее, — засмеялся Алеша. — Ну пойдемте же! Вот мы теперь и идем рука в руку.
- И вечно так, всю жизнь рука в руку! Ура Карамазову! — еще раз восторженно прокричал Коля, и еще раз все мальчики подхватили его восклицание.



Обдумаем прочитанное

1. Какие страницы произвели на вас самое сильное впечатление? В чем секрет их воздействия на читателя?
Кто из героев прочитанных глав и почему привлек ваше внимание?
2. О чем говорит внешний облик и поведение «мальчика за канавкой»? Почему никто из школьников не встал на его защиту? Какова, на ваш взгляд, причина их озлобленности?
Рассмотрите на цветной вклейке репродукцию картины Василия Григорьевича Перова «Мальчик, готовящийся к драке». Совпадает ли ваше впечатление от картины с представлением о «мальчике за канавкой»? В чем сходство и различие?
3. Что узнал Алеша Карамазов о семействе Снегиревых, когда оказался в домишке, в котором они снимали комнату?
4. Почему о переживаниях Илюшечки рассказывает его отец? Какие моменты в этом рассказе с особой силой раскрывают страдания мальчика?
5. Чем притягивает к себе мальчиков Коля Красоткин? Как вы расцениваете его поведение по отношению к Илюше? Можно ли считать Колю и Илюшу друзьями?
6. Назовите общие черты в характерах Коли Красоткина и Илюши, замеченные Алешей Карамазовым. В каких поступках, переживаниях мальчиков эти черты ярче всего выразились?
- Какие поступки Коли и Илюши повлекли за собой роковые последствия? В чем причина этих поступков?
7. Какую роль в жизни мальчиков сыграл Алеша Карамазов? Почему они поддались его нравственному влиянию?



Пишем сочинение

Темы, которые мы предлагаем для сочинения, можно раскрыть в любом жанре: поведать историю из своей жизни в форме дневниковой записи или письма близкому человеку; придумать рассказ на вымышленный или взятый из жизни сюжет; написать сочинение по прочитанным страницам из последнего романа Достоевского. Вот эти темы:

«Как хороша жизнь, когда что-нибудь сделаешь хорошее и правдивое!» (Размышления об одном поступке.)

«Прекрасное, святое воспоминание, сохраненное с детства».

«Вовремя человека пожалеть хорошо бывает».

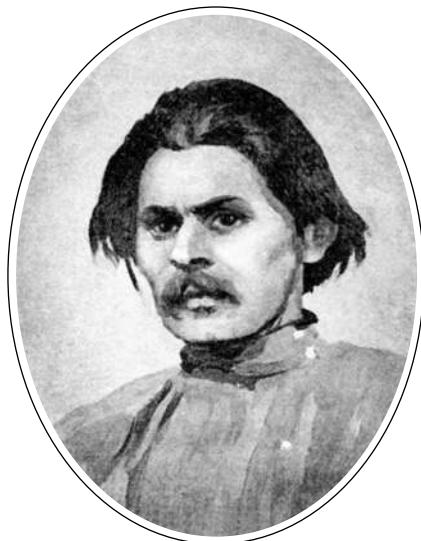


Приглашаем в библиотеку

Может быть, вам удастся достать изданную давно, в 1971 году, книгу «Ф. М. Достоевский детям». В нее вошли отрывки из романов писателя «Бедные люди», «Неточка Незванова», «Униженные и оскорбленные», «Преступление и наказание», «Подросток», более полный, чем в хрестоматии, вариант «Мальчиков», рассказы «Мальчик у Христа на елке», «Мужик Марей», «Столетняя». Если книжку не достанете, попытайтесь в других изданиях прочитать названные отрывки и рассказы или найдите их в Интернете (www.lib.ru).

Максим ГОРЬКИЙ

(1868—1936)



Вам (молодежи) нужно за-
пасаться верою в себя, в свои
силы, а эта вера достигается
преодолением препятствий,
воспитанием воли, «трениров-
кой» ее.

М. Горький

М. Горький — литературное имя великого русского писателя Алексея Максимовича Пешкова. Именно под этим символическим псевдонимом, который живо напоминал о выпавших на его долю тяжелых невзгодах и скитаниях, он написал большинство своих произведений.

М. Горький родился в Нижнем Новгороде на Волге 16 марта 1868 года. Рано умерший отец его выбился из столяров-краснодеревщиков в управляемые большой пароходной конторой Астрахани. Детство Алеша Пешкова прошло в нижегородском доме деда Василия Каширина, владельца красильной мастерской. С ранних лет будущий писатель попал в душную атмосферу вражды и жестокости, царивших в семье деда. Единственным близким Алеше человеком в доме была бабушка Акулина Ивановна, которая соединяла в себе милосердие, неистребимую доброту, терпение и великодушие. Она привила мальчика к народным сказкам, стихам, песням, к пониманию красоты слова. Алеша Пешков чутко воспринимал первые уроки добродетели, данные бабушкой: «Злого бы приказа не слушался, за чужую совесть не прятался!» Она обогатила внука бескорыстной любовью к миру и человеку, «насытив крепкой силой для трудной жизни».

Грамоте Алексей учился у деда по Псалтыри (одна из книг Библии) и часослову (книга песнопений и молитв для ежедневных церковных служб), а потом около двух лет посещал

Нижегородское слободское Кунавинское училище, в котором получил похвальную грамоту.

В 1876 году дед Василий Каширин разорился. Спустя три года Алексей Пешков, потеряв мать и став сиротой, начинает жизнь «в людях». Он перепробовал много занятий, сменил немало профессий: служил «мальчиком» в модном обувном магазине, был учеником чертежника, работал посудником на волжских пароходах «Добрый» и «Пермь», трудился в иконо-писной мастерской, а затем десятником на ярмарочных постройках, пробовал себя в театре в роли статиста... Первого настоящего наставника Алексей нашел в лице пароходного повара Смурого, бывшего гвардейского унтер-офицера, который пробудил у подростка интерес к чтению. Правда, у повара, как писал впоследствии Горький, «была самая странная библиотека в мире». В его сундучке рядом с томиками Некрасова и Гоголя лежали произведения мещанской (низкопробной) литературы, номера старых журналов и даже руководство по истреблению клопов. Но Смурый по-своему был начитан, литературу воспринимал горячо, эмоционально. И Горький вспоминал о нем с уважением и доброй улыбкой.

Проснувшийся интерес к книге вскоре перешел у Алеши в страсть к чтению. Он узнал и полюбил настоящее искусство — литературу больших чувств, мудрых мыслей и незабываемых характеров. Он читал «все, что попадало под руку»: Н. В. Гоголя, Н. А. Некрасова, Г. И. Успенского, романы А. Дюма, В. Скотта, Э. Гонкура, О. Бальзака, Г. Флобера, Ч. Диккенса. «Для подростка это было все равно, что в дремучем лесу найти связку волшебных ключей к даже не подозреваемым дверям громадного, вдруг расступившегося мира», — говорил писатель Леонид Леонов. Сам же Горький, вспоминая эту пору своей жизни, писал: «Все более расширяя предо мною пределы мира, книги говорили мне о том, как велик и прекрасен человек в стремлении к лучшему, как много он сделал на земле и каких невероятных страданий стоило это ему».

В пятнадцать лет Алексей Пешков, возымявший «свирепое желание учиться», едет в Казань, чтобы поступить в университет. Убедившись, что науки всем желающим даром не преподаются, будущий писатель, чтобы обеспечить существование, берется за самую тяжкую работу. «Университетами» Горького стала сама жизнь.

Свои детские, отроческие и юношеские годы Горький запечатлев в автобиографической трилогии «Детство» (1913), «В людях» (1916), «Мои университеты» (1923). Писатель

проявлял большой интерес к автобиографиям, «которые помогают понять становление личности». Незадолго до создания «Детства» он перечитал автобиографические книги С. Т. Аксакова, Л. Н. Толстого и только что вышедшую тогда «Историю моего современника» В. Г. Короленко. Они вызвали у писателя желание рассказать о развитии человека, взращенного иной средой, иными жизненными обстоятельствами, нежели у Аксакова, Толстого и Короленко.

В повести «Детство», как и во всей автобиографической трилогии, ярко проявились такие черты художественного дарования Горького, как острые наблюдательность, свежесть восприятия людей и событий, бодрая вера в силу и значение личности, меткость и выразительность языка. Запечатленная в книге действительность раскрывается через восприятие Алеша Пешкова. Горьковский юный герой напряженно размышляет о жизни и людях. И так же, как в повести Л. Толстого, в «Детстве» Горького звучит голос взрослого автора, тонко отмечающего знаменательные моменты в развитии подрастающего человека. Как и у Толстого, прошлое у Горького поверяется и обогащается настоящим. И так же как у Толстого, герой и события, нарисованные в повести, не точная копия жизни окружающих людей. Достаточно сказать, что никто не может через много лет во всех подробностях воспроизвести обстановку, действия, внешность, настроение, диалоги, переживания героев: здесь все права приобретает воображение художника слова.



Что, по вашему мнению, помогло Горькому выстоять в трудных обстоятельствах жизни и, как он сам говорил, поверить в то, что он не один на земле и не пропадет?

ДЕТСТВО

(Избранные главы)

Сыну моему посвящаю

[Алеше было четыре года, когда умер его отец. После похорон отца Алеши его мать и бабушка, которая приехала к ним в Астрахань, решили вернуться в Нижний Новгород, где жил дед Алеши].

<...> Пароход снова бухал и дрожал, окно каюты горело, как солнце. Бабушка, сидя около меня, чесала волосы и морщилась, что-то нашептывая. <...>

Говорила она, как-то особенно выпевая слова, и они легко укреплялись в памяти моей, похожие на цветы, такие же ласковые, яркие, сочные. Когда она улыбалась, ее темные, как вишни, зрачки расширялись, вспыхивая невыразимо приятным светом, улыбка весело обнажала белые, крепкие зубы, и, несмотря на множество морщин в темной коже щек, все лицо казалось молодым и светлым. Очень портил его этот рыхлый нос с раздутыми ноздрями и красный на конце. Она нюхала табак из черной табакерки, украшенной серебром. Вся она — темная, но светилась изнутри — через глаза — неугасимым, веселым и теплым светом. Она сутула, почти горбатая, очень полная, а двигалась легко и ловко, точно большая кошка, — она и мягкая такая же, как этот ласковый зверь.

До нее как будто спал я, спрятанный в темноте, но явилась она, разбудила, вывела на свет, связала все вокруг меня в непрерывную нить, сплела все в разноцветное кружево и сразу стала на всю жизнь другом, самым близким сердцу моему, самым понятным и дорогим человеком, — это ее бескорыстная¹ любовь к миру обогатила меня, насытив крепкой силой для трудной жизни.

Сорок лет назад пароходы плавали медленно; мы ехали до Нижнего очень долго, и я хорошо помню эти первые дни насыщения красотою.

Установилась хорошая погода; с утра до вечера я с бабушкой на палубе, под ясным небом, между позолоченных осенью, шелками шитых берегов Волги. Не торопясь, лениво и гулко бухая плициами² по серовато-синей воде, тянется вверх по течению светло-рыжий пароход, с баржой на длинном буксире. Баржа серая и похожа на мокрицу. Незаметно плывет над Волгой солнце; каждый час все вокруг ново, все меняется; зеленые горы — как пышные складки на богатой одежде земли; по берегам стоят города и села, точно пряничные издали; золотой осенний лист плывет по воде.

— Ты гляди, как хорошо-то! — ежеминутно говорит бабушка, переходя от борта к борту, и вся сияет, а глаза у нее радостно расширены.

¹ Бескорыстный — не стремящийся к личной выгоде, наживе; корысть — выгода, нажива.

² Плицы — лопасти пароходного колеса.

Часто она, заглядевшись на берег, забывала обо мне: стоит у борта, сложив руки на груди, улыбается и молчит, а на глазах слезы. Я дергаю ее за темную, с набойкой цветами, юбку.

— Ась? — встрепенется она. — А я будто задремала да сон вижу.

— А о чём плачешь?

— Это, милый, от радости да от старости, — говорит она, улыбаясь. — Я ведь уж старая, за шестой десяток лета-весны мои перекинулись-пошли.

И, понюхав табаку, начинает рассказывать мне какие-то диковинные истории о добрых разбойниках, о святых людях, о всяком зверье и нечистой силе.

Сказки она сказывает тихо, таинственно, наклоняясь к моему лицу, заглядывая в глаза мне расширенными зрачками, точно вливая в сердце мое силу, приподнимающую меня. Говорит, точно поет, и чем дальше, тем складней звучат слова. Слушать ее невыразимо приятно. Я слушаю и прошу:

— Ещё!

— А еще вот как было: сидит в подпечке старичок домовой, занозил он себе лапу лапшой, качается, хныкает: «Ой, мышеньки, больно, ой, мышата, не стерплю!»

Подняв ногу, она хватается за нее руками, качает ее на весу и смешно морщит лицо, словно ей самой больно.

Вокруг стоят матросы — бородатые, ласковые мужики, — слушают, смеются, хвалят ее и тоже просят:

— А ну, бабушка, расскажи еще чего! — Потом говорят:

— Айда ужинать с нами! <...>

Помню детскую радость бабушки при виде Нижнего. Дергая за руку, она толкала меня к борту и кричала:

— Гляди, гляди, как хорошо! Вот он, батюшка, Нижний-то! Вот он какой, Богов! Церкви-те, гляди-ка ты, летят будто!

И просила мать, чуть не плача:

— Варюша, погляди, чай, а? Поди, забыла ведь! Порадуйся! Мать хмуро улыбалась.

Когда пароход остановился против красивого города, среди реки, тесно загроможденной судами, ощетинившейся сотнями острых мачт, к борту его подплыла большая лодка со множеством людей, подцепилась багром к спущенному трапу, и один за другим люди из лодки стали подниматься на палубу. Впереди всех быстро шел небольшой сухонький старичок, в черном длинном одеянии с рыжей, как золото, бородкой, с птичьим носом и зелеными глазками.

— Папаша! — густо и громко крикнула мать и опрокинулась на него, а он, хватая ее за голову, быстро гладя щеки ее маленькими красными руками, кричал, взвизгивая:

— Что-о, дура? Ага-а! То-то вот... Эх вы-и...

Бабушка обнимала и целовала как-то сразу всех, вертаясь, как винт; она толкала меня к людям и говорила торопливо:

— Ну, скорее! Это — дядя Михайло, это — Яков... Тетка Наталья, это — братья, оба Саша, сестра Катерина, это все наше племя, вот сколько!

Дедушка сказал ей:

— Здорова ли, мать? — Они троекратно поцеловались.

Дед выдернул меня из тесной кучи людей и спросил, держа за голову:

— Ты чей таков будешь?

— Астраханский, из каюты...

— Чего он говорит? — обратился дед к матери и, не дождавшись ответа, отодвинул меня, сказав:

— Скулы-те отцовы... Слезайте в лодку!

Съехали на берег и толпой пошли в гору, по съезду¹, мокшенному крупным булыжником, между двух высоких откосов, покрытых жухлой, примятой травой.

Дед с матерью шли впереди всех. Он был ростом под руку ей, шагал мелко и быстро, а она, глядя на него сверху вниз, точно по воздуху плыла. За ними молча двигались дядья: черный гладковолосый Михаил, сухой, как дед, светлый и кудрявый Яков, какие-то толстые женщины в ярких платьях и человек шесть детей, все старше меня и все тихие. Я шел с бабушкой и маленькой теткой Натальей. Бледная, голубоглазая, с огромным животом, она часто останавливалась и, задыхаясь, шептала:

— Ой, не могу!

— На что они тревожили тебя? — сердито ворчала бабушка. — Эко неумное племя!

И взрослые и дети — все не понравились мне, я чувствовал себя чужим среди них, даже и бабушка как-то померкла, отдалилась.

Особенно же не понравился мне дед; я сразу почуял в нем врага, и у меня явилось особенное внимание к нему, опасливое любопытство.

Доплыли до конца съезда. На самом верху его, прислонясь к правому откосу и начиная собою улицу, стоял приземистый одноэтажный дом, окрашенный грязно-розовой краской, с на-

¹ Съезд — здесь: спуск к реке.

хлобученной низкой крышей и выпущенными окнами. С улицы он показался мне большим, но внутри его, в маленьких полутемных комнатах, было тесно; везде, как на пароходе перед пристанью, суетились сердитые люди, стаей вороватых воробьев метались ребятишки, и всюду стоял едкий незнакомый запах.

Я очутился на дворе. Двор был тоже неприятный: весь завешан огромными мокрыми тряпками, заставлен чанами¹ с густой разноцветной водою. В ней тоже мокли тряпицы. В углу, в низенькой полуразрушенной пристройке, жарко горели дрова в печи, что-то кипело, булькало, и невидимый человек громко говорил странные слова:

— Сандал² — фуксин³ — купорос...

II

Началась и потекла со страшной быстротой густая, пестрая, невыразимо странная жизнь. Она вспоминается мне, как суровая сказка, хорошо рассказанная добрым, но мучительно правдивым гением. Теперь, оживляя прошлое, я сам порою с трудом верю, что все было именно так, как было, и многое хочется оспорить, отвергнуть, — слишком обильна жестокостью темная жизнь «неумного племени».

Но правда выше жалости, и ведь не про себя я рассказываю, а про тот тесный, душный круг жутких впечатлений, в котором жил — да и по сей день живет — простой русский человек.

Дом деда был наполнен горячим туманом взаимной вражды всех со всеми; она отравляла взрослых, и даже дети принимали в ней живое участие. Впоследствии из рассказов бабушки я узнал, что мать приехала как раз в те дни, когда ее братья настойчиво требовали у отца раздела имущества. Неожиданное возвращение матери еще более обострило и усилило их желание выделиться⁴. Они боялись, что моя мать потребует приданого, назначенного ей, нодержанного дедом, потому что она вышла замуж «самокруткой», против его воли. Дядя считали, что это приданое должно быть поделено между ними. Они тоже давно и жестоко спорили друг с другом о том, кому открыть мастерскую в городе, кому — за Окой, в слободе Кунавине.

Уже вскоре после приезда в кухне, во время обеда, вспыхнула ссора: дядя внезапно вскочили на ноги и, перегибаясь

¹ Чан — деревянная или металлическая бочка.

² Сандал — здесь: название красного или желтого красителя, извлекаемого из древесины дерева сандала.

³ Фуксин — ярко-красная краска.

⁴ Выделиться — здесь: жить отдельно, самостоятельно.

через стол, стали выть и рычать на дедушку, жалобно скаля зубы и встрыхиваясь, как собаки, а дед, стуча ложкой по столу, покраснел весь и звонко — петухом — закричал:

— По миру пущу!¹

Болезненно искривив лицо, бабушка говорила:

— Отдай им все, отец, — спокойней тебе будет, отдай!

— Цыц, потатчица! — кричал дед, сверкая глазами, и было странно, что, маленький такой, он может кричать столь оглушительно.

Мать встала из-за стола и, не торопясь отойдя к окну, повернулась ко всем спиной.

Вдруг дядя Михаил ударил брата наотмашь по лицу; тот звывал, сцепился с ним, и оба покатились по полу, хрюпя, охая, ругаясь.

Заплакали дети; отчаянно закричала беременная тетка Наталья; моя мать потащила ее куда-то, взяв в охапку; веселая рябая нянька Евгения выгоняла из кухни детей; падали стулья; молодой широкоплечий подмастерье Цыганок сел верхом на спину дяди Михаила, а мастер Григорий Иванович, плешивый, бородатый человек в темных очках, спокойно связывал руки дяди полотенцем.

Вытянув шею, дядя терся редкой черной бородою по полу и хрюпел страшно, а дедушка, бегая вокруг стола, жалобно вскрикивал:

— Братья, а! Родная кровь! Эх вы-и...

Я еще в начале ссоры, испугавшись, вскочил на печь и оттуда в жутком изумлении смотрел, как бабушка смыгивает водою из медного рукомойника кровь с разбитого лица дяди Якова; он плакал и топал ногами, а она говорила тяжелым голосом:

— Окаянные, дикое племя, опомнитесь!

Дед, натягивая на плечо изорванную рубаху, кричал ей:

— Что, ведьма, народила зверья?

Когда дядя Яков ушел, бабушка сунулась в угол, потрясающе воя:

— Пресвятая Мати Божия, верни разум детям моим!

Дед встал боком к ней и, глядя на стол, где все было опрокинуто, пролито, тихо проговорил:

— Ты, мать, гляди за ними, а то они Варвару-то изведут, чего доброго...

— Полно, бог с тобой! Сними-ка рубаху-то, я зашью...

И, сжав его голову ладонями, она поцеловала деда в лоб; он же — маленький против нее — ткнулся лицом в плечо ей.

¹ Пó миру пущу! — здесь: заставлю жить подаянием, сделаю нищим.

— Надо, видно, делиться, мать...

— Надо, отец, надо!

Они говорили долго; сначала дружелюбно, а потом дед начал шаркать ногой по полу, как петух перед боем, грозил бабушке пальцем и громко шептал:

— Знаю я тебя, ты их больше любишь! А Мишка твой — езuit, а Яшка — фармазон¹. И прошлют они добро мое, промотают...

Неловко повернувшись на печи, я свалил уголь; загремев по ступеням влаза², он шлепнулся в лохань с помоями.

Дед впрыгнул на ступень, стащил меня и стал смотреть в лицо мне так, как будто видел меня впервые.

— Кто тебя посадил на печь?.. Мать?

— Я сам.

— Врешь.

— Нет, сам. Я испугался.

Он оттолкнул меня, легонько ударив ладонью в лоб.

— Весь в отца! Пошел вон...

Я был рад убежать из кухни.

Я хорошо видел, что дед следит за мною умными и зоркими зелеными глазами, и боялся его. Помню, мне всегда хотелось спрятаться от этих обжигающих глаз. Мне казалось, что дед злой; он со всеми говорит насмешливо, обидно, подзадоривая и стараясь рассердить всякого.

— Эх вы-и! — часто восклицал он; долгий звук «и-и» всегда вызывал у меня скучное, зябкое чувство.

В час отдыха, во время вечернего чая, когда он, дядя и работники приходили в кухню из мастерской, усталые, с руками, окрашенными сандалом, обожженными купоросом, с повязанными тесемкой волосами, все похожие на темные иконы в углу кухни, — в этот опасный час дед садился против меня и, вызывая зависть других внуков, разговаривал со мною чаще, чем с ними. Весь он был складный, точеный, острый. Его атласный, шитый шелками, глухой жилет был стар, вытерт, ситцевая рубаха измята, на коленях штанов красовались большие заплаты, а все-таки он казался одетым и чице и красивей сыновей, носивших пиджаки, манишки и шелковые косынки на шеях.

Через несколько дней после приезда он заставил меня учить молитвы. Все другие дети были старше и уже учились грамоте у дьячка Успенской церкви; золотые главы ее были видны из окон дома.

¹ Фармазон (правильно: франкмасон) — здесь: безбожник, вольнодумец, нарушитель порядка.

² Влаз — ступеньки, по которым забираются на русскую печь.

Меня учила тихонькая, пугливая тетка Наталья, женщина с детским лицом и такими прозрачными глазами, что, мне казалось, сквозь них можно было видеть все сзади ее головы.

Я любил смотреть в глаза ей подолгу, не отрываясь, не мигая; она щурилась, вертела головою и просила тихонько, почти шепотом:

— Ну, говори, пожалуйста: «Отче наш, иже еси...»

И если я спрашивал: «Что такое — яко же?» — она, пугливо оглянувшись, советовала:

— Ты не спрашивай, это хуже! Просто говори за мною: «Отче наш»... Ну?

Меня беспокоило: почему спрашивать хуже? Слово «яко же» принимало скрытый смысл, и я нарочно всячески искал его: — «Яков же», «я в коже»...

Но бледная, словно тающая тетка терпеливо поправляла голосом, который все прерывался у нее:

— Нет, ты говори просто: «яко же»...

Но и сама она и все ее слова были не просты. Это раздражало меня, мешая запомнить молитву.

Однажды дед спросил:

— Ну, Олешка, чего сегодня делал? Играли! Вижу по желваку на лбу. Это не велика мудрость желвак нажить! А «Отче наш» заучил?

Тетка тихонько сказала:

— У него память плохая.

Дед усмехнулся, весело приподняв рыжие брови.

— А коли так, — высечь надо! — И снова спросил меня:

— Тебя отец сек?

Не понимая, о чем он говорит, я промолчал, а мать сказала:

— Нет, Максим не бил его, да и мне запретил.

— Это почему же?

— Говорил, битьем не выучишь.

— Дурак он был во всем, Максим этот, покойник, прости Господи! — сердито и четко проговорил дед. Меня обидели его слова. Он заметил это.

— Ты что губы надул? Ишь ты...

И, погладив серебристо-рыжие волосы на голове, он прибавил:

— А я вот в субботу Сашку за наперсток пороть буду.

— Как это пороть? — спросил я.

Все засмеялись, а дед сказал:

— Погоди, увидишь...

Притаившись, я соображал: пороть — значит расшивать платья, отданные в краску, а сечь и бить — одно и то же, видимо. Бьют лошадей, собак, кошек; в Астрахани будочники бьют персиян, — это я видел. Но я никогда не видел, чтоб так били маленьких, и хотя здесь дядья щелкали своих то по лбу, то по затылку, — дети относились к этому равнодушно, только почесывая ушибленное место. Я не однажды спрашивал их:

— Больно?

И всегда они храбро отвечали:

— Нет, нисколечко!

Шумную историю с наперстком я знал. Вечерами, от чая до ужина, дядя и мастер сшивали куски окрашенной материи в одну «штуку» и пристегивали к ней картонные ярлыки. Желая пощутить над полуслепым Григорием, дядя Михаил велел девятилетнему племяннику накалить на огне свечи наперсток мастера. Саша зажал наперсток щипцами для снимания нагара со свеч, сильно накалил его и, незаметно подложив под руку Григория, спрятался за печку, но как раз в этот момент пришел дедушка, сел за работу и сам сунул палец в каленый наперсток.

Помню, когда я прибежал в кухню на шум, дед, схватившись за ухо обожженными пальцами, смешно прыгал и кричал:

— Чье дело, басурмане?

Дядя Михаил, согнувшись над столом, гонял наперсток пальцем и дул на него; мастер невозмутимо шил; тени прыгали по его огромной лысине; прибежал дядя Яков и, спрятавшись за угол печи, тихонько смеялся там; бабушка терла на терке сырой картофель.

— Это Сашка Яковов устроил, — вдруг сказал дядя Михаил.

— Врешь! — крикнул Яков, выскочив из-за печи. А где-то в углу его сын плакал и кричал:

— Папа, не верь. Он сам меня научил!

Дядья начали ругаться. Дед же сразу успокоился, приложил к пальцу тертый картофель и молча ушел, захватив с собой меня.

Все говорили — виноват дядя Михаил. Естественно, что за чаем я спросил — будут ли его сечь и пороть?

— Надо бы, — проворчал дед, искоса взглянув на меня.

Дядя Михаил, ударив по столу рукою, крикнул матери:

— Варвара, уйми своего щенка, а то я ему башку сверну!
Мать сказала:

— Попробуй, тронь...

И все замолчали.

Она умела говорить краткие слова как-то так, точно отталкивала ими людей от себя, отбрасывала их, и они умаялись.

Мне было ясно, что все боятся матери; даже сам дедушка говорил с нею не так, как с другими, — тише. Это было приятно мне, и я с гордостью хвастался перед братьями:

— Моя мать — самая сильная! — Они не возражали.

Но то, что случилось в субботу, надорвало мое отношение к матери.

До субботы я тоже успел провиниться.

Меня очень занимало, как ловко взрослые изменяют цвета материи: берут желтую, мочат ее в черной воде, и материя делается густо-синей — «кубовой»; полощут серое в рыжей воде, и оно становится красноватым — «бордо». Просто, а — непонятно.

Мне захотелось самому окрасить что-нибудь, и я сказал об этом Саше Яковову, серьезному мальчику; он всегда держался на виду у взрослых, со всеми ласковый, готовый всем и всячески услужить. Взрослые хвалили его за послушание, за ум, но дедушка смотрел на Сашу искоса и говорил:

— Экой подхалим!

Худенький, темный, с выпученными, рачьими глазами, Саша Яковов говорил торопливо, тихо, захлебываясь словами, и всегда таинственно оглядывался, точно собираясь бежать куда-то, спрятаться. Карие зрачки его были неподвижны, но, когда он возбуждался, дрожали вместе с белками.

Он был неприятен мне. Мне гораздо больше нравился малозаметный увалень Саша Михайлов, мальчик тихий, с печальными глазами и хорошей улыбкой, очень похожий на свою кроткую мать. У него были некрасивые зубы; они высвечивались изо рта и в верхней челюсти росли двумя рядами. Это очень занимало его; он постоянно держал во рту пальцы, раскачивая, пытаясь выдернуть зубы заднего ряда, и покорно позволял щупать их каждому, кто желал. Но ничего более интересного я не находил в нем. В доме, битком набитом людьми, он жил одиноко, любил сидеть в полутемных углах, а вечером у окна. С ним хорошо было молчать — сидеть у окна, тесно прижавшись к нему, и молчать целый час, глядя, как в красном вечернем небе вокруг золотых луковиц Успенского храма вьются-мечутся черные галки, взмывают высоко вверх, падают вниз и, вдруг покрыв угасающее небо черною сетью, исчезают куда-то, оставив за собою пустоту. Когда смотришь

на это, говорить ни о чем не хочется, и приятная скука наполняет грудь.

А Саша дяди Якова мог обо всем говорить много и солидно, как взрослый. Узнав, что я желаю заняться ремеслом красильщика, он посоветовал мне взять из шкапа белую праздничную скатерть и окрасить ее в синий цвет.

— Белое всего легче красится, уж я знаю! — сказал он очень серьезно.

Я вытащил тяжелую скатерть, выбежал с нею на двор, но когда опустил край ее в чан с «кубовой», на меня налетел откуда-то Цыганок, вырвал скатерть и, отжимая ее широкими лапами, крикнул брату, следившему из сеней за моей работой:

— Зови бабушку скорее!

И, зловеще качая черной, лохматой головою, сказал мне:

— Ну и попадет же тебе за это!

Прибежала бабушка, заохала, даже заплакала, смешно ругая меня:

— Ах ты, пермяк, солены уши! Чтоб те приподняло да шлепнуло!

Потом стала уговаривать Цыганка:

— Уж ты, Ваня, не сказывай дедушке-то! Уж я спрячу дело; авось, обойдется как-нибудь...

Ванька озабоченно говорил, вытирая мокрые руки разноцветным передником:

— Мне что? Я не скажу; глядите, Сашутка не наяденичал бы!

— Я ему семишник¹ дам, — сказала бабушка, уводя меня в дом.

В субботу, перед всенощной², кто-то привел меня в кухню; там было темно и тихо. Помню плотно прикрытые двери в сени и в комнаты, а за окнами серую муть осеннего вечера, шорох дождя. Перед черным челом печи на широкой скамье сидел сердитый, не похожий на себя Цыганок; дедушка, стоя в углу у лохани, выбирал из ведра с водою длинные прутья, мерял их, складывая один с другим, и со свистом размахивал ими по воздуху. Бабушка, стоя где-то в темноте, громко нюхала табак и ворчала:

— Ра-ад... мучитель...

Саша Яковов, сидя на стуле среди кухни, тер кулаками глаза и не своим голосом, точно старенький нищий, тянул:

¹ Семишник — так называли прежде двухкопеечную монету.

² Всенощная — вечерняя служба в церкви.

— Простите Христа ради...

Как деревянные, стояли за столом дети дяди Михаила, брат и сестра, плечом к плечу.

— Высеку — прощу, — сказал дедушка, пропуская длинный влажный прут сквозь кулак. — Ну-ка, снимай штаны-то!..

Говорил он спокойно, и ни звук его голоса, ни возня мальчика на скрипучем стуле, ни шарканье ног бабушки — ничто не нарушало памятной тишины в сумраке кухни, под низким закопченным потолком.

Саша встал, расстегнул штаны, спустил их до колен и, поддерживая руками, согнувшись, спотыкаясь, пошел к скамье. Смотреть, как он идет, было нехорошо, у меня тоже дрожали ноги. Но стало еще хуже, когда он покорно лег на скамью вниз лицом, а Ванька, привязав его к скамье под мышки и за шею широким полотенцем, наклонился над ним и схватил черными руками ноги его у щиколоток.

— Лексей, — позвал дед, — иди ближе!.. Ну, кому говорю?.. Вот гляди, как секут... Раз!..

Невысоко взмахнув рукой, он хлопнул прутом по голому телу. Саша взвизгнул.

— Врешь, — сказал дед, — это не больно! А вот этак больней! — И ударил так, что на теле сразу загорелась, вспухла красная полоса, а брат протяжно завыл.

— Не сладко? — спрашивал дед, равномерно поднимая и опуская руку. — Не любишь? Это за наперсток!

Когда он взмахивал рукой, в груди у меня все поднималось вместе с нею; падала рука — и я весь точно падал.

Саша визжал страшно тонко, противно:

— Не буду-у... Ведь я же сказал про скатерь... Ведь я сказал...

Спокойно, точно Псалтырь читая¹, дед говорил:

— Донос — не оправданье! Доносчику первый кнут. Вот тебе за скатерть!

Бабушка кинулась ко мне и схватила меня на руки, закричав:

— Лексея не дам! Не дам, изверг!

Она стала бить ногою в дверь, призывая:

— Варя, Варвара!..

Дед бросился к ней, сшиб ее с ног, выхватил меня и понес к лавке. Я бился в руках у него, дергал рыжую бороду, укусил ему палец. Он орал, тискал меня и, наконец, бросил на лавку, разбив мне лицо. Помню дикий его крик:

¹ Точно Псалтырь читая — читая монотонно.

— Привязывай! Убью!..

Помню белое лицо матери и ее огромные глаза. Она бегала вдоль лавки и хрипела:

— Папаша, не надо!.. Отдайте...

Дед засек меня до потери сознания, и несколько дней я хворал, валяясь вверх спиной на широкой жаркой постели в маленькой комнате с одним окном и красной неугасимой лампадой в углу перед киотом¹ со множеством икон.

Дни незддоровья были для меня большими днями жизни. В течение их я, должно быть, сильно вырос и почувствовал что-то особенное. С тех дней у меня явилось беспрокрайное внимание к людям, и, точно мне содрали кожу с сердца, оно стало невыносимо чутким ко всякой обиде и боли, своей и чужой.

Прежде всего меня очень поразила скора бабушки с матерью: в тесноте комнаты бабушка, черная и большая, лезла на мать, заталкивая ее в угол, к образам, и шипела:

— Ты что не отняла его, а?

— Испугалась я.

— Эдакая-то здоровенная! Стыдись, Варвара! Я — старуха, да не боюсь! Стыдись!..

— Отстаньте, мамаша: тошно мне...

— Нет, не любишь ты его, не жаль тебе сироту!

Мать сказала тяжело и громко:

— Я сама на всю жизнь сирота!

Потом они обе долго плакали, сидя в углу на сундуке, и мать говорила:

— Если бы не Алексей, ушла бы я, уехала! Не могу жить в аду этом, не могу, мамаша! Сил нет...

— Кровь ты моя, сердце мое, — шептала бабушка.

Я запомнил: мать — не сильная; она, как все, боится деда.

Я мешаю ей уйти из дома, где она не может жить. Это было очень грустно. Вскоре мать действительно исчезла из дома.

Уехала куда-то гостить.

Как-то вдруг, точно с потолка спрыгнув, явился дедушка, сел на кровать, пощупал мне голову холодной, как лед, рукою:

— Здравствуй, сударь... Да ты ответь, не сердись!.. Ну, что ли?..

Очень хотелось ударить его ногой, но было больно пошевелиться. Он казался еще более рыжим, чем был раньше; голова его беспокойно качалась; яркие глаза искали чего-то на стене.

¹ Киот — шкафчик со стеклянной дверцей для икон.

Вынув из кармана пряничного козла, два сахарных рожка, яблоко и ветку синего изюма, он положил все это на подушку, к носу моему.

— Вот, видишь, я тебе гостинца принес!

Нагнувшись, поцеловал меня в лоб; потом заговорил, тихо поглаживая голову мою маленькой, жесткой рукою, окрашенной в желтый цвет, особенно заметный на кривых, птичьих ногтях.

— Я тебя тогда перетово, брат. Разгорячился очень; укусил ты меня, царапал, ну, и я тоже рассердился! Однако не беда, что ты лишнее перетерпел, — в зчет пойдет! Ты знай: когда свой, родной бьет — это не обида, а наука! Чужому не давайся, а свой ничего! Ты думаешь, меня не били? Меня, Олеша, так били, что ты этого и в страшном сне не увишишь. Меня так обижали, что, поди-ка, сам Господь Бог глядел — плакал! А что вышло? Сирота, нищей матери сын, я вот дошел до своего места, — старшиной цеховым сделан, начальник людям.

Привалившись ко мне сухим, складным телом, он стал рассказывать о детских своих днях словами крепкими и тяжелыми, складывая их одно с другим легко и ловко.

Его зеленые глаза ярко разгорелись, и, весело ощетинившись золотым волосом, сгустив высокий свой голос, он трубил в лицо мне:

— Ты вот пароходом прибыл, пар тебя vez, а я в молодости сам, своей силой супротив Волги баржи тянул. Баржа — по воде, я — по бережку, бос; по острому камню, по осыпям, да так от восхода солнца до ночи! Накалит солнышко затылок-то, голова, как чугун, кипит, а ты, согнувшись в три погибели, — косточки скрипят, — идешь да идешь, и пути не видать, глаза потом залило, а душа-то плачется, а слеза-то катится, — эхма, Олеша, помалкивай! Идешь, идешь, да из лямки-то и вывалишься, мордой в землю — и тому рад; стало быть, вся сила чисто вышла, хоть отдыхай, хоть издыхай! Вот как жили у Бога на глазах, у милостивого Господа Иисуса Христа!. Да так-то я трижды Волгу-матерь вымерял: от Симбирского до Рыбинска, от Саратова досюдова да от Астрахани до Макарьева, до ярмарки, — в этом многие тысячи верст! А на четвертый год уж и водоливом пошел¹, — показал хозяину разум свой!..

Говорил он и — быстро, как облако, рос предо мною, превращаясь из маленького, сухого старичка в человека силы сказочной, — он один ведет против реки огромную серую баржу...

¹ Водоливом пошел — стал старшиной в артели бурлаков.

Иногда он соскачивал с постели и, размахивая руками, показывал мне, как ходят бурлаки в лямках, как откачивают воду; пел баском какие-то песни, потом снова молодо прыгал на кровать и, весь удивительный, еще более густо, крепко говорил:

— Ну, зато, Олеша, на привале, на отдыхе, летним вечером, в Жигулях, где-нибудь под зеленою горой поразложим, бывало, костры — кашницу варить, да как заведет горевой бурлак сердечную песню, да как вступится, грянет вся артель, аж мороз по коже дернет, и будто Волга вся быстрей пойдет, так бы, чай, конем и встала на дыбы, до самых облаков! И всякое горе — как пыль по ветру; до того люди запевались, что, бывало, и каша вон из котла бежит; тут кашевара по лбу половником надо бить: играй, как хочь, а дело помни!

Несколько раз в дверь заглядывали, звали его, но я просил:

— Не уходи! — Он, усмехаясь, отмахивался от людей:

— Погодите там...

Рассказывал он вплоть до вечера, и, когда ушел, ласково простясь со мной, я знал, что дедушка не злой и не страшен. Мне до слез трудно было вспоминать, что это он так жестоко избил меня, но и забыть об этом я не мог.

Посещение деда широко открыло дверь для всех, и с утра до вечера кто-нибудь сидел у постели, всячески стараясь позабавить меня; помню, что это не всегда было весело и забавно. Чаще других бывала у меня бабушка; она и спала на одной кровати со мной; но самое яркое впечатление этих дней дал мне Цыганок. Квадратный, широкогрудый, с огромной кудрявой головой, он явился под вечер, празднично одетый в золотистую шелковую рубаху, плисовые¹ штаны и скрипучие сапоги гармоникой. Блестели его волосы, сверкали раскосые веселые глаза под густыми бровями и белые зубы под черной полоской молодых усов, горела рубаха, мягко отражая красный огонь неугасимой лампады.

— Ты глянь-ка, — сказал он, приподняв рукав, показывая мне голую руку, до локтя в красных рубцах, — вон как разнесло! Да еще хуже было, зажило много! Чуешь ли: как вошел дед в ярость, и вижу, запорет он тебя, так начал я руку эту подставлять, ждал — переломится прут, дедушка-то отойдет за другим, а тебя и утащат бабаня или мать! Ну, прут не переломился, гибок, моченый! А все-таки тебе меньше попало, — видишь, насколько? Я, брат, жуликоватый!..

¹ Плисовые — из хлопчатобумажного бархата.

Он засмеялся шелковым, ласковым смехом, снова разглядывая вспухшую руку, и, смеясь, говорил:

— Так жаль стало мне тебя, аж горло перехватывает, чую! Беда! А он хлещет...

Фыркая по-лошадиному, мотая головой, он стал говорить что-то про деда, сразу близкий мне, детски-простой.

Я сказал ему, что очень люблю его, — он независимо просто ответил:

— Так ведь и я тебя тоже люблю, — за то и боль принял, за любовь! Али я стал бы за другого за кого! Наплевать мне... — Потом он учил меня тихонько, часто оглядываясь на дверь:

— Когда тебя вдругорядь сечь будут, ты, гляди, не сжимайся, не сжимай тело-то, — чуешь? Вдвойне больней, когда тело сожмешь, а ты распусти его свободно, чтоб оно мягко было, — киселем лежи! И не надувайся, дыши вовсю, кричи благим матом, — ты это помни, это хорошо!

Я спросил:

— Разве еще сечь будут?

— А как же? — спокойно сказал Цыганок. — Конешно, будут! Тебя, поди-ка, часто будут драть...

— За что?

— Уж дедушка сыщет...

И снова озабоченно стал учить:

— Коли он сечет с навеса, просто сверху кладет лозу, — ну, тут лежи спокойно, мягко; а ежели он с оттяжкой сечет, — ударит да к себе потянет лозину, чтобы кожу снять, — так и ты виляй телом к нему, за лозой, понимаешь? Это легче!

Подмигнув темным, косым глазом, он сказал:

— Я в этом деле умнее самого квартального¹! У меня, брат, из кожи хоть голицы² шей!

Я смотрел на его веселое лицо и вспоминал бабушкины сказки про Ивана-царевича, про Иванушку-дурачка.

III

Когда я выздоровел, мне стало ясно, что Цыганок занимает в доме особенное место; дедушка кричал на него не так часто и сердито, как на сыновей, а за глаза говорил о нем, жмурясь и покачивая головою:

¹ Квартальный — полицейский, под надзором которого находилась часть города (квартал).

² Голицы — рукавицы из грубой кожи и без подкладки.

— Золотые руки у Иванка, дуй его горой! Помяните мое слово: не мал человек растет!

Дядья тоже обращались с Цыганком ласково, дружески и никогда не «штили» с ним, как с мастером Григорием, которому они почти каждый вечер устраивали что-нибудь обидное и злое: то нагреют на огне ручки ножниц, то воткнут в сиденье его стула гвоздь вверх острием или подложат, полуслепому, разноцветные куски материи, — он сошьет их в одну «штуку», а дедушка ругает его за это.

Однажды, когда он спал после обеда в кухне на полатях, ему накрасили лицо фуксином, и долго он ходил смешной, страшный: из серой бороды тускло смотрят два круглых пятна очков, и уныло опускается длинный багровый нос, похожий на язык.

Они были неистощимы в таких выдумках, но мастер все спосил молча, только крякал тихонько да прежде, чем дотронуться до утюга, ножниц, щипцов или наперстка, обильно смачивал пальцы слюною. Это стало его привычкой; даже за обедом, перед тем как взять нож или вилку, он мусили пальцы, возбуждая смех детей. Когда ему было больно, на его большом лице являлась волна морщин и, странно скользнув по лбу, приподняв брови, пропадала где-то на голом черепе.

Не помню, как относился дед к этим забавам сыновей, но бабушка грозила им кулаком и кричала:

— Бесстыжие рожи, злыдни!

Но и о Цыганке за глаза дядья говорили сердито, насмешливо, порицали его работу, ругали вором и лентяем. Я спросил бабушку, отчего это. Охотно и понятно, как всегда, она объяснила мне:

— А видишь ты, обоим хочется Ванюшку себе взять, когда у них свои-то мастерские будут, вот они друг перед другом и хают его: дескать, плохой работник! Это они врут, хитрят. А еще боятся, что не пойдет к ним Ванюшка, останется с дедом, а дед своюенравный, он и третью мастерскую с Иванкой завести может, — дядям-то это невыгодно будет, понял?

Она тихонько засмеялась:

— Хитрят всё, богу на смех! Ну, а дедушка хитрости эти видит да нарочно дразнит Яшу с Мишой: «Куплю, — говорит, — Ивану рекрутскую квитанцию¹, чтобы его в солдаты не забрали: мне он самому нужен!» А они сердятся, им этого не хочется, и денег жаль, — квитанция-то дорогая!

¹ Рекрутская квитанция — документ, освобождающий от военной службы.

Теперь я снова жил с бабушкой, как на пароходе, и каждый вечер перед сном она рассказывала мне сказки или свою жизнь, тоже подобную сказке. А про деловую жизнь семьи — о выделе детей, о покупке дедом нового дома для себя — она говорила посмеиваясь, отчужденно, как-то издали, точно соседка, а не вторая в доме по старшинству.

Я узнал от нее, что Цыганок — подкидыши; раннею весной, в дождливую ночь, его нашли у ворот дома на лавке.

— Лежит, в запон¹ обернут, — задумчиво и таинственно сказывала бабушка, — еле попискивает, закоченел уж.

— А зачем подкидывают детей?

— Молока у матери нет, кормить нечем; вот она узнает, где недавно дитя родилось да померло, и подсунет туда своего-то.

Помолчав, почесавши голову, она продолжала, вздыхая, глядя в потолок:

— Бедность все, Олеша; такая бывает бедность, что и говорить нельзя! <...> Дедушка хотел было Ванюшку-то в полицию нести, да я отговорила: возьмем, мол, себе; это Бог нам послал в тех место², которые померли. Ведь у меня восемнадцать было рожено; кабы все жили — целая улица народу, восемнадцать-то домов! <...>

Сидя на краю постели в одной рубахе, вся осыпанная черными волосами, огромная и лохматая, она была похожа на медведицу, которую недавно приводил на двор бородатый лесной мужик из Сергача. Крестя снежно-белую, чистую грудь, она тихонько смеется, колышется вся:

— <...> Очень я обрадовалась Иванке, — уж больно люблю вас, маленьких! Ну, и приняли его, окрестили, вот он и живет хорош. Я его вначале Жуком звала, — он, бывало, ужжал особенно, — совсем жук, ползает и ужжит на все горницы. Люби его, — он простая душа!

Я и любил Ивана и удивлялся ему до немоты. По субботам, когда дед, перепоров детей, нагревавших за неделю, уходил ко всенощной, в кухне начиналась неописуемо забавная жизнь: Цыганок доставал из-за печи черных тараканов, быстро делал нитянную упряжь, вырезывал из бумаги сани, и по желтому, чисто выскобленному столу разъезжала четверка вороных, а Иван, направляя их бег тонкой лучиной, возбужденно визжал:

— За архереем³ поехали!

¹ Запон — фартук, передник.

² В тех ме́сто — вместо тех.

³ Архерéй (правильно: архиерéй) — высший церковный чин.

Приклеивал на спину таракана маленькую бумажку, гнал его за санями и объяснял:

— Мешок забыли. Монах бежит, тащит! — Связывал ножки таракана ниткой; насекомое ползло, тыкаясь головой, а Ванька кричал, прихлопывая ладонями:

— Дьячок из кабака к вечерней идет!

Он показывал мышат, которые под его команду стояли и ходили на задних лапах, волоча за собою длинные хвосты, смешно мигая черненькими бусинами бойких глаз. С мышами он обращался бережно, носил их за пазухой, кормил изо рта сахаром, целовал и говорил убедительно:

— Мыши — умный житель, ласковый, ее домовой очень любят! Кто мышей кормит, тому и дед-домовик¹ миролит²...

Он умел делать фокусы с картами, деньгами, кричал больше всех детей и почти ничем не отличался от них. Однажды дети, играя с ним в карты, оставили его «дураком» несколько раз кряду, — он очень опечалился, обиженно надул губы и бросил игру, а потом жаловался мне, шмыгая носом:

— Знаю я, они уговорились! Они перемигивались, карты совали друг другу под столом. Разве это игра? Жульничать я сам умею не хуже...

Ему было девятнадцать лет, и был он больше всех нас четверых, взятых вместе.

Но особенно он памятец мне в праздничные вечера; когда дед и дядя Михаил уходили в гости, в кухне являлся кудрявый, встрепанный дядя Яков с гитарой, бабушка устраивала чай с обильной закуской и водкой в зеленом штофе с красными цветами, искусно вылитыми из стекла на дне его; волчком вертелся празднично одетый Цыганок; тихо, боком приходил мастер, сверкая темными стеклами очков; нянька Евгенья, рябая, краснорожая и толстая, точно кубышка, с хитрыми глазами и трубным голосом; иногда присутствовали волосатый успенский дьячок и еще какие-то темные, скользкие люди, похожие на щук и налимов.

Все много пили, ели, вздыхая тяжко, детям давали гостинцы, по рюмке сладкой наливки, и постепенно разгоралось жаркое, но странное веселье.

Дядя Яков любовно настраивал гитару, а настроив — говорил всегда одни и те же слова:

¹ Дед-домовик — домовой, по народному поверью, сказочное существо, живущее в каждом доме.

² Миролит — помогает, оберегает.

— Ну-с, я начну-с!

Встрыхнув кудрями, он сгибался над гитарой, вытягивал шею, точно гусь; круглое, беззаботное лицо его становилось сонным; живые, неуловимые глаза угасали в масляном тумане, и, тихонько пощипывая струны, он играл что-то разымчивое¹, невольно поднимавшее на ноги.

Его музыка требовала напряженной тишины; торопливым ручьем она бежала откуда-то издали, просачивалась сквозь пол и стены и, волнуя сердце, выманивала непонятное чувство, грустное и беспрокойное. Под эту музыку становилось жалко всех и себя самого, большие казались тоже маленькими, и все сидели неподвижно, притаясь в задумчивом молчании.

Особенно напряженно слушал Саша Михаилов; он все вытягивался в сторону дяди, смотрел на гитару, открыв рот, и через губу у него тянулась слюна. Иногда он забывался до того, что падал со стула, тыкаясь руками в пол, и, если это случалось, он так уж и сидел на полу, вытаращив застывшие глаза.

И все застывали, очарованные; только самовар тихо поет, не мешая слушать жалобу гитары. Два квадрата маленьких окон устремлены во тьму осенней ночи, порою кто-то мягко постукивает в них. На столе качаются желтые огни двух сальных свеч, острые, точно копья. <...>

Цыганок слушал музыку с тем же вниманием, как все, запустив пальцы в свои черные космы, глядя в угол и посапывая. Иногда он неожиданно и жалобно восклицал:

— Эх, кабы голос мне, — пел бы я как, господи!

Бабушка, вздыхая, говорила:

— Будет тебе, Яша, сердце надрывать! А ты бы, Ванята, поплаксал...

Они не всегда исполняли просьбу ее сразу, но бывало, что музыкант вдруг на секунду прижал струны ладонью, а потом, скав кулак, с силою отбрасывал от себя на пол что-то невидимое, беззвучное и ухарски кричал:

— Прочь, грусть-тоска! Ванька, становись!

Охорашиваясь, одергивая желтую рубаху, Цыганок осторожно, точно по гвоздям шагая, выходил на середину кухни; его смуглые щеки краснели, и, сконфуженно улыбаясь, он просил:

— Только почаше, Яков Васильевич!

Бешено звенела гитара, дробно стучали каблуки, на столе и в шкатулку дребезжала посуда, а среди кухни огнем пыпал

¹ Разымчивое — возбуждающее, забористое.

Цыганок, реял коршуном, размахнув руки, точно крылья, незаметно передвигая ноги, гикнув, приседал на пол и метался золотым стрижом, освещая все вокруг блеском шелка, а шелк, содрогаясь и струясь, словно горел и плавился.

Цыганок плясал неутомимо, самозабвенно, и казалось, что, если открыть дверь на волю, он так и пойдет плясом по улице, по городу, неизвестно куда...

— Режь поперек! — кричал дядя Яков, притопывая.

И пронзительно свистел и раздражающим голосом выкрикивал прибаутки:

Эхма! Кабы не было мне жалко лаптей,
Убежал бы от жены и от детей!

Людей за столом подергивало, они тоже порою вскрикивали, подвизгивали, точно их обжигало; бородатый мастер хлопал себя по лысине и урчал что-то. Однажды он, наклоняясь ко мне и покрыв мягкой бородою плечо мое, сказал прямо в ухо, обращаясь словно к взрослому:

— Отца бы твоего, Лексей Максимыч, сюда, — он бы другой огонь зажег! Радостный был муж, утешный. Ты его помнишь ли?

— Нет.

— Ну? Бывало, он да бабушка, — стой-ко, погоди!

Он поднялся на ноги, высокий, изможденный, похожий на образ святого, поклонился бабушке и стал просить ее необычно густым голосом:

— Акулина Ивановна, сделай милость, пройдись разок! Как, бывало, с Максимом Савватеевым хаживала. Утеши!

— Что ты, свет, что ты, сударь, Григорий Иваныч? — посмеиваясь и поеживаясь, говорила бабушка. — Куда уж мне плясать! Людей смешить только...

Но все стали просить ее, и вдруг она молодо встала, опрвила юбку, выпрямилась, вскинув тяжелую голову, и пошла по кухне, вскрикивая:

— А смеяйтесь, ино, на здоровье! Ну-ка, Яша, перетряхни музыку-то!

Дядя весь вскинулся, вытянулся, прикрыл глаза и заиграл медленнее; Цыганок на минуту остановился и, подскочив, пошел вприсядку кругом бабушки, а она плыла по полу бесшумно, как по воздуху, разводя руками, подняв брови, глядя куда-то вдаль темными глазами. Мне она показалась смешной, я фыркнул; мастер строго погрозил мне пальцем, и все взрослые посмотрели в мою сторону неодобрительно.

— Не стучи, Иван! — сказал мастер, усмехаясь; Цыганок послушно отскочил в сторону, сел на порог, а нянька Евгенья, выгнув кадык, запела низким, приятным голосом:

Всю неделю, до субботы,
Плела девка кружева,
Истомилась работой, —
Эх, просто чуть жива!

Бабушка не плясала, а словно рассказывала что-то. Вот она идет тихонько, задумавшись, покачиваясь, поглядывая вокруг из-под руки, и все ее большое тело колеблется нерешительно, ноги щупают дорогу осторожно. Остановилась, вдруг испугавшись чего-то, лицо дрогнуло, нахмурилось и тотчас засияло добрым, приветливой улыбкой. Откачнулась в сторону, уступая кому-то дорогу, отводя рукой кого-то; опустив голову, замерла, прислушиваясь, улыбаясь все веселее, — и вдруг ее сорвало с места, закружило вихрем, вся она стала стройней, выше ростом, и уж нельзя было глаз отвести от нее — так буйно красива и мила становилась она в эти минуты чудесного возвращения к юности!

А нянька Евгенья гудела, как труба:

В воскресенье от обедни
До полуночи плясала.
Ушла с улицы последней,
Жаль — праздника мало!

Кончив плясать, бабушка села на свое место к самовару; все хвалили ее, а она, поправляя волосы, говорила:

— А вы полноте-ка! Не видали вы настоящих-то плясуний. А вот у нас в Балахне была девка одна, — уж и не помню чья, как звали, — так иные, глядя на ее пляску, даже плакали в радости! Глядишь, бывало, на нее, — вот тебе и праздник, и более ничего не надо! Завидовала я ей, грешница! <...>

Моя дружба с Иваном все росла; бабушка от восхода солнца до поздней ночи была занята работой по дому, и я почти весь день вертелся около Цыганка. Он все так же подставлял под розги руку свою, когда дедушка сек меня, а на другой день, показывая опухшие пальцы, жаловался мне:

— Нет, это все без толку! Тебе — не легче, а мне — гляди-ка вот! Больше я не стану, ну тебя!

И в следующий раз снова принимал ненужную боль.

— Ты ведь не хотел?

— Не хотел, да вот сунул... Так уж, как-то незаметно... <...>

Вскоре он погиб. <...>

IV

<...> Однажды дед <...>, распахнув дверь в комнату, сиплым голосом сказал:

— Ну, мать, посетил нас Господь, — горим!

— Да что ты! — крикнула бабушка, вскинувшись с пола, и оба, тяжко топая, бросились в темноту большой парадной комнаты.

— Евгенья, снимай иконы! Наталья, одевай ребят! — строго, крепким голосом командовала бабушка, а дед тихонько выл:

— И-ы-ы...

Я выбежал в кухню; окно на двор сверкало, точно золотое; по полу текли-скользили желтые пятна; босой дядя Яков, обувая сапоги, прыгал на них, точно ему жгло подошвы, и кричал:

— Это Мишка поджег, поджег да ушел, ага!

— Цыц, пес, — сказала бабушка, толкнув его к двери так, что он едва не упал.

Сквозь иней на стеклах было видно, как горит крыша мастерской, а за открытой дверью ее вихрится кудрявый огонь. В тихой ночи красные цветы его цвели бездымяно; лишь очень высоко над ними колебалось темноватое облако, не мешая видеть серебряный поток Млечного Пути. Багрово светился снег, и стены построек дрожали, качались, как будто стремясь в жаркий угол двора, где весело играл огонь, заливая красным широкие щели в стене мастерской, высовываясь из них раскаленными кривыми гвоздями. По темным доскам сухой крыши, быстро опутывая ее, извивались золотые, красные ленты; среди них крикливо торчала и курилась дымом гончарная тонкая труба; тихий треск, шелковый шелест бился в стекла окна; огонь все разрастался; мастерская, изукрашенная им, становилась похожа на иконостас в церкви и непобедимо выманивала ближе к себе.

Накинув на голову тяжелый полушубок, сунув ноги в чисто сапоги, я выволокся в сени, на крыльце и обомлел, ослепленный яркой игрой огня, оглушенный криком деда, Григория, дяди, треском пожара, испуганный поведением бабушки: накинув на голову пустой мешок, обернувшись попоной, она бежала прямо в огонь и сунулась в него, вскрикивая:

— Купорос, дураки! Взорвет купорос...

— Григорий, держи ее! — выл дедушка. — Ой, пропала...

Но бабушка уже вынырнула, вся дымясь, мотая головой, согнувшись, неся на вытянутых руках ведерную бутыль купоросного масла.

— Отец, лошадь выведи! — хрюня, кашляя, кричала она. — Снимите с плеч-то, — горю, али не видно?..

Григорий сорвал с плеч ее тлевшую попону и, переламываясь пополам, стал метать лопатою в дверь мастерской большие комья снега; дядя прыгал около него с топором в руках; дед бежал около бабушки, бросая в нее снегом; она сунула бутыль в сугроб, бросилась к воротам, отворила их и, кланяясь вбежавшим людям, говорила:

— Амбар, соседи, отстаивайте! Перекинется огонь на амбар, на сеновал, — наше все дотла сгорит и ваше займется! Рубите крышу, сено — в сад! Григорий, сверху бросай, что ты на землю-то мечешь! Яков, не суетись, давай топоры людям, лопаты! Батюшки-соседи, беритесь дружней, — Бог вам на помочь.

Она была так же интересна, как и пожар: освещаемая огнем, который словно ловил ее, черную, она металась по двору, всюду поспевая, всем распоряжаясь, все видя.

На двор выбежал Шарап, вскидываясь на дыбы, подбрасывая деда; огонь удариł в его большие глаза, они красно сверкнули; лошадь захрапела, уперлась передними ногами; дедушка выпустил повод из рук и отпрыгнул, крикнув:

— Мать, держи!

Она бросилась под ноги взвившегося коня, встала перед ним крестом; конь жалобно заржал, потянулся к ней, косясь на пламя.

— А ты не бойся! — басом сказала бабушка, похлопывая его по шее и взяв повод. — Али я тебя оставлю в страхе этом? Ох ты, мышонок...

Мышонок, втрое больше ее, покорно шел за нею к воротам и фыркал, оглядывая красное ее лицо.

Нянька Евгенья вывела из дома закутанных, глухо мычавших детей и закричала:

— Василий Васильич, Лексея нет...

— Попла, пошла! — ответил дедушка, махая рукой, а я спрятался под ступени крыльца, чтобы нянька не увела и меня.

Крыша мастерской уже провалилась; торчали в небо тонкие жерди стропил, курясь дымом, сверкая золотом углей; внутри постройки с воем и треском взрывались зеленые, синие, красные вихри, пламя снопами выкидывалось на двор, на людей, толпившихся перед огромным костром, кидая в него снег лопатами. В огне яростно шипели котлы, густым облаком поднимался пар и дым, странные запахи носились по двору, выжимая слезы из глаз; я выбрался из-под крыльца и попал под ноги бабушке.

— Уйди! — крикнула она. — Задавят, уйди...

На двор ворвался верховой в медной шапке с гребнем. Рыжая лошадь брызгала пеной, а он, высоко подняв руку с плеткой, орал, грозя:

— Раздайсы!

Весело и торопливо звенели колокольчики, все было празднично красиво. Бабушка толкнула меня на крыльцо:

— Я кому говорю? Уйди!

Нельзя было не послушать ее в этот час. Я ушел в кухню, снова прильнул к стеклу окна, но за темной кучей людей уже не видно огия, — только медные шлемы сверкают среди зимних черных шапок и картузов.

Огонь быстро придавили к земле, залили, затоптали, полиция разогнала народ, и в кухню вошла бабушка.

— Это кто? Ты-и? Не спиши, боишься? Не бойся, все уж кончилось...

Села рядом со мною и замолчала, покачиваясь. Было хорошо, что снова воротилась тихая ночь, темнота; но и огня было жалко. Дед вошел, остановился у порога и спросил:

— Мать?

— Ой?

— Обожглась?

— Ничего.

Он зажег серную спичку, осветив синим огнем свое лицо хорька, измазанное сажей, высмотрел свечу на столе и, не торопясь, сел рядом с бабушкой.

— Умылся бы,— сказала она, тоже вся в саже, пропахшая едким дымом. Дед вздохнул:

— Милостив Господь бывает до тебя, большой тебе разум дает...

И, погладив ее по плечу, добавил, оскалив зубы:

— На краткое время, на час, а дает!..

Бабушка тоже усмехнулась, хотела что-то сказать, но дед нахмурился.

— Григория рассчитать надо, — это его недосмотр! Отработал мужик, отжил! На крыльце Яшка сидит, плачет, дурак... Попша бы ты к нему...

Она встала и ушла, держа руку перед лицом, дуя на пальцы, а дед, не глядя на меня, тихо спросил:

— Весь пожар видел, с начала? Бабушка-то как, а? Старуха ведь... Бита, ломана... То-то же! Эх, вы-и... <...>

V

К весне дядька разделились; Яков остался в городе, Михаил уехал за реку, а дед купил себе большой интересный дом

на Полевой улице, с кабаком в нижнем каменном этаже, с маленькой уютной комнаткой на чердаке и садом, который опускался в овраг, густо опущившийся голыми прутьями ивняка.

— Розог-то! — сказал дед, весело подмигнув мне, когда, осматривая сад, я шел с ним по мягким, протаявшим дорожкам. — Вот я тебя скоро грамоте начну учить, так они го-дятся... <...>

Помню, был тихий вечер; мы с бабушкой пили чай в комна-те деда; он был нездоров, сидел на постели без рубахи, накрыв плечи длинным полотенцем, и, ежеминутно отирая обильный пот, дышал часто, хрюпал. Зеленые глаза его помутнели, лицо опухло, побагровело, особенно багровы были маленькие острые уши. Когда он протягивал руку за чашкой чая, рука жалобно тряслась. Был он кроток и не похож на себя. <...>

В саду, вокруг берез, гудя, летали жуки, бондарь¹ работал на соседнем дворе, где-то близко точили ножи; за садом, в овраге, шумно возились ребятишки, путаясь среди густых кустов. Очень манило на волю, вечерняя грусть вливалась в сердце.

Вдруг дедушка, достав откуда-то новенькую книжку, гром-ко шлепнул ею по ладони и бодро позвал меня.

— Ну-ка, ты, пермяк, солены уши, поди сюда! Садись, скула калмыцкая. Видишь фигуру? Это — аз. Говори: аз! Буки! Веди!² Это — что?

- Буки.
- Попал! Это?
- Веди.
- Врешь, аз! Гляди: глаголь, добро, есть³, — это что?
- Добро.
- Попал! Это?
- Глаголь.
- Верно! А это?
- Аз.

Вступилась бабушка:

— Лежал бы ты, отец, смирно...
— Стой, молчи! Это мне впору, а то меня мысли одолевают.
Валай, Лексей!

Он обнял меня за шею горячей, влажной рукою и через плечо мое тыкал пальцем в буквы, держа книжку под носом

¹ Бондарь — мастер, специалист по изготовлению бочек.

² Аз, буки, вёди — по старинной азбуке названия букв: а, б, в.

³ Глаголь, добро, есть — названия букв: г, д, е.

моим. От него жарко пахло уксусом, потом и печеным луком, я почти задыхался, а он, приходя в ярость, хрипел и кричал в ухо мне:

— Земля! Люди!¹

Слова были знакомы, но славянские знаки не отвечали им: «земля» походила на червяка, «глаголь» — на сутулого Григория, «я» — на бабушку со мною, а в дедушке было что-то общее со всеми буквами азбуки. Он долго гонял меня по алфавиту, спрашивая и в ряд и вразбивку; он заразил меня своей горячей яростью, я тоже вспотел и кричал во все горло. Это смешило его; хватаясь за грудь, кашляя, он мял книгу и хрипел:

— Мать, ты гляди, как взвился, а? Ах, лихорадка астраханская, чего ты орешь, чего?

— Это вы кричите...

Мне весело было смотреть на него и на бабушку: она, облокотясь о стол, упираясь кулаком в щеки, смотрела на нас и негромко смеялась, говоря:

— Да будет вам надрываться-то!

Дед объяснял мне дружески:

— Я кричу, потому что я нездоровий, а ты чего?

И говорил бабушке, встряхивая мокрой головою:

— А неверно поняла покойница Наталья, что памяти у него нету; память, слава богу, лошадиная! Вали дальше, курнос!

Наконец он шутливо столкнул меня с кровати.

— Будет! Держи книжку. Завтра ты мне всю азбуку без ошибки скажешь, и за это я тебе дам пятак... <...>

Грамота давалась мне легко, дедушка смотрел на меня все внимательнее и все реже сек, хотя, по моим соображениям, сечь меня следовало чаще прежнего: становясь взрослее и бойчей, я гораздо чаще стал нарушать дедовы правила и наказы, а он только ругался да замахивался на меня.

Мне подумалось, что, пожалуй, раньше-то он меня напрасно бил, и я однажды сказал ему это.

Легким толчком в подбородок он приподнял голову мою и, мигая, протянул:

— Чего-о?

И дробно засмеялся, говоря:

— Ах ты, еретик!² Да как ты можешь сосчитать, сколько тебя сечь надоено? Кто может знать это, кроме меня? Сгинь, пошел!

¹ Земля, люди — буквы: а, л.

² Еретик — здесь: использовано как бранное слово.



С рисунка Д. А. Дехтерева

Но тотчас же схватил меня за плечо и снова, заглянув в глаза, спросил:

— Хитер ты али простодушен, а?

— Не знаю...

— Не знаешь? Ну, так я тебе скажу: будь хитер, это лучше, а простодушность — та же глупость, понял? Баран простодушен. Запомни! Айда, гуляй... <...>

VII

<...> Меня не пускали гулять на улицу, потому что она слишком возбуждала меня, я точно хмелел от ее впечатлений и почти всегда становился виновником скандалов и буйств... <...>

Меня и не тянула улица, если на ней было тихо, но когда я слышал веселый ребячий гам, то убегал со двора, не глядя на дедов запрет. Синяки и ссадины не обижали, но неизменно возмущала жестокость уличных забав, — жестокость, слишком знакомая мне, доводившая до бешенства. Я не мог терпеть, когда ребята стравливали собак или петухов, истязали кошек, гоняли еврейских коз, издевались над пьяными нищими и блаженным Игошем Смерть в Кармане. <...>

Другим и, может быть, еще более тяжким впечатлением улицы был мастер Григорий Иванович. Он совсем ослеп и ходил по миру, высокий, благообразный, немой. Его водила под руку маленькая серая старушка; останавливаясь под окнами, она писклявым голосом тянула, всегда глядя куда-то вбок:

— Подайте, Христа ради, слепому, убогому...

А Григорий Иванович молчал. Черные очки его смотрели прямо в стену дома, в окно, в лицо встречного; насквозь прокрашенная рука тихонько поглаживала широкую бороду, губы его были плотно сжаты. Я часто видел его, но никогда не слыхал ни звука из этих сомкнутых уст, и молчание старика мучительно давило меня. Я не мог подойти к нему, никогда не подходил, а напротив, завида его, бежал домой и говорил бабушке:

— Григорий ходит по улице!

— Ну? — беспокойно и жалостно воскликнула она. — На-ко, беги, подай ему!

Я отказывался грубо и сердито. Тогда она сама шла за ворота и долго разговаривала с ним, стоя на тротуаре. Он усмехался, тряс бородой, но сам говорил мало, однословно.

Иногда бабушка, зазвав его в кухню, поила чаем, кормила. Как-то раз он спросил, где я. Бабушка позвала меня, но я

убежал и спрятался в дровах. Не мог я подойти к нему, — было нестерпимо стыдно перед ним, и я знал, что бабушке тоже стыдно. Только однажды говорили мы с нею о Григории: проводив его за ворота, она шла тихонько по двору и плакала, опустив голову. Я подошел к ней, взял ее руку.

— Ты что же бегаешь от него? — тихо спросила она. — Он тебя любит, он хороший ведь...

— Отчего дедушка не кормит его? — спросил я.

— Дедушка-то?

Она остановилась, прижала меня к себе и почти шепотом, пророчески сказала:

— Помяни мое слово: горестно накажет нас Господь за этого человека! Накажет...

Она не ошиблась: лет через десять, когда бабушка уже успокоилась навсегда, дед сам ходил по улицам города нищий и безумный, жалостно выпрашивая под окнами:

— Повара мои добрые, подайте пирожка кусок, пирожка-то мне бы! Эх, вы-и...

Прежнего от него только и осталось, что это горькое тягучее, волнующее душу:

— Эх, вы-и... <...>

VIII

Дед неожиданно продал дом кабатчику, купив другой, по Канатной улице; немощеная, заросшая травою, чистая и тихая, она выходила прямо в поле и была сизана из маленьких, пестро окрашенных домиков. <...>

Весь дом был тесно набит невиданными мною людьми: в передней половине жил военный из татар с маленькой круглой женой; она с утра до вечера кричала, смеялась, играла на богато украшенной гитаре и высоким, звонким голосом пела. <...>

Военный, круглый, как шар, сидя у окна, надувал синее лицо и, весело выкатывая какие-то рыжие глаза, непрерывно курил трубку, кашлял странным, собачьим звуком:

— Вух, вух-вух-хх...

В теплой пристройке над погребом и конюшней помещались двое ломовых извозчиков — маленький сивый дядя Петр, немой племянник его Степа, гладкий, литой парень, с лицом, похожим на поднос красной меди, — и невеселый, длинный татарин Валей, денщик. Все это были люди новые, богатые незнакомым для меня.

Но особенно крепко захватил и потянул меня к себе нахлебник¹ Хорошее Дело. Он снимал в задней половине дома комнату рядом с кухней, длинную, в два окна — в сад и на двор.

Это был худощавый, сутулый человек, с белым лицом в черной раздвоенной бородке, с добрыми глазами, в очках. Был он молчалив, незаметен и, когда его приглашали обедать, чай пить, неизменно отвечал:

— Хорошее дело.

Бабушка так и стала звать его в глаза и за глаза.

— Ленька, кричи Хорошее Дело чай пить! Вы, Хорошее Дело, что мало кушаете?

Вся комната его была заставлена и завалена какими-то ящиками, толстыми книгами незнакомой мне гражданской печати; всюду стояли бутылки с разноцветными жидкостями, куски меди и железа, прутья свинца. С утра до вечера он, в рыжей кожаной куртке, в серых клетчатых штанах, весь измазанный какими-то красками, неприятно пахучий, встрепанный и неловкий, плавил свинец, паял какие-то медные штучки, что-то взвешивал на маленьких весах, мычал, обжигал пальцы и торопливо дул на них, подходил, спотыкаясь, к чертежам на стене и, протерев очки,нюхал чертежи, почти касаясь бумаги тонким и прямым, странно белым носом. А иногда вдруг останавливался среди комнаты или у окна и долго стоял, закрыв глаза, подняв лицо, остынувший, безмолвный.

Я влезал на крышу сарая и через двор наблюдал за ним в открытое окно, видел синий огонь спиртовой лампы на столе, темную фигуру; видел, как он пишет что-то в растрепанной тетради, очки его блестят холодно и синевато, как льдины; колдовская работа этого человека часами держала меня на крыше, мучительно разжигая любопытство.

Иногда он, стоя в окне, как в раме, спрятав руки за спину, смотрел прямо на крышу, но меня как будто не видел, и это очень обижало. Вдруг отскакивал к столу и, согнувшись вдвое, рылся на нем.

Я думаю, что я боялся бы его, будь он богаче, лучше одет, но он был беден: над воротником его куртки торчал измятый, грязный ворот рубахи, штаны — в пятнах и заплатах, на босых ногах — стоптанные туфли. Бедные — не страшны, не опасны, в этом меня незаметно убедило жалостное отношение к ним бабушки и презрительное — со стороны деда.

¹ Нахлебник — здесь: тот, кто живет и питается в чужой семье.

Никто в доме не любил Хорошее Дело; все говорили о нем посмеиваясь; веселая жена военного звала его «меловой нос», дядя Петр — аптекарем и колдуном, дед — чернокнижником¹, фармазоном.

— Чего он делает? — спросил я бабушку. Она строго откланулась:

— Не твое дело; молчи, знай...

Однажды, собравшись с духом, я подошел к его окну и спросил, едва скрывая волнение:

— Ты чего делаешь?

Он вздрогнул, долго смотрел на меня поверх очков и, протянув мне руку в язвах и шрамах ожогов, сказал:

— Влезай...

То, что он предложил войти к нему не через дверь, а через окно, еще более подняло его в моих глазах. Он сел на ящик, поставил меня перед собой, отодвинул, приподнял снова и наконец спросил негромко:

— Ты откуда?

Это было странно: я четыре раза в день сидел на кухне за столом около него! Я ответил:

— Здешний внук...

— Ага, да, — сказал он, осматривая свой палец, и замолчал. Тогда я счел нужным пояснить ему:

— Я не Каширин, а Пешкоб...

— Пёшков? — неверно повторил он. — Хорошее дело.

Отодвинул меня в сторону, поднялся и, уходя к столу, сказал:

— Ну, сиди смирно...

Я сидел долго-долго, наблюдая, как он скоблит рашпилем кусок меди, зажатый в тиски; на картон под тисками падают золотые крупинки опилок. Вот он собрал их в горсть, высыпал в толстую чашку, прибавил к ним из баночки пыли, белой, как соль, облил чем-то из темной бутылки, — в чашке засипело, задымилось, едкий запах бросился в нос мне, я закашлялся, замотал головою, а он, колдун, хвастливо спросил:

— Скверно пахнет?

— Да!

— То-то же! Это, брат, весьма хорошо!

«Чем хвастается!» — подумалось мне, и я строго сказал:

— Если скверно, так уж не хорошо...

— Ну? — воскликнул он, подмигивая. — Это, брат, не всегда, однако. А ты в бабки играешь?

¹ Чернокнижник — старинное: тот, кто занимался колдовством.

— В козны?
— В козны, да?
— Играю.
— Хочешь, налиток сделаю? Хорошая битка будет!
— Хочу!
— Неси, давай бабку.

Он снова подошел ко мне, держа дымящуюся чашку в руке, заглядывая в нее одним глазом, подошел и сказал:

— Я тебе налиток сделаю; а ты за это не ходи ко мне. Хорошо?

Это меня прежестоко обидело.

— Я и так не приду никогда... <...>

Я быстро и крепко привязался к Хорошему Делу, он стал необходимым для меня и во дни горьких обид и в часы радостей. Молчаливый, он не запрещал мне говорить обо всем, что приходило в голову мою, а дед всегда обрывал меня строгим окриком:

— Не болтай, бесова мельница!

Бабушка же была так полна своим, что уже не слышала и не принимала чужого.

Хорошее Дело всегда слушал мою болтовню внимательно и часто говорил мне, улыбаясь:

— Ну, это, браток, не так, это ты сам выдумал...

И всегда его краткие замечания падали вовремя, были необходимы, — он как будто насквозь видел все, что делалось в сердце и голове у меня, видел все лишние, неверные слова раньше, чем я успевал сказать их, видел и отсекал прочь двумя ласковыми ударами:

— Врешь, брат!

Я нередко нарочно испытывал эту его колдовскую способность; бывало, выдумаю что-нибудь и рассказываю, как бывшее, но он, послушав немножко, отрицательно качал головою:

— Ну, врешь, брат...

— А почему ты знаешь?

— Уж я, брат, вижу... <...>

Иногда он неожиданно говорил мне слова, которые так и остались со мною на всю жизнь. Рассказываю я ему о враге моем Клюшникове, бойце из Новой улицы, толстом, большеголовом мальчике, которого ни я не мог одолеть в бою, ни он меня. Хорошее Дело внимательно выслушал горести мои и сказал:

— Это — ерунда; такая сила — не сила! Настоящая сила — в быстроте движения; чем быстрей, тем сильней — понял?

В следующее воскресенье я попробовал действовать кулаками быстрее и легко победил Клюшникова. Это еще более подняло мое внимание к словам нахлебника.

— Всякую венцу надо уметь взять, — понимаешь? Это очень трудно — уметь взять!

Я не понял ничего, но невольно запоминал такие и подобные слова, — именно потому запоминал, что в простоте этих слов было нечто досадно таинственное: ведь не требовалось никакого особого умения взять камень, кусок хлеба, чашку, молоток!

А в доме Хорошее Дело всё больше не любили; даже ласковая кошка веселой постойлки не влезала на колени к нему, как лазала ко всем, и не шла на ласковый зов его. Я ее бил за это, трепал ей уши и, чуть не плача, уговаривал ее не бояться человека.

— У меня одежда пахнет кислотами — вот кошка и не идет ко мне, — объяснял он, но я знал, что все, даже бабушка, объясняли это иначе, враждебно нахлебнику, неверно и обидно.

— Поншто ты торчишь у него? — сердито спрашивала бабушка. — Гляди, научит он тебя чему-нибудь...

А дед жестоко колотил меня за каждое посещение нахлебника, которое становилось известно ему, рыжему хорьку. Я, конечно, не говорил Хорошему Делу о том, что мне запрещают знакомство с ним, но откровенно рассказывал, как относятся к нему в доме.

— Бабушка тебя боится; она говорит — чернокнижник ты, а дедушка тоже, что ты Богу враг и людям опасный...

Он дергал головою, как бы отгоняя мух; на меловом его лице розовато вспыхивала улыбка, от которой у меня сжималось сердце и зеленело в глазах.

— Я, брат, вижу уж! — тихонько говорил он. — Это, брат, грустно, а?

— Да!

— Грустно, брат...

Наконец, его выжили.

Однажды я пришел к нему после утреннего чая и вижу, что он, сидя на полу, укладывает свои вещи в ящики, тихонько напевая. <...>

— Ну, прощай, брат, вот я и уезжаю...

— Зачем?

Он пристально посмотрел на меня, говоря:

— Разве ты не знаешь? Комната нужна для твоей матери...

— Это кто сказал?

— Дедушка...

— Врет он!

Хорошее Дело потянул меня за руку к себе, и, когда я сел на пол, он заговорил тихонько:

— Не сердись! А я, брат, подумал, что ты знаешь, да не сказал мне; это нехорошо, подумал я...

Было грустно и досадно на него за что-то.

— Послушай-ко, — почти шепотом говорил он, улыбаясь. — Ты помнишь, я тебе сказал: не ходи ко мне?

Я кивнул головой.

— Обиделся ты на меня, да?

— Да...

— А я, брат, не хотел тебя обидеть; я, видишь ли, знал: если ты со мной подружишься, твои станут ругать тебя, — так? Было так? Ты понял, почему я сказал это?

Он говорил, словно маленький, одних лет со мною; а я страшно обрадовался его словам; мне даже показалось, что я давно, еще тогда понял его; я так и сказал:

— Это я давно понял!

— Ну, вот! Так-то, брат. Вот это самое, голубчик...

У меня нестерпимо заныло сердце.

— Отчего они не любят тебя никто?

Он обнял меня, прижал к себе и ответил, подмигнув:

— Чужой — понимаешь? Вот за это самое. Не такой...

Я дергал его за рукав, не зная, не умея, что сказать.

— Не сердись, — повторил он и шепотом на ухо добавил: —

Плакать тоже не надо...

А у самого тоже слезы текут из-под мутных очков. И потом, как всегда, мы долго сидели в молчании, лишь изредка перекидываясь краткими словами.

Вечером он уехал, ласково простившись со всеми, крепко обняв меня. Я вышел за ворота и видел, как он трясясь на телеге, разминавшей колесами кочки мерзлой грязи. Тотчас после его отъезда бабушка принялась мыть и чистить грязную комнату, а я нарочно ходил из угла в угол и мешал ей.

— Уйди! — кричала она, натыкаясь на меня.

— Вы зачем прогнали его?

— А ты поговори!

— Дураки вы все, — сказал я.

Она стала шлепать меня мокрой тряпкой, крича:

— Да ты ошалел, пострел!

— Не ты, а все другие дураки, — поправился я, но это ее не успокоило.

За ужином дед говорил:

— Ну, слава Богу! А то, бывало, как увижу его, — нож в сердце: ох, надобно выгнать!

Я со зла изломал ложку и снова потерпел.

Так кончилась моя дружба с первым человеком из бесконечного ряда чужих людей в родной своей стране — лучших людей ее...

XII

<...> Все лето, исключая, конечно, непогожие дни, я прожил в саду, теплыми ночами даже спал там на кошме¹, подаренной бабушкой; нередко и сама она ночевала в саду, принесет охапку сена, разбрасывает его около моего ложа, лежит и долго рассказывает мне о чем-нибудь, прерывая речь свою неожиданными вставками:

— Гляди — звезда упала! Это чья-нибудь душенька чистая истосковалась, мать-землю вспомнила! Значит, — сейчас где-то хороший человек родился.

Или указывала мне:

— Новая звезда взошла, глянь-ко! Экая глазастая! Ох, ты, небо-небушко, риза Богова светлая...

Дед ворчал:

— Простудитесь, дурачье, захвораете, а то пострел схватит. Воры придут, задавят...

Бывало, — зайдет солнце, прольются в небесах огненные реки и — сгорят, ниспадет на бархатную зелень сада золотисто-красный пепел, потом все ощутимо темнеет, ширится и пухнет, облитое теплым сумраком, опускаются сытые солнцем листья, гнутся травы к земле, все становится мягче, пышнее, тихонько дышит разными запахами, ласковыми, как музыка, — и музыка плывет издали, с поля: играют зорю в лагерях. Ночь идет, и с нею льется в грудь нечто сильное, освежающее, как добрая ласка матери, тишина мягко гладит сердце теплой, мохнатой рукой, и стирается в памяти все, что нужно забыть, — вся едкая, мелкая пыль дня. Обаятельно лежать вверх лицом, следя, как разгораются звезды, бесконечно углубляя небо; эта глубина, уходя все выше, открывая новые звезды, легко поднимает тебя с земли, и — так странно — не то вся земля умалилась до тебя, не то сам ты чудесно разросся, развернулся и плавишься, сливаешься со всем, что вокруг. Становится темнее, тише, но всюду

¹ Кошма — войлочный ковер из овечьей или верблюжьей шерсти.

невидимо протянуты чуткие струны, и каждый звук — запоет ли птица во сне, пробежит ли еж или где-то тихо вспыхнет человеческий голос — все особенно, не по-дневному звучно, подчеркнутое любовно чуткой тишиной.

Проиграла гармоника, прозвучал женский смех, гремит сабля по кирпичу тротуара, взвизгнула собака, — все это не нужно, это падают последние листья отцветшего дня.

Бывали ночи, когда вдруг в поле, на улице вскипал пьяный крик, кто-то бежал, тяжко топая ногами, — это было привычно и не возбуждало внимания.

Бабушка не спит долго, лежит, закинув руки под голову, и в тихом возбуждении рассказывает что-нибудь, видимо, нисколько не заботясь о том, слушаю я ее или нет. И всегда она умела выбрать сказку, которая делала ночь еще значительней, еще краше.

Под ее мерную речь я незаметно засыпал и просыпался вместе с птицами; прямо в лицо смотрит солнце, нагреваясь, тихо струится утренний воздух, листья яблонь стряхивают росу, влажная зелень травы блестит все ярче. Приобретая хрустальную прозрачность, тонкий парок вздымается над нею. В сиреневом небе растет веер солнечных лучей, небо голубеет. Невидимо высоко звенит жаворонок, и все цвета, звуки роскошно просачиваются в грудь, вызывая спокойную радость, будя желание скопее встать, что-то делать и жить в дружбе со всем живым вокруг.

Это было самое тихое и созерцательное время за всю мою жизнь, именно этим летом во мне сложилось и окрепло чувство уверенности в своих силах. Я одичал, стал нелюдим; слышал крики детей Овсянникова, но меня не тянуло к ним, а когда являлись братья, это никого не радовало меня. <...>

Перестали занимать меня и речи деда, все более сухие, ворчливые, охающие. Он начал часто ссориться с бабушкой, выгонял ее из дома, она уходила то к дяде Якову, то — к Михаилу. Иногда она не возвращалась домой по нескольку дней, дед сам стряпал, обжигая себе руки, выл, ругался, колотил посуду и заметно становился жаден.

Иногда, приходя ко мне в шалаш, он удобно усаживался на дерн, следил за мною долго, молча и неожиданно спрашивал:

— Что молчишь?

— Так. А что?

Он начинал поучать:

— Мы — не баре. Учить нас некому. Нам надо все самим понимать. Для других, вон, книги написаны, училища выстроены, а для нас ничего не поспело. Все сам возьми...

И задумывался, засыпал, неподвижный, немой, почти — жуткий.

Осеню он продал дом, а незадолго до продажи, вдруг за утренним чаем, угрюмо и решительно объявил бабушке:

— Ну, мать, кормил я тебя, кормил — будет! Добывай хлеб себе сама.

Бабушка отнеслась к этим словам совершенно спокойно, точно давно знала, что они будут сказаны, и ждала этого. Не торопясь достала табакерку, зарядила свой губчатый нос и сказала:

— Ну, что ж! Коли — так, так — эдак...

Дед снял две темные комнатки в подвале старого дома, в тупике, под горкой. Когда переезжали на квартиру, бабушка взяла старый лапоть на длинном оборе, закинула его в подпечек и, присев на корточки, начала вызывать домового:

— Домовик-родовик, — вот тебе сани, поезжай-ко с нами на новое место, на иное счастье...

Дед заглянул в окно со двора и крикнул:

— Я те повезу, еретица! Попробуй, осрами-ка меня...

— Ой, гляди, отец, худо будет, — серьезно предупредила она, но дед освирепел и запретил ей перевозить домового.

Мебель и разные вещи он дня три распродавал старьевщикам-татарам, яростно торгаясь и ругаясь, а бабушка смотрела из окна и то плакала, то смеялась, негромко покривившая:

— Таци-и! Ломай...

Я тоже готов был плакать, жалея мой сад, шалаш.

Переезжали на двух телегах, и ту, на которой сидел я, среди разного скарба, страшно трясло, как будто затем, чтоб сбросить меня долой.

И в этом ощущении упорной, сбрасывающей куда-то тряски я прожил года два, вплоть до смерти матери. <...>

Живая, трепетная радуга тех чувств, которые именуются любовью, выцветала в душе моей, все чаще вспыхивали угарные синие огоньки злости на все, тело в сердце чувство тяжкого недовольства, сознание одиночества в этой серой безжизненной чепухе. <...>

...Вспоминая эти свинцовые мерзости дикой русской жизни, я минутами спрашиваю себя: да стоит ли говорить об этом? И, с обновленной уверенностью, отвечаю себе — стоит; ибо это — живучая, подлая правда, она не издохла и по сей день. Это та

правда, которую необходимо знать до корня, чтобы с корнем же и выдрать ее из памяти, из души человека, из всей жизни нашей, тяжкой и позорной.

И есть другая, более положительная причина, понуждающая меня рисовать эти мерзости. Хотя они и противны, хотя и давят нас, до смерти расплющивая множество прекрасных душ, — русский человек все-таки настолько здоров и молод душою, что преодолевает и преодолеет их.

Не только тем изумительна жизнь наша, что в ней так плодовит и жирен пласт всякой скотской дряни, но тем, что сквозь этот пласт все-таки победно прорастает яркое, здоровое и творческое, растет доброе — человечье, возбуждая несокрушимую надежду на возрождение наше к жизни светлой, человеческой.

XIII

<...> Бабушка, сидя под окном, быстро плела кружева, весело щелкали коклюшки, золотым ежом блестела на вешнем солнце подушка, густо усеянная медными булавками. И сама бабушка, точно из меди лита, — неизменна! А дед еще более ссохся, сморщился, его рыжие волосы посерели, спокойная важность движений сменилась горячей суетливостью, зеленые глаза смотрят подозрительно. Посмеиваясь, бабушка рассказала мне о разделе имущества между ею и дедом: он отдал ей все горшки, плошки, всю посуду и сказал:

— Это — твое, а больше ничего с меня не спрашивай!

Затем отобрал у нее все старинные платья, вещи, лисий салоп, продал все за семьсот рублей, а деньги отдал в рост под проценты своему крестнику-еврею, торговцу фруктами. Он окончательно заболел сккупостью и потерял стыд: стал ходить по старым знакомым, бывшим сослуживцам своим в ремесленной управе, по богатым купцам и, жалуясь, что разорен детьми, выспрашивал у них денег на бедность. Он пользовался уважением, ему давали обильно, крупными билетами; размахивая билетом под носом бабушки, дед хвастался и дразнил ее, как ребенок:

— Видала, дура? Тебе сотой доли этого не дадут!

Собранные деньги он отдавал в рост новому своему приятелю, длинному и лысому скорняку, прозванному в слободке Хлыстом, и его сестре — лавочнице, дородной, краснощекой бабе с карими глазами, томной и сладкой, как патока.

Всё в доме строго делилось: один день обед готовила бабушка из провизии, купленной на ее деньги, на другой день провизию и хлеб покупал дед, и всегда в его дни обеды бывали

хуже: бабушка брала хорошее мясо, а он — требуху, печеньку, легкие, сычуг¹. Чай и сахар хранился у каждого отдельно, но заваривали чай в одном чайнике, и дед тревожно говорил:

— Постой, погоди, — ты сколько положила?

Высыпает чаинки на ладонь себе и, аккуратно пересчитав их, скажет:

— У тебя чай-то мельче моего, значит — я должен положить меньше, мой крупнее, наваристее.

Он очень следил, чтобы бабушка наливал чай и ему и себе одной крепости и чтоб она выпивала одинаковое с ним количество чашек.

— По последней, что ли? — спрашивала она перед тем, как слить весь чай.

Дед заглядывал в чайник и говорил:

— Ну, уж — по последней!

Даже масло для лампадки пред образом каждый покупал свое, — это после полусотни лет совместного труда!

Мне было и смешно и противно видеть все эти дедовы фокусы, а бабушке — только смешно.

— А ты — полно! — успокаивала она меня. — Ну, что такое? Стар старишок, вот и дурит! Ему ведь восемьдесятков, — отшагай-ка столько-то! Пускай дурит, кому горе? А я тебе да тебе — заработка кусок, небойся!

Я тоже начал зарабатывать деньги: по праздникам, рано утром, брал мешок и отправлялся по дворам, по улицам собирать говяжьи кости, тряпки, бумагу, гвозди. Пуд тряпок и бумаги ветошники покупали по двугривенному, железо — тоже, пуд костей по гривеннику, по восемь копеек. Занимался я этим делом и в будни после школы, продавая каждую субботу разных товаров копеек на тридцать, на полтинник, а при удаче и больше. Бабушка брала у меня деньги, торопливо совала их в карман юбки и покрывала меня, опустив глаза:

— Вот и спасибо те, голубá душа! Мы с тобой не прокоримся, — мы? Велико дело!

¹ Сычуг — здесь: желудок.



С рисунка
Б. А. Дехтерева

Однажды я подсмотрел, как она, держа на ладони мои пятаки, глядела на них и молча плакала, одна мутная слеза висела у нее на носу, ноздреватом, как пемза¹... <...>

В школе мне снова стало трудно, ученики высмеивали меня, называя ветошником, нищебродом, а однажды, после ссоры, заявили учителю, что от меня пахнет помойной ямой и нельзя сидеть рядом со мной. Помню, как глубоко я был обижен этой жалобой и как трудно было мне ходить в школу после нее. Жалоба была выдумана со зла: я очень усердно мылся каждое утро и никогда не приходил в школу в той одежде, в которой собирал тряпье.

Но вот наконец я сдал экзамен в третий класс, получил в награду Евангелие, басни Крылова в переплете и еще книжку без переплета, с непонятным титулом — «Фата-Моргана», дали мне также похвальный лист. Когда я принес эти подарки домой, дед очень обрадовался, растрогался и заявил, что все это нужно беречь и что он запрет книги в укладку² себе. Бабушка уже несколько дней лежала больная, у нее не было денег, дед охал и взвизгивал:

— Опиваете вы меня, объедаете до костей, эх вы-и...

Я отнес книги в лавочку, продал их за пятьдесят пять копеек, отдал деньги бабушке, а похвальный лист испортил какими-то надписями и тогда же вручил деду. Он бережно спрятал бумагу, не развернув ее и не заметив моего озорства. <...>

<...> Мать <...> переселилась к деду <...> редко скажет слово кипящим голосом, а то целый день молча лежит в углу и умирает. <...>

Умерла она в августе, в воскресенье, около полудня. <...>

Через несколько дней после похорон матери дед сказал мне:

— Ну, Лексей, ты — не медаль, на шее у меня — не место тебе, а иди-ка ты в люди. И пошел я в люди.

1913



Обдумаем прочитанное

К главам I и II

1. Читателей горьковского «Детства» покорила бабушка, одно из самых изумительных изображений русской женщины в нашей литературе. Приглядитесь к словесному портрету героини, нарисо-

¹ Пемза — легкий пористый камень.

² Укладка — здесь: небольшой сундук.

ванному в начале главы. Что здесь примечательно, несмотря на то что писатель вовсе не стремился приукрашивать героиню?

2. Перечитайте слова о бабушке: «...это ее бескорыстная любовь к миру обогатила меня, насытив крепкой силой для трудной жизни...» Покажите, как во время путешествия на пароходе проявляется эта любовь бабушки к миру — к природе, родным и близким, к людям вообще.

3. Почему поездку на пароходе после смерти отца герой-рассказчик называет «первыми днями насыщения красотою»? Ответить на этот вопрос вам поможет репродукция картины Константина Федоровича Юона «Закат на Волге. Нижний Новгород», помещенная на цветной вклейке. Вспомните путешествие Николенек Иртеньева в Москву после смерти матери. Что общего в восприятии окружающего мира у героя Л. Н. Толстого и Алешки Пешкова?

К главе II

4. Как художник слова передает первые впечатления Алешки о жизни в доме деда, в частности о жестокой ссоре между дядьями? Отвечая на вопрос, обратите внимание на емкие определения, эпитеты, метафоры, выразительные глаголы.

5. Какие чувства пережил Алеша во время наказания пропавшегося Сашки?

6. Почему после наказания Алеша сердце его «стало невыразимо чутким ко всякой обиде и боли, своей и чужой»? Что «надорвало» отношение сына к матери?

7. Как изменилось отношение Алешки к деду после его рассказа о былом? Нарисуйте устно портрет деда Каширина, опираясь на фрагменты глав I и II.

К главе III

◆ 8. Объясните, почему Цыганок занимал «особенное место» в доме Кашириных. Что привлекало в нем взрослых, Алешу и детей? Какие художественные средства использует писатель, рисуя «неутомимую, самозабвенную» пляску Цыгана, и как это позволяет автору передать свое отношение к герою повести?

9. Почему Алеше казалось, что «бабушка не плясала, а словно рассказывала что-то»? Подготовьте выразительное чтение эпизода «Пляска бабушки», попытайтесь в своем чтении передать глубину чувства и смену настроения героини.

К главе IV

10. Сопоставьте поведение на пожаре бабушки и деда. Обратите внимание на авторские комментарии, сопровождающие их реплики. Как эти реплики характеризуют героев?

Почему герой-рассказчик говорит о бабушке: «Она была так же интересна, как и пожар...»?

К главе V

11. Почему в сцене обучения азбуке герой-повествователь называет Каширина не «дедом», а «дедушкой»?

12. Чем отличаются уроки тетки Натальи (глава II) от уроков деда?

К главе VII

13. Читайтесь в текст главы, выводящей читателя за пределы каширинского дома. Какие чувства и мысли пробудили в Алеше «впечатления улицы»?

14. Сравните, как изображены в главе мастер Григорий Иванович и дед Каширин, которых жизнь заставила ходить «по миру». Что объединяет Алешу и бабушку в их отношении к Григорию Ивановичу?

К главе VIII

15. Чем объяснить, что среди постояльцев каширинского дома Алешу «особенно крепко захватил» «нахлебник Хорошее Дело»? Вдумайтесь в портретные характеристики Хорошего Дела и устно опишите наружность героя.

Как Алеша выражает сочувствие Хорошему Делу? Какие слова, передающие эмоциональное состояние героя-рассказчика, вам запомнились?

К главе XII

16. Подготовьтесь к выразительному чтению описания летней ночи. Как подчеркнуто в главе единство природы и человека, чутко воспринимающего мир? Почему у Алеши возникает желание «жить в дружбе со всем живым вокруг»? Что общего в отношении к природе у Алёши и бабушки?

Рассмотрите репродукцию картины Василия Григорьевича Псекова «Мальчик-мастеровой, засмотревшийся на попугая». Чем герой картины напоминает Алешу Пешкова?

17. Как вы понимаете выражение «едкая, мелкая пыль дня»? В чем противопоставляются описания природы обыденному, «привычному»?

К главе XIII

18. Перечитайте прямую характеристику деда Каширина. Как время изменило его? Кто воплощает в этой главе «добре — человечье»?



Возвращаясь к прочитанному...

1. От главы к главе Алеша постепенно взрослеет. Он более зрело понимает и судит людей, окружающих его. Отметьте изменения,

которые происходят в характере мальчика (свои выводы подкрепите примерами, сравнив главы II и V, VII и XII). Работу можно организовать коллективно, разбившись на группы, а затем в общей беседе сопоставив и обобщив результаты.

2. Слова, завершающие главу XII («Вспоминая эти свинцовые мерзости дикой русской жизни...»), принадлежат писателю, который спустя многие годы оценивает минувшее, пережитое с позиций взрослого, мудрого человека. Читайтесь в концовку главы. Что побуждало автора рисовать «свинцовые мерзости жизни»? Какие факты, события, отношения между людьми он обозначает такой метафорой? В чем вы видите источник веры художника в «возрождение наше к жизни светлой, человеческой»? В ком из героев повести воплощено «здравое и творческое» начало?

◆ 3. Сопоставьте повести «Детство» Л. Н. Толстого и «Детство» М. Горького. Что объединяет и что различает их?



Пишем сочинение

По одной из предлагаемых ниже тем напишите сочинение (или составьте устный рассказ):

1. Почему Алеша Пешков сохранил добре сердце в суровых условиях жизни?
2. Роль бабушки в жизни Алеши.
3. История жизни деда Каширина.



Приглашаем в библиотеку

Постарайтесь прочитать повесть М. Горького «Детство» целиком.

В свой читательский дневник выпишите обратившие на себя внимание мысли и афоризмы писателя.

Для самостоятельного чтения

Владимир Алексеевич СОЛОУХИН
(1924—1997)

Писатель родился в крестьянской семье. Окончил Литературный институт имени М. Горького. Творчество свое начал как поэт, затем появились очерки, рассказы, повести.

Овеянные теплым чувством, лиричные прозаические произведения писателя изображают природу средней полосы России (в этом отношении В. А. Солоухин близок К. Г. Паустовскому), с любовью рассказывают о простых, «незаметных» людях, тружениках, обладающих истинной красотой души. Отличительная особенность этих произведений — их автобиографичность, хотя, конечно, и в них есть элемент вымысла.

С одним из рассказов В. А. Солоухина вы познакомились в 5-м классе (вспомните его). Ниже мы помещаем еще два рассказа автора.

ЗАКОН НАБАТА

Я вскочил на ноги рывком, с трудом, вполне безогчетно преодолевая чугунную тяжесть сна.

В селе звонил набат. Не тот набат, который висел, бывало, на колокольне — двадцать девять пудов двенадцать фунтов. Тот и мертвого поднял бы, не то что спящего.

Когда сбрасывали, разбивали и в разбитом виде увозили от нас колокола, оставили все же в селе один маленький колокольчик из того набора колокольчиков, в которые Сергей Баклановский ловко вытрезвонивал камаринскую.

Счастливый колокольчик повесили на столб около пожарницы. Он-то и кричал теперь жалостным голоском, подражая тому, настоящему покойному набату.

Одевался я торопливо, не попадая в перепутавшиеся штаны. А сам все глядел на окна: не краснеют ли стекла, не проступают ли на них, не трепещут ли отблески близкого пожара?

Сообразив еще, что на улице (при непроглядной темноте) жидкая грязь, лужи и трава, залитая вечерним дождем, я выскочил в сандалиях на босу ногу.

В конце села перекликались люди:

- Кто звонил?
- Горит!
- Малый Оленинец.

Набат зазвонил увереннее, тревожнее, тверже: стареньющую сторожиху тетю Полю сменил кто-нибудь из подбежавших мужчин.

- За Грыбовых бегите!
- Малый Оленинец горит...

В темноте там и тут слышалось громкое чавканье сапог — по раскисшей грязи бежали люди.

Пробегая мимо столба с колокольчиком (на время перестали звонить), я услышал запыхавшиеся и как бы даже восторженные слова сторожихи:

— Гляжу, вроде деревья на небе простили. Я на зады. Батюшки мои светы — зарево над Оленинцем! Что делать? В колокол. Руки трясутся. Не выходит по-набатному-то. Спасибо, Виктор Иванович подбежал...

По-настоящему, по-набатному мне привелось слышать несколько раз в детстве. С тех пор и запомнилось, что ничего уж не может быть тревожнее и страшнее, чем по-настоящему, по-набатному. Правда, случаи оказывались все больше безобидные — например, тревога.

Начинал бить набат, выбегали люди, село наполнялось криками, как при настоящем пожаре (старушки, пока опомнятся, успеют поголосить!), пожарная дружина, составленная из отборных мужиков, начинала действовать.

В поводу гнали лошадей к пожарному сараю. Из широких ворот по бревенчатому настилу выкатывали за оглобли телегу с пожарной машиной, бочку для воды (тоже устроенную на оглоблях), разбирали багры, топоры, лопаты.

Объявлялось, что «горят» Черновы. Вся пожарная оснастка переправлялась к Чернову дому. Раскатывали брезентовые рукава к пруду или колодцу. В своем селе на руках, не теряя времени на запряжение лошадей, катили телеги с пожарными машинами. Проверка не кончалась на том, чтобы просто подбежать к «горящему» дому. Время замечалось по первой струе, направленной на крышу и на стены: часть для пожарной команды, если вода польется через семь минут после того, как разнесся голос набата.

В жаркую погоду брандспойтщик вильнет струей на толпу, в особенности на баб и мальчишек. Тревога, с ее неизбежным ударом по первым людей, разражалась визгом, смехом, весельем. Все переходило на шутку.

Эти своеобразные «маневры» проводились раз по пять за лето, так что все было отработано в тонкости, в любую минуту было начеку. Правда, и пожары случались чаще.

Позже, перед самым снятием колоколов, когда стали уж нарушаться в селе веками сложившиеся патриархальные порядки, кто-то подговорил Витку Гафонова понарошку ударить в набат, и он удариł.

Мужики и бабы побросали косы и серпы (стояло житво), полумертвые прибежали в село, кое-кто от самого Самойловского леса.

Велик и непреложен закон набата: старый ли ты, усталый ли, занятой ли ты человек — бросай все и беги на зовущий голос.

Этот голос всегда означал только одно: другим людям нужна твоя немедленная, безотлагательная помощь. И бегут с топорами, с лопатами, с ведрами. Кое-кто с вилами — на всякий случай. Неизвестно, что за беда. Не ровён час, пригодятся и вилы.

И поднимается в тебе (несмотря на беду) некое восторженное чувство, что ты не один, что, случись у тебя беда, и для тебя точно так же побегут люди, потому что непреложен и велик закон набата.

Вот и теперь я бегу вроде бы один в темноте, но слышу то справа, то слева тяжелый топот и шумное дыхание. Значит, еще бегут мужики. Бегут напропалую, не выбирая дорог в грязи и во мраке.

Я успевала подумать, спросить себя, почему все мы бежим не к пожарнице, а за Грыбовых, на зады. Не любоваться же пожаром повсакали мы все с постелей. Ну да, это вот почему. Оленинец близко, какой-нибудь километр за оврагом и буграми — добежим. А около пожарницы хлопочут, наверно, другие люди — дружина. Они небось знают свое дело.

За околицей на луговине собрались в одно место все бежавшие. Не очень-то много народа осталось в селе, мало собралось и здесь. Пять-шесть мужиков, а то все больше бабенки.

Все глядим туда, где в непроглядной разбойничье черноте мокрой осенней ночи за черным далеким бугром безмолвное, темно-красное стоит зарево.

Было это похоже, как если бы на черной линии земли лежал раскаленный уголек, временами кто-то дует на него, отчего зарево странно пульсирует, в стороны и кверху.

Иногда желтое сердцевинное пятнышко зарева раскаляется до белизны. В эти секунды краснота растекается еще дальше во все стороны, особенно кверху, подсвечивая нижние, черные лохмотья набрякших осенних облаков.

— Ишь ты, как выбрасывает! — говорят в это время в толпе.

— Сказали, Оленинец. Да рази это Оленинец? Оленинец вон он, за бугром. Если бы Оленинец горел, тут бы не то что... и у нас бы светло было. А это вот что горит... Я вам сейчас скажу... Это горит Волково.

— Вольно не дело-то говорить! Волково много правее. А это, я так думаю, Некрасиха.

— Нет, мужики, скорее всего Пасынково.

- Наверно, клеверный стог либо солома.
- Тут не соломой пахнет. Солома полыхнет — и нет.
- Да. Пока тетя Поля увидела, пока бежала до колокола, пока все мы прибежали... Почитай, уж больше часа полыхает. Разве это солома? И не слабеет никак.

Некоторое время мы молча смотрим, как пульсирует красное пятно с желтой точкой посредине — единственное светлое пятнышко величиной с копейку в беспредельной осенней черноте.

- А ведь, пожалуй, и правда Некрасиха, — возобновляется ленивый, раздумчивый разговор.

— А сказали — Олепинцо. Да Олепинцо-то вот оно, за бугром. Если бы горело Олепинцо...

- А может, это... того, мужики... съездить?

— Съездить можно. Почему не съездить? Да ведь пожарница закрыта. Пожарник в Прокошихе.

Тут и до меня дошла вдруг вся нелепость положения.

— Как так в Прокошихе? — спросил я, обращаясь не к кому-нибудь в отдельности, а ко всем вместе.

— Очень просто. Василий Барсуков теперь пожарник. Живет в Прокошихе. До нее два с половиной километра. Пока добежишь, да пока он прибежит...

- А если в своем селе пожар?

— И в своем. Все одно и то же. Недавно у Виктора в избе загорелось. Хорошо, ведрами успели залить. Потом уж и машину привезли, а она не качает!

- Как так не качает?

— Очень просто — испортилась. Тык-пык — вода не идет. Василия чуть не избили. Теперь, кажется, наладили.

— А я вот что думаю, мужики: не позвонить ли нам в Ставрово — в райцентр? Они скорее нас доедут. И машины у них лучше. Пусть им хоть и дальше, хоть и пятнадцать километров вместо наших пяти...

— Наверно, Черкутинские приехали. От Черкутина до Некрасихи близко.

- Говорят вам: Пасынково горит!

- До Пасынкова им еще ближе...

— Из Черкутина и в район могут позвонить. От них легче дозвониться, чем от нас из Олепина. От них прямая линия.

Успокоившись окончательно (звонить из Черкутина удобнее, доехать ближе), сосредоточенно глядим на далекий пожар. Но червячок сомнения (хорошо ли мы делаем, что бездействуем?), видимо, гложет совесть каждого. Нужно снова успокаивать червячка.

— Нам по такой грязи не доехать. Два дня лило как из ведра.
— Давно уж горит. Прогорело, наверно, все. Остались одни головешки.

— А ведь, пожалуй, мужики, правда Некрасиха.
— Мне оказывает, что Некрасиха будет полевее.
— Вот и я говорю, что Волково.
— Пасынково...

Зарево не хотело сбавлять своей хоть и пульсирующей, но равномерной напряженности. Зловещими были именно его безмолвие, его бесшумность, полная тишина.

Наверно, там теперь суета, беготня, крики, вопли... Ничего не долетает сюда, к нам, стоящим на луговине в пяти километрах от пожара. «Тихое, долгое, красное зарево целую ночь над становьем твоим...» — и некстати и кстати стали вспоминаться любимые, точные слова. «Я вижу над Русью далече широкий и тихий пожар»¹. Какие все-таки точные слова! Наверно, пришлось ему глядеть где-нибудь в Шахматове на русские наши пожары. Не может быть, чтобы одно прозренье...

Вдруг дружно, громко заговорили бабы:

— Мужики, что вы стоите? Чего ждете? Мужики, разве так полагается?

— Давно уж были бы на месте, если бы сразу-то...

— Василий-пожарник, вишь, в Прокопихе... Чай, замок-то можно спибить ради такого случая?

— Да хоть бы и без пожарных машин, с топорами. Там теперь каждые руки дороги.

— Ишь на что надеются, что прогорело давно, одни головешки остались! А оно все не прогорает. Вон как выкиды-вает, вон как разъяряется!

— Поезжайте, мужики. Хватит вам гадать... Подъедете к месту, сразу видно будет — Некрасиха или Пасынково.

— Где это видно, чтобы на пожар глядеть, а не ехать! Рази так полагается?

Молча глядим на пожар. Но настроение от бабьего разгово-ра наметилось к перелому. Нужен был теперь лишь маленький толчок, чтобы все пошло в другую сторону.

Тут в самую решительную секунду на пожаре опять выбро-сило — пожалуй, даже сильнее всех разов.

— А что, мужики, и правда, не поехать ли нам? Пожалуй, поедем. Что-то большое горит, не прогорает.

— Не проехать в такую грязь.

¹ Строки из стихотворений А. А. Блока «Русь» и «На поле Куликовом».

- Трактора завести. На тракторе...
- Приедешь завтра к вечеру.
- Попробуем на грузовике. Авось...

Через четверть часа (пока сшибали замок с пожарницы) наша колхозная трехтонка, по расхлябанной колее, урча, разбрызгивая грязь, повезла нас всех на пожар.

С того времени, как тетя Поля ударила в набат, прошло, я думаю, не меньше часу. Все нам казалось, что едем мы зря, больше для очищения совести, нежели для пользы дела. На головешки едем смотреть — упущенное главное-то время.

Как ни странно, машина наша ни разу не завязла. Даже самое гиблое место — против шуновского скотного двора — миновали благополучно. На Куделинской горе поняли, что горит Некрасиха. Само зарево, само пятно скрылось от нас за еловый лесок, но выше елок вздымались искры. Они метались, завивались в жгуты, завихрялись, клубились черно-красными клубами.

Шофер поднажжал на газ. Вялое, полусонное, странно окостенелое состояние нашего духа прошло. Мы возбудились и, нетерпеливые, стояли в кузове — все лицом к пожару, готовые на ходу выпрыгнуть из машины, чтобы бежать и действовать.

Еще острее почувствовали мы всю нелепость нашего стояния на луговине, наши бестолковые пререкания, что горит — Пасынково, Некрасиха или Волково. Засмеют нас теперь пожарные дружины, приехавшие раньше нас: «Глядите, мол, люди добрые, оленинские пожаловали! К шапошному разбору. К головешкам. Пустите их вперед головешки заливать. Как раз по ним эта работа!»

От пожарища (горели сразу две избы) навстречу нашей машине (уж не бить ли?) бросились люди. Бабы завопили, причитая:

— Слава богу! Родимые... приехали!.. Выручайте, люди добрые! Приехали... Слава богу!

Обстановку оценить было нетрудно: мы — единственная реальная сила на пожаре. Кругом женщины. Один дом действительно уже догорал. И крыша и стены обвалились. Образовался чудовищный костер, к которому нельзя было подойти ближе чем на тридцать шагов — трещали волосы.

Второй дом (загоревшийся от первого) полыхал что есть мочи. Спасти его было невозможно. Да нечего уж и спасать: стропила вот-вот рухнут, из окон с гуденьем вырываются длинные мятущиеся клочья огня.

Надо было спасать третий дом, который еще не загорелся (полчаса назад в таком положении был второй дом), но весь

раскалился от близкого огня и готов вспыхнуть в любую секунду. Народу в Некрасихе — два с половиной человека. Бабы таскали ведрами воду, чтобы поливать приготовившийся к вспышке дом, но жара мешала подбежать вплотную. А если кто и подбегал, то выплескивал воду торопливо, отвернувшись, обливая завалинку, не доставая до верхних рядов бревен, а тем более до крыши. Там-то, наверху, и было горячее всего.

— Родимые, выручайте Христа ради, сейчас ведь примется! Но подгонять нас было не нужно.

Что-то проснулось в наших олепинских мужиках, и холодок восторга от своей же дружности и слаженности приятно пробежал у меня по спине.

Медный, давно не чищенный брандспойт в моих руках (так уж получилось в горячке) вдруг вздрогнул, дернулся, едва не вырвавшись из рук. Сильно щелкнуло, хлопнуло на его конце (как если бы вылетела пробка), и белесая струя воды с силой ударила кверху, в черно-красное небо.

В следующую секунду я перевел струю на крышу и стены.

От бревен и от железной крыши повалил пар. Значит, новая пища огню, новая пища зареву, если глядеть на пожар издали.

А мы все стояли бы там, на олепинской луговине, лениво рассуждали бы между собой:

«Что-то долго не прогорает...»

«А пожалуй, мужики, и правда Некрасиха...»

«Нет, Некрасиха будет гораздо полевее...»

И опять глядели бы со стороны на тихое, долгое, красное зарево...

1963



Обдумайте прочитанное

1. Почему рассказ называется не «Набат», а «Закон набата»?

Что сказано о «законе набата» в самом рассказе? Приведите слова автора.

2. Критик Валерий Герасимова пишет: «В ярком этом произведении художник шаг за шагом прослеживает, как инертную, вначале даже нерешительную, массу наконец побеждает “закон набата”...». Проследите эти «шаги».

3. Сравните сцены пожара в рассказе Солоухина и повести М. Горького «Детство», в частности поведение соседей в конце рассказа и бабушки Алеши Пешкова. В чем общее?

МОЧЕНЫЕ ЯБЛОКИ

Как ни стремился я приехать засветло к тому месту на шоссе, от которого нужно поворачивать направо, ночь застала меня в пути.

Во время долгой езды по шоссе (сначала по бетонке, а потом по булыжнику) я утешал себя, успокаивал, что не может быть... не такое уж ненастье... проеду. И вообще, когда едешь по широкой бетонке, кажется — в мире не бывает непроезжих дорог. Правда, иногда вдруг заденешь краешком глаза, увидишь, как от бетонки в лес узкой полоской тянется водянистое месиво, глубокие, заплывшие глинистой жижей, колеи. На мгновение сожмется сердце, как перед несчастьем, но летящая навстречу бетонка мигом развеет дурное предчувствие. И мелькнувшая лесная дорога словно приснилась, словно перемещилась от слезинки в глазу.

Два пучка света, выбрасываемые вперед моим «газиком», то совсем упирались в дорогу, когда попадалась выбоина, то прыскали к облакам. Они представлялись мне умытыми живыми щупальцами, которые автомобиль — тоже живое существо — выпускает, чтобы ощупывать, изучать дорогу.

Вот щупальца замешкались, поползли вправо, совсем скользнули с каменной полосы, обшарили мокрую траву, канаву, чахлый кустик, жирные пласти пашни и недоуменно замерли на водной глади.

Сама по себе она не очень пугала меня. Бывает, лучше глубокая и широкая лужа с твердым, укатанным дном, чем безобидное на вид место, где колеса с каждым поворотом все глубже вязнут в плотную засасывающую трясину. А вообще-то самое страшное — глубокая колея. Пока «газик» (или «лазик», как мы его зовем) стоит на своих четырех колесах, все еще есть надежда выкарабкаться из самой непролазной грязи. Но бывает, садится он на грунт своим низом, животом («дифером», говорят шоферы) — тогда дело плохо. Колеса теперь могут вертеться сколько им вздумается, как у паровоза, приподнятого от рельсов.

Лужи, полные воды, я приоровился проскакивать с разгона и, преодолев их больше десяти, почувствовал даже некоторый задор, этакую неосторожную удалость. Между лужами мотор рычал надсадно, стонал. Каждое колесо, чтобы продвинуться хоть на один оборот, сначала крутилось вхолостую, пробуксовывало в липкой грязи.

В одном месте лужа показалась мне слишком глубокой, а вправо вроде бы уходил следок объезда. Я и свернул на этот

следок. Метра три машина протащилась с разгона, а потом задрожала, засвиристила на одном месте. Я включил задний ход и прибавил газу. «Газик» дернулся назад, но опять задрожал на месте. При этом слышно было, как он резко осел вниз. Судорожно я двинул вперед рычаг демультиплексатора. Это приспособление резко увеличивает силу автомобиля, и на него теперь была последняя надежда. Мотор заревел еще надсаднее, но «газик» даже не дернулся хотя бы на сантиметр, только еще глубже и прочнее осел. Каждый раз, когда я переключал ход то с заднего на передний, то с переднего на задний, пытаясь раскачать машину, автомобиль вздрогивал на одном месте, не в состоянии дернуться и продвинуться ни вперед, ни назад.

Я выключил мотор, фары и встал на крыло, чтобы осмотреться.

Влажная беззвучная темнота окружила меня. С крыла машины капало. Два раза звучно шлепнулась отлипшая грязь.

Первым делом я стал прислушиваться, не работает ли поблизости трактор. Теперь нашу ночь нельзя представить без того, чтобы не тарахтел вдали тракторный мотор. Обычно во время вечерних прогулок, во время любимого тихого сидения на пустынном холме даже досадно немного на то, что нельзя оставаться вовсе в полном ночном безмолвии: либо трактор в отдалении, либо радиовещание из соседнего села. Сейчас рокотание трактора показалось бы мне слаще самой светлой музыки.

Но тихо было вокруг. Поздняя осень. Ночная осенняя пора. Темные ветреные ночи, поздние мглистые утра, серенькие, моросистые деньки. Мокнущая солома на полях, полуопрзачные леса. А главное — очень уж темно по ночам, сырно и ветрено. Пожалуй, в такую осеннюю ночь теплая изба и теплая постель покажутся уютнее, чем даже в зимнюю морозную пору.

С фонариком я оглядел машину со всех сторон. Сидела онаочно, всем животом и передней и задней осями. До дороги, с которой я так легковерно свернул, карабкаться метра четыре, не меньше. Значит, нужно лопатой выбирать всю землю из-под автомобиля, чтобы он опять встал на колеса; затем нужно вырыть отлогий путь к твердой (уж стала твердой казаться расхлябанная колея!) дороге; затем нужно под колеса накидать либо веток, либо дров, либо камней — что окажется поблизости. Затем хорошо, если бы кто-нибудь подтолкнул сзади...

Плохо ездить в дороге одному! Едвоем, тем более в компании, все переходит в шутку. Посмеялись бы над бедой

и взялись бы дружно за дело. Вдвоем и то уж легче. И словом перекинешься, и работу сделаешь в два раза быстрее. Кроме того, двое могут сделать то, что одному совсем не под силу. Очень плохо в дороге одному!..

Пришлось зажечь подфарники, чтобы светило на те места, где выбирать землю лопатой. Сначала я старался не зачерпнуть воды или грязи в туфли, но оступился раз, оступился другой — и стало все равно. Брюки я закатал выше колен. Впрочем, они все время сползали, раскатывались. Я и на них перестал обращать внимание.

Выбирать землю из-под брюха автомобиля было неудобно: лопата соскальзывала, лязгала по металлу. Земля утрамбовалась весом машины, лопата в нее никак не лезла, хоть плачь!

Остановившись отдохнуться, снова стал слушать ночь и услышал впереди по дороге сочное, мокрое чмоканье. Кому-то еще не сидится дома в такую пору. Но ему что, если он пешком, — на дифер не сядет. Я дернул за рычажок фар и ударил в даль таким ярким светом, что идущий по дороге человек от неожиданности заслонился рукой и даже отвернулся. Я погасил свет и стал поджидать прохожего.

Прохожий был в брезентовом плаще и кепке. На ногах резиновые сапоги. В руках можжевеловая палка. Он не собирался останавливаться около меня, но мне пропустить его показалось невозможным. Единственная живая душа в этой ночи, в этом моем одиночестве! Как же так, не поговорить с человеком, не отвести душу! А ему неужели не интересно, почему я здесь торчу, кто я, откуда? Может быть, мне нужна помощь? Именно насчет помощи-то... Неужели можно пройти не осведомясь?

Но нет, я со своей бедой не вызывал никакого интереса, никакой хотя бы праздной любознательности прохожего с можжевеловой палкой. Мало ли застревает машин на наших дорогах!

— Завяз вот, — сказал я, вроде бы и не обращаясь к прохожему, но все же в тот самый момент, когда он поравнялся с моей машиной.

— Что делать, грязь.

— Как что делать? Дороги.

— Так и будешь сидеть, пока дорогу к тебе подведут?

Прохожему было лет сорок, не больше. Да еще нужно прикинуть лет пять на то, что не брит. Задав свой шутливый вопрос, он остановился и повернулся ко мне лицом.

— Куда бы за трактором сходить?

— Здесь поблизости некуда. В бригадах сейчас ни одного трактора. А если во «Власть Советов» — километров восемь. Да и какой трактор за семь верст киселя хлебать поедет!.. Мне вот, правда, торопиться некуда. Хопь, помогу?

— То есть как?..

— Ну как? Где подкопаем, где подложим. Не может быть, чтобы не вытащили. Она сама-то исправна?

— Сама как часы. Я буду очень рад, если вы...

— Ты не думай, что я без корысти. Трояк за работу: чтобы на бутылку и на бутерброд.

Не то чтобы жалко было трех рублей — отдать и десять. Но очень уж откровенная корысть неприятно резанула меня. Я ответил так, как никогда не ожидал от себя в такую минуту:

— Не надо. Я как-нибудь один. Подожду.

— Ну валий!

И, усмехнувшись еще раз, теперь уж на прощание, он заплелап по грязи своими резиновыми сапогами.

Хм, «подожду»! А чего, спрашивается, ждать? Дурак я, дурак! Зачем отказался от подмоги? Может, и правда вытащили бы?

Некоторое время я с остервенением (от злости на себя) рыл землю. Но было ясно, что как только я попытаюсь тронуть машину, она увязнет опять, и все мое выкапывание пойдет насмарку.

Между тем лесок, который я недавно проехал (какой там лесок — осиновые кустики!), до сих пор сливавшийся с чернотой ночи, так что его нельзя было и заподозрить, начал смутно проступать, потому что сзади него пожелтело и засветилось. Вокруг леска образовалось слабенькое сияньице. Потом пошли в небо, вроде как прожекторы, вздрагивающие, трепетные пучки света.

Вот чего нужно было ждать: чтобы засветился осиновый лесок! Через пятнадцать минут грузовик поравнялся с местом моего одинокого сидения.

Наверно, и сам остановился бы грузовик, но для верности я вышел на дорогу и щосемафорил рукой, прося ли, требуя ли остановиться.

— На кой тебя сюда понесло? — заругался шофер вместо приветствия. — Ехал бы по дороге.

— Думал, как лучше объехать лужу.

— Петух думал — в горшок попал... Дернуть, что ли?

— Ну а как же, конечно, дернуть. Век буду благодарить.

— Ладно. На бутылку дашь.

Шофер захлопнул дверцу и поехал вперед, чтобы встать поудобнее для выдергивания.

«Дались им сегодня эти бутылки! — думал я. — Тот — на бутылку с бутербродом. Теперь и этот — на бутылку. А ведь какую мерку выработали: не сто граммов, не стакан — бутылка! Должно быть, сказывается повышенный уровень благосостояния, повседневно растущие потребности».

Я не стал уж спорить: бутылка так бутылка! Лишь бы ехать, а не сидеть в луже.

Когда шофер подошел зацепить трос, я при свете подфарников разглядел его. Здоровенный рыжеволосый детина. Стандартная стеганка коротка ему. Наверно, неудобно лазить в карманы — приходится высоко задирать локти. Впрочем, стеганка расстегнута, клетчатая рубаха тоже, голенища резиновых сапог загнуты. От этого ноги кажутся еще длинней. А сам он весь как восклицательный знак: чем выше, тем шире и здоровее.

Силой и уверенностью повеяло от рыжего богатыря. Не было бы ничего чудного, если бы он потянул за трос да сам же и вытащил мою машину на твердое место.

Разглядел я и его грузовичок. Это была вконец обветшалая, побывавшая, должно быть, не в одном капитальном ремонте, чуть ли не дооценного выпуска полуторка. Ладно, что борта кузова перекосились и выкрошились, ладно, что вся она похожа на консервную банку, которую мальчишки гоняют вместо футбольного мяча, — очень уж гладка и ненадежна была резина. Вот что смущило меня в первую очередь. Такие колеса без единой зазубрички шоферы зовут лысыми. Казалось, камеры видны сквозь стесавшиеся, утончившиеся покрышки.

Я сел за руль, чтобы помочь грузовику мотором. В ярком свете фар мне видно было, как лысые колеса, словно в масле, крутятся в осклизлой земле, бросая в мои фары, в мое ветровое стекло мелкую, как дождь, и такую же частую грязь.

Покрутившись на одном месте с невероятной, почти пропеллерной быстротой, лысые колеса замерли. Хлопнула дверца грузовика. Сейчас детина подойдет, оттянет трос и уедет, оставив меня ждать какой-нибудь новой оказии. И точно, детина подошел, присел на корточки и стал глядеть под мою машину.

— Засосало по выхлопную трубу. На моем драндулете не вытащишь.

И замолчал. Снова высматривает что-то там, под машиной. В эту минуту молчания каждый из нас думал по-своему. Я думал о парне, что он сейчас бросит меня и уедет, что он решил уезжать, но сразу как-то неудобно. Молчит, набирается духу.

— Да, не вытащишь, — обобщил парень свое разглядывание под брюхом машины. — Засосало. Давай сначала подкопаем, накидаем под колеса камней и веток, а тогда уж и дернем.

В грузовике нашлась еще одна лопата. В две лопаты с двух сторон дружно мы начали копать землю. Я заметил, что лопата парня не ищет, где помягче, а лезет под диффер в самые жесткие, в самые трудные места.

«Кряк, кряк! Дзенъ, дзенъ! Кхы, кхы! Шлеп! Шлеп! Чмок! Чмок!»

— А, гадство! У нас узнаешь, как не даваться!

«Шлеп, шлеп!»

— Глубже бери, все равно осядет.

«Чмок, чмок!»

— И когда это будут у нас дороги?

«Кряк, кряк!»

— Сам-то откуда?

— Колхоз «Власть Советов».

— А зовут как?

— Серегой... Глина, черт ее дери! Из-под каждого колеса надо полкубометра выбрать.

«Шмяк, шмяк!»

— У нас — не у тетки Пелагеи: за столом не фукнешь.

«Чмок! Трах!» Серега расправился, держа в руках обломок черенка лопаты.

— Перестарался маленечко.

— Ладно, мою возьмешь.

— Чепуха! Завтра насажу — будет лучше новой! Перекурим? А то разогрелся я. Видишь, лопата не выдержала. Надо немного охолодить. Я, когда разгорячусь, про силу забываю, хоть в работе, хоть с бабой...

— Женаты?

— Третий год. Девочка народилась. Настя.

— Какое хорошее имя!

— Неуж плохое? По матери. Да вот незадача у меня.

— По работе?

— Не то чтобы по работе, но и не в дому. Видишь ли, я, конечно, могу открыться. Все от своей же глупости. Председатель наш, да завхоз, да агроном, да еще там два бригадира вышли после работы и подрались. Что у них там произошло, не знаю. Завхозу поломали два ребра. Отвезли завхоза в больницу. Ну, а я возьми и повесь на магазине бюллетень.

— Какой бюллетень?

— О состоянии здоровья.

— Непонятно... Что же было в том бюллетене?

— Конечно, мне бы не сочинить. Но я нашел старую газету и списал оттуда. Немножко добавил от себя. Пишу:

«Бюллетень о состоянии здоровья завхоза Никитина. Пульс такой-то, дыхание такое-то, поломаны два ребра. Сердечная деятельность...» — и так далее. Кнопками приколол к магазину. Оказывается, шум. Приехали из района, не знают, как расценить. Стенная печать? Не подходит. Стали расценивать как листовку. Понимаешь, чем тут запахло?..

— На вид-то вы вроде смиренный.

— Нет, я озорник. От этого я не отказываюсь. Но все же, какой я враг? Какой я, к примеру, политический преступник? Не враг же я? Неужели могут за врага сочтеть?

— Я думаю, обойдется. Там люди неглупые. Очень даже неглупые. Разберутся, что к чему. Главное тут — чувство юмора.

— Ну да! Я — чтобы посмеяться, а они — всерьез. Однако давай работать. Хорошо, что у меня запасная лопата есть.

«Шмяк, шмяк! Чмок, чмок! Кхы, кхы!»

— Ты, пожалуй, бросай лопату да иди на поиски. Камни, бревна, доски — все неси сюда.

«Шлеп, шлеп! Кряк, кряк!»

— Эх, сударушка, земля-матушка, сколько же тебя перекопано!

«Кха, кха! Трах!»

— Тыфу! Так-перетак, что за черенки пошли! Эдак-пerezдак, нельзя дотронуться, — он уже перелетает!

— Кто насаживал?

— Сам же и насаживал.

— Ты ужставил бы себе дубовые черенки.

Я отдал Сереге последнюю из наших трех лопату, а сам с фонариком пошел на поиски. Недалеко от дороги среди перепаханного поля островком обнаружилась куча прошлогоднего льна, который выдергать-то выдергали, но почему-то не увезли с поля. Я набрал охапку слепившихся, шибающих гнилью, тяжелых от прели спонников.

— Хорош! Вали по целой охапке под каждое колесо. Да не так, а поперек.

Серега стал поправлять спонники, брошенные мною как попало, укладывать их рядочком один к одному поперек колеи. Работа наша ладилась. И чем больше и лучше спорилась, тем больше я смущался предстоящему разговору с Сергеем об оплате.

— Под мои колеса тоже по охапке положь. А я еще подкопаю для гарантии.

Сколько он времени потерял из-за меня! Даже неудобно теперь давать ему трешницу. Пожалуй, надо добавить рублик... Одно дело — просто дернуть и вытащить, а другое дело — потерять целый вечер.

— Все-таки надо бы и камней. Помнится, недалеко отсюда лежала кучка булыжнику. Еще до войны собирались мстить. С тех пор осталось. Пойдем сходим.

Мы пошли за булыжником.

Конечно, теперь он работает не ради этой самой непременной бутылки. Тут и самолюбие, и... ну, может быть, не самодисциплина, а нечто врожденное, перешедшее от деда и прадеда, ну... порядочность, что ли. А главное, пожалуй, все-таки азарт. Во всяком деле он должен быть, а иначе не сделаешь никакого, самого пустякового дела. И порядочность тоже, врожденная... Почти инстинкт.

Давно бы он плонул не только на одну — и на три бутылки. Не похож ведь на сквальгу, на жадину, готового радоваться каждому лишнему полтиннику.

— Вот и булыжник. Давай знаешь что... давай в мою стеганку. Ты понесешь за рукава, а я — за полы. Как носилки. В руках-то мы много ли?.. По три камня, больше не унесем.

Грязный, мокрый булыжник мы стали укладывать на исподнюю сторону стеганки.

— Хватит! Не донести.

— Клади, пока рукава не затрещат.

— Как черенки у лопат?

— Не говори... Раз-два — взяли!

Теперь мне надо держать марку. Если он идет хоть бы что, нельзя мне останавливаться через каждые пять шагов, просить отдыха. А он идет да еще и разговаривает:

— А Маруся, моя жена то есть, спать ни за что не ляжет, пока я не приеду. Сидит и ждет. Приеду, тогда уж вместе.

— Значит, любит.

— Почему же меня не любить? — искренне удивился Серега. — Вали сначала все в одну кучу, будем раскладывать.

Говорят, что лучше всего сближает людей дорога. Но это неверно. Не дорога, а работа, делание одного и того же дела — вот что сближает людей по-настоящему и наверняка.

— Она что же, под стать тебе, рослая, Маруся?

— Что ты! Я ее на плечо посажу и унесу хоть на край света. Ну, правда, верткая, поворотливая то есть, и по хозяйству, и в поле, и так... Очень она переживает за мою дурацкую неприятность.

— Обойдется.

— А Настя уродилась три кило шестьсот. Наверно, значит, в меня... Под заднее колесо вон тот плоский камень подложи. Да заткни его покрепче. Не так. Вот как надо его заткнуть. Теперь давай пробовать. Экзамен нашему труду... Пожалуй, попробуем без твоего мотора. А то она опять вниз полезет. И давай так: ты садись за мою барабанку, а я твою машину сзади подтолкну, так будет вернее.

Через три минуты обе машины — и его, и моя — стояли на главной колее. Это тоже был не асфальт, и, может быть, скоро опять сидеть в грязи. Но пока мы выиграли у дороги наше маленькоое сражение.

— Ну вот, а ты говорил! — Серега надел на себя стеганку, отряхнув ее от земли, убрал трос и поломанные лопаты в кузов. — А ты говорил: «Не вылезем!» Кто сильнее: человек или дорога?

Давясь словами и покраснев (хорошо, что в темноте), я промямлил, протягивая Сереге бумажку:

— Вот!.. Как договорились. Уговор дороже денег. (В последний момент и четырех рублей мне показалось мало, и я добавил еще один мятый рубль.) Вот! Без вас мне бы никак...

— Ладно! Не возьму. Вместе работали. Убери. А здорово мы ее, а? Одной земли кубометр вынули. Да покрышечные работы, мощение камнем на участке в четыре метра... Слушай-ка, давай заедем ко мне? Марусю поглядишь, Настеньку... Ты не думай, бутылка у меня найдется. Яблоки моченые с прошлого года держатся. У меня ведь погреб. Сприснем такое дело, а?

Я ехал вслед за грузовиком и думал, как неожиданно может раскрыться всякий человек, какими неожиданными гранями может он вдруг сверкнуть, если жизнь повернет его так и эдак.

А может быть, и тот прохожий с можжевеловой палкой, рядившийся за три рубля, может, и он, в конце концов, позвал бы меня есть моченые яблоки?

1963



Обдумайте прочитанное

1. Почему проезжий шофер Серега бескорыстно помог попавшему в беду коллеге? Что сблизило и даже подружило героев?

2. Чем рассказ «Моченые яблоки» перекликается с рассказом «Закон набата»?

3. Покажите мастерство писателя в обрисовке осенней природы.

ЗАВЕРШАЯ РАЗДЕЛ ХРЕСТОМАТИИ...

◆ 1. Николенька Иртеньев, Илюша Снегирев, Коля Красоткин, Алеша Пешков — юные герои произведений, представившие перед вами. Их детство и отрочество протекали в разное время: у Николеньки Иртеньева — в 30-е, у Илюши Снегирева и Коли Красоткина — в 70-е, у Алеши Пешкова — в 70—80-е годы XIX века.

Подумайте, в какой общественной среде, в каких семьях они воспитывались. Где и как учились? К чему стремились? Какие светлые воспоминания сохранились у них в памяти? Расскажите о темных сторонах жизни и трудностях, с которыми они сталкивались. Кто помогал им на жизненном пути? С какими душевными качествами перешли они в следующий этап своей жизни? Что объединяет всех этих герояев, несмотря на различия в их характерах и судьбах?

Выберите одного из герояев, заинтересовавшего вас, и расскажите о нем подробнее, имея в виду вопросы, предложенные выше. В сообщение можно включить краткий рассказ о конкретных случаях из жизни «вашего» героя.

2. Откуда взяты и кому принадлежат следующие слова?

а) «Знайте же, что ничего нет выше и сильнее, и здоровее, и полезнее вперед для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное еще из детства, из родительского дома. Вам много говорят про воспитание ваше, а вот какое-нибудь этакое прекрасное, святое воспоминание, сохраненное с детства, может быть, самое лучшее воспитание и есть».

б) «...Старый ли ты, усталый ли, занятый ли ты человек — бросай все и беги на зовущий голос. Этот голос всегда означал только одно: другим людям нужна твоя немедленная, безотлагательная помощь. <...> И поднимается в тебе (несмотря на беду) некое восторженное чувство, что ты не один, что, случись у тебя беда, и для тебя точно так же побегут люди...»

в) «Мне в первый раз пришла в голову ясная мысль о том, что не мы одни, то есть наше семейство, живем на свете, что не все интересы вертятся около нас, а что существует другая жизнь людей, ничего не имеющих общего с нами, не заботящихся о нас и даже не имеющих понятия о нашем существовании».

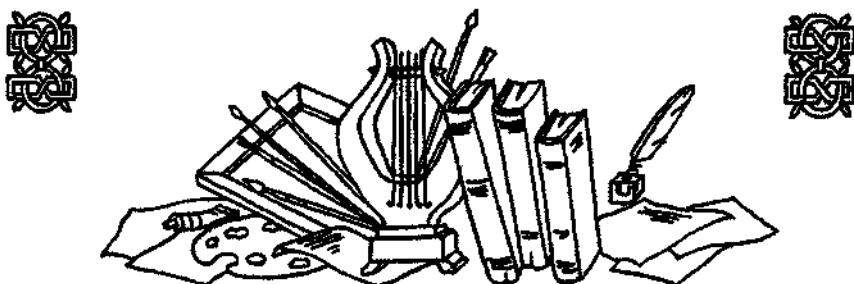
г) «Дни незддоровья были для меня большими днями жизни. В течение их я, должно быть, сильно вырос и почувствовал что-то особенное. С тех дней у меня явилось беспокойное внимание к людям, и, точно мне содрали кожу с сердца, оно стало невыносимо чутким ко всякой обиде и боли, своей и чужой».

д) «...Тут и самолюбие, и... ну, может быть, не самодисциплина, а нечто врожденное, перешедшее от деда и прадеда, ну... порядочность, что ли. А главное, пожалуй, все-таки азарт. Во всяком деле он должен быть, а иначе не сделаешь никакого, самого пустякового дела. И порядочность тоже, врожденная... Почти инстинкт».

Определите основную мысль, которая объединяет эти как будто столь различные высказывания.



СОДРУЖЕСТВО ИСКУССТВ



Искусство, как надежный и верный
помощник, ведет нас к вершинам челове-
ческого духа, делает более зоркими,
чуткими и благородными.

С. Конёнов¹

ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ В РАЗНЫХ ВИДАХ ИСКУССТВА

Степан Петрович ШЕВЫРЁВ²
(1806—1864)

ЗВУКИ

(К Н. Н.)

Три языка Всевышний нам послал,
Чтоб выражать души святые чувства.
Как счастлив тот, кто от Него приял
И душу ангела и дар искусства.

¹ Конёнов Сергей Тимофеевич (1874—1971) — известный скульптор.

² Шевырёв Степан Петрович — поэт, переводчик, преподаватель словесности в Московском университете, автор «Истории поэзии», благосклонно оцененной А. С. Пушкиным. Для поэзии Шевырёва характерно тяготение к аллегории и символам.

Один язык цветами говорит:
Он прелести весны живописует,
Лазурь небес, красу земных харит¹, —
Он взорам мил, он взоры очарует.

Он оттенит все милые черты,
Напомнит вам предмет, душой любимый,
Но умолчит про сердца красоты,
Не выскажет души невыразимой.

Другой язык словами говорит,
Простую речь в гармонию сливает
И сладостной мелодией звучит,
И скрытое в душе изображает.

Он мне знаком: на нем я лепетал,
Беседовал в дни юности с мечтами;
Но много чувств я в сердце испытал,
И их не мог изобразить словами.

Но есть язык прекраснее того:
Он вам знаком, о нем себя спросите,
Не знаю — где слыхали вы его,
Но вы на нем так сладко говорите.

Кто научил вас трогать им до слез?
Кто шепчет вам те сладостные звуки,
В которых вы и радости небес,
И скорбь души — земные сердца муки, —

Все скажете, и все душа поймет,
И каждый звук в ней чувством отзовется:
Вас слушая, печаль слезу отрет,
А радость вдвое улыбнется.

Родились вы под счастливой звездой:
Вам послан дар прекрасного искусства,
И с ясною, чувствительной душой
Вам дан язык для выраженья чувства.

Середина 1820-х годов



О каких языках искусства говорит автор стихотворения?

¹ Хариты — богини красоты и изящества в греческой мифологии.

В МИРЕ ЗВУКОВ И КРАСОК

Многовековой опыт человечества убеждает в поистине волшебной силе художественного слова. Велика его власть над временем и пространством. Но есть искусства, которые воздействуют на человека без слов. Их произведения, тесно связанные с жизнью народа, в среде которого они возникли, путешествуют по земному шару без государственных виз и хронологических рамок: в них есть то, что дорого и понятно всем людям разных наций и поколений, независимо от того, на каком языке они говорят. В числе этих искусств — музыка и живопись.

В самом деле, произведения Моцарта, Вивальди, Баха, Генделя и других композиторов XVIII века и сейчас исполняются в разных странах и волнуют не только знатоков, но и более широкую публику. А ведь написаны они в эпоху свечей, париков, карет и дилижансов.

У картин Рафаэля, Рубенса, Рембрандта, у портретов работы Веласкеса постоянно толпятся посетители выставок и картинных галерей. Прошло 300—400 лет с момента создания этих произведений, а интерес к ним не угасает.

В чем секрет бессмертия музыки и живописи?

Мир эмоций человека неисчерпаемо глубок. И многие из них могут быть выражены и вызваны ритмом, сочетанием звуков, темпом исполнения, мелодией и другими средствами музыкального искусства. Недаром в литературе рядом с прозой существует стихотворная речь: она воздействует не только словом, но и ритмом, гармонией звуков, размером, строфикой, — иными словами, музыкой стиха.

Конечно, основной характер переживаний «задает» композитор. Но вместе с тем в каждом из слушателей музыкальное произведение вызывает свое настроение, свои чувства, у каждого перед мысленным взором возникают свои картины.

Великий французский писатель Стендаль говорил: «Слушая хорошую музыку, я мечтаю о том, чем в это время занято мое сердце». Голос музыки, по словам другого французского писателя Ромена Роллана, идет прямо в сердце, минута, если можно так выразиться, сферу рассудка. Человек далеко не всегда может передать словами, что испытал он во время слушания музыки, но пережитое навсегда остается в его душе.

О живописи хорошо сказал Н. Заболоцкий в стихотворении «Портрет»:

Любите живопись, поэты!
Лишь ей, единственной, дано
Души изменчивой приметы
Переносить на полотно.

Музыка создает у нас определенное настроение, пробуждает чувства, мысли, бесплотные видения с помощью гармонически организованных звуков. Живопись также действует на наше сознание, но обращаясь к нашему зрению, воспроизводя мир «внешний», вещный мир природы и человека в какие-то моменты их жизни.

Разве это не чудо, что в двухмерном пространстве — на полотне, на картоне, на бумаге величиной в несколько квадратных сантиметров, в крайнем случае метров (если картина большая) — перед нами разыгрываются сложнейшие сцены: сражения, встречи и споры людей, общение человека с божествами, раскрываются широкие панорамы степей, морских просторов или предстают сокровенные уголки городских и сельских домов и домишек? Рисунок, подбор и сочетание красок, расположение на картине фигур и предметов помогают художнику как бы остановить мгновение и перенести его на полотно. При этом картина несет на себе печать личности живописца, его отношения к миру. Произведения искусства говорят нам не только о том, что изображает художник, но и о нем самом.



-
1. Что сближает разные виды искусства, а что отличает друг от друга?
 2. Как воссоздает пространство и время живописец и как — писатель?



Константин
Георгиевич
ПАУСТОВСКИЙ
(1892—1968)

Нам нужно все, что обогащает внутренний мир человека <...>, все, что возвышает его эмоциональную жизнь. <...> По существу, мы должны быть владельцами искусства всех времен и всех стран.

К. Г. Паустовский

К. Г. Паустовский вошел в литературу и как ценитель музыки, и как несравненный мастер пейзажа. У него есть повести и очерки о русских художниках Оресте Кипренском, Исааке Левитане, Николае Ромадине. «Живопись важна для прозаика не только тем, что помогает ему увидеть и полюбить краски и свет, — писал Паустовский, — живопись важна еще и тем, что художник часто замечает то, чего мы совсем не видим. Только после его картин мы тоже начинаем видеть это и удивляться, что не замечали этого раньше». Искусству рисовать природу Паустовский учился у художников. Неслучайно работа над книгой о Левитане предшествовала созданию очерков «Мещёрская сторона». Он вдумчиво взглядался в полотна великого русского пейзажиста, стремился постигнуть их не только глазами, но и сердцем.

Перед вами два произведения Паустовского — вымышленный (и вместе с тем правдивый) рассказ о Григе и основанный на фактах (и все-таки созданный с помощью воображения) очерк о Левитане.

Добавим, что Эдвард Григ (1843—1907) — великий норвежский композитор. В его музыке нашли отражение жизнь его родины, ее природа, быт, обряды, легенды, народные предания. Умение композитора «рисовать в звуках» помогло ему создать образ родной страны в вокальных произведениях (песнях и романсах), а особению в музыке к драме известного

норвежского драматурга Ибсена «Пер Гюнт». «Музыка, — писал Григ, — добная сила, которая облагораживает души и нравы».

КОРЗИНА С ЕЛОВЫМИ ШИШКАМИ

Композитор Эдвард Григ проводил осень в лесах около Бергена.

Все леса хороши с их грибным воздухом и шелестом листвьев. Но особенно хороши горные леса около моря. В них слышен шум прибоя. С моря постоянно наносит туман, и от обилия влаги буйно разрастается мох. Он свешивается с веток зелеными прядями до самой земли.

Кроме того, в горных лесах живет, как птица пересмешник, веселое эхо. Оно только и ждет, чтобы подхватить любой звук и пытнуть его через скалы.

Однажды Григ встретил в лесу маленькую девочку с двумя косичками — дочь лесника. Она собирала в корзину еловые шишки.

Стояла осень. Если бы можно было собрать все золото и медаль, какие есть на земле, и выковать из них тысячи тоненьких листвьев, то они составили бы ничтожную часть того осеннего наряда, что лежал на горах. К тому же кованые листья показались бы грубыми в сравнении с настоящими, особенно с листьями осины. Всем известно, что осиновые листья дрожат даже от птичьего свиста.

— Как тебя зовут, девочка? — спросил Григ.

— Дагни Педерсен, — вполголоса ответила девочка.

Она ответила вполголоса не от испуга, а от смущения. Испугаться она не могла, потому что глаза у Грига смеялись.

— Вот беда! — сказал Григ. — Мне нечего тебе подарить. Я не нашу в карманах ни кукол, ни лент, ни бархатных зайцев.

— У меня есть старая мамина кукла, — ответила девочка. — Когда-то она закрывала глаза. Вот так!

Девочка медленно закрыла глаза. Когда она вновь их открыла, то Григ заметил, что зрачки у нее зеленоватые и в них поблескивают огоньками листва.

— А теперь она спит с открытыми глазами, — печально добавила Дагни. — У старых людей плохой сон. Дедушка тоже всю ночь кряхтит.

— Слушай, Дагни, — сказал Григ, — я придумал. Я подарию тебе одну интересную вещь. Но только не сейчас, а лет через десять.

Дагни даже всплеснула руками.

— Ой, как долго!

- Понимаешь, мне нужно ее еще сделать.
- А что это такое?
- Узнаешь потом.
- Разве за всю свою жизнь, — строго спросила Дагни, — вы можете сделать всего пять или шесть игрушек?

Григ смущался.

— Да нет, это не так, — неуверенно возразил он. — Я делаю ее, может быть, за несколько дней. Но такие вещи не дарят маленьким детям. Я делаю подарки для взрослых.

— Я не разобью, — умоляющее сказала Дагни и потянула Грига за рукав. — И не сломаю. Вот увидите! У дедушки есть игрушечная лодка из стекла. Я стираю с нее пыль и ни разу не отколола даже самого маленького кусочка.

«Она совсем меня запутала, эта Дагни», — подумал с досадой Григ и сказал то, что всегда говорят взрослые, когда попадают в неловкое положение перед детьми:

— Ты еще маленькая и много не понимаешь. Учись терпению. А теперь давай корзину. Ты ее едва тащишь. Я привожу тебя, и мы поговорим о чем-нибудь другом.

Дагни вздохнула и протянула Григу корзину. Она действительно была тяжелая. В еловых шишках много смолы, и потому они весят гораздо больше сосновых.

Когда среди деревьев показался дом лесника, Григ сказал:

— Ну, теперь добежишь сама, Дагни Педерсен. В Норвегии много девочек с таким именем и фамилией, как у тебя. Как зовут твоего отца?

— Хагеруп, — ответила Дагни и, наморщив лоб, спросила:

— Разве вы не зайдете к нам? У нас есть выпитая скатерть, рыжий кот и стеклянная лодка. Дедушка позволит вам взять ее в руки.

— Спасибо. Сейчас мне некогда. Прощай Дагни!

Григ пригладил волосы девочки и пошел в сторону моря. Дагни, наспутившись, смотрела ему вслед. Корзину она держала боком, из нее вываливались шишки.

«Я напишу музыку, — решил Григ. — На заглавном листе я прикажу напечатать: “Дагни Педерсен — дочери лесника Хагерупа Педерсена, когда ей исполнится восемнадцать лет”».

* * *

В Бергене все было по-старому.

Все, что могло приглушить звуки, — ковры, портьеры и мягкую мебель, — Григ давно убрал из дома. Остался только старый диван. На нем могло разместиться до десятка гостей, и Григ не решался его выбросить.

Друзья говорили, что дом композитора похож на жилище дровосека. Его украшал только рояль. Если человек был наделен воображением, то он мог услышать среди этих белых стен волшебные вещи — от рокота северного океана, что катил волны из мглы и ветра, что высвистывал над ними свою дикую сагу, до песни девочки, баюкающей тряпичную куклу.

Рояль мог петь обо всем — о порыве человеческого духа к великому и о любви. Белые и черные клавиши, убегая из-под крепких пальцев Грига, тосковали, смеялись, гремели бурей и гневом и вдруг разом смолкали.

Тогда в тишине еще долго звучала только одна маленькая струна, будто это плакала Золушка, обиженная сестрами.

Григ, откинувшись, слушал, пока этот последний звук не затихал на кухне, где с давних пор поселился сверчок.

Становилось слышно, как, отсчитывая секунды с точностью метронома, капает из крана вода. Капли твердили, что время не ждет и надо бы поторопиться, чтобы сделать все, что задумано.

Григ писал музыку для Дагни Педерсен больше месяца.

Началась зима. Туман закутал город по горло. Заржавленные пароходы приходили из разных стран и дремали у деревянных пристаней, тихонько посыпывая паром.

Вскоре пошел снег. Григ видел из своего окна, как он косо летел, цепляясь за верхушки деревьев.

Невозможно, конечно, передать музыку словами, как бы ни был богат наш язык.

Григ писал о глубочайшей прелести девичества и счастья.

Он писал и видел, как навстречу ему бежит, задыхаясь от радости, девушка с зелеными сияющими глазами. Она обнимает его за шею и прижимается горячей щекой к его седой небритой щеке. «Спасибо!» — говорит она, сама еще не зная, за что благодарит его.

«Ты как солнце, — говорит ей Григ. — Как нежный ветер и раннее утро. У тебя на сердце расцвел белый цветок и наполнил все твое существо благоуханием весны. Я видел жизнь. Что бы тебе ни говорили о ней, верь всегда, что она удивительна и прекрасна. Я старик, но я отдал молодежи жизнь, работу, талант. Отдал все без возврата. Поэтому я, может быть, даже счастливее тебя, Дагни.

Ты — белая ночь с ее загадочным светом. Ты — счастье. Ты — блеск зари. От твоего голоса вздрагивает сердце.

Да будет благословенно все, что окружает тебя, что прикасается к тебе и к чему прикасаешься ты, что радует тебя и заставляет задуматься».

Григ думал так и играл обо всем, что думал. Он подозревал, что его подслушивают. Он даже догадывался, кто этим занимается. Это были синицы на дереве, загулявшие матросы из порта, прачка из соседнего дома, сверчок, снег, слетавший с нависшего неба, и Золушка в запотопанном платье.

Каждый слушал по-своему.

Синицы волновались. Как они ни вертелись, их трескотня не могла заглушить рояля.

Загулявшие матросы рассаживались на ступеньках дома и слушали, всхлипывая. Прачка разгибалась спину, вытирала ладонью покрасневшие глаза и покачивала головой. Сверчок вылезал из трещины в кафельной печке и подглядывал в щельку за Григом.

Падавший снег останавливался и повисал в воздухе, чтобы послушать звон, лившийся ручьями из дома. А Золушка смотрела, улыбаясь, на пол. Около ее босых ног стояли хрустальные туфельки. Они вздрагивали, сталкиваясь друг с другом, в ответ на аккорды, долетавшие из комнаты Грига.

Этих слушателей Григ ценил больше, чем нарядных и вежливых посетителей концертов.

* * *

В восемнадцать лет Дагни окончила школу.

По этому случаю отец отправил ее в Христианию погостить к своей сестре Магде. Пускай девочка (отец считал ее еще девочкой, хотя Дагни уже была стройной девушкой, с тяжелыми русыми косами) посмотрит, как устроен свет, как живут люди, и немного повеселится.

Кто знает, что ждет Дагни в будущем? Может быть, честный и любящий, но сккуповатый и скучный муж? Или работа продавщицы в деревенской лавке?

Или служба в одной из многочисленных пароходных контор в Бергене?

Магда работала театральной портнихой. Муж ее Нильс служил в том же театре парикмахером.

Жили они в комнатушке под крышей театра. Оттуда был виден пестрый от морских флагов залив и памятник Ибсену.
<...>

* * *

Дагни часто ходила в театр. Это было увлекательное занятие. Но после спектаклей Дагни долго не засыпала и даже плакала иногда у себя в постели.

Напуганная этим тетушка Магда успокаивала Дагни. Она говорила, что нельзя слепо верить тому, что происходит на сцене. Но дядюшка Нильс обозвал Магду за это «насадкой» и сказал, что, наоборот, в театре надо верить всему. Иначе людям не нужны были никакие театры. И Дагни верила.

Но все же тетушка Магда настояла на том, чтобы пойти для разнообразия в концерт. <...>

Был теплый июнь. Стояли белые ночи. Концерты проходили в городском парке под открытым небом.

Дагни пошла на концерт вместе с Магдой и Нильсом. Она хотела надеть свое единственное белое платье. Но Нильс сказал, что красивая девушка должна быть одета так, чтобы выделяться из окружающей обстановки. В общем, длинная его речь по этому поводу сводилась к тому, что в белые ночи надо быть обязательно в черном и, наоборот, в темные сверкать белизной платья.

Переспорить Нильса было невозможно, и Дагни надела черное платье из шелковистого мягкого бархата. Платье это Магда принесла из костюмерной.

Когда Дагни надела это платье, Магда согласилась, что Нильс, пожалуй, прав — ничто так не оттеняло строгую бледность лица Дагни и ее длинные, с отблеском старого золота косы, как этот таинственный бархат.

— Посмотри, Магда, — сказал вполголоса дядюшка Нильс, — Дагни так хороша, будто идет на первое свидание.

— Вот именно! — ответила Магда. — Что-то я не видела около себя безумного красавца, когда ты пришел на первое свидание со мной. Ты у меня просто болтун.

И Магда поцеловала дядюшку Нильса в голову.

Концерт начался после обычного вечернего выстрела из старой пушки в порту. Выстрел означал заход солнца.

Несмотря на вечер, ни дирижер, ни оркестранты не включили лампочек над пультами. Вечер был настолько светлый, что фонари, горевшие в листве лип, были зажжены, очевидно, только для того, чтобы придать нарядность концерту.

Дагни впервые слушала симфоническую музыку. Она произвела на нее странное действие. Все переливы и громы оркестра вызывали у Дагни множество картин, похожих на сны.

Потом она вздрогнула и подняла глаза. Ей почудилось, что худой мужчина во фраке, объявлявший программу концерта, назвал ее имя.

— Это ты меня звал, Нильс? — спросила Дагни дядюшку Нильса, взглянула на него и сразу же нахмурилась.

Дядюшка Нильс смотрел на Дагни не то с ужасом, не то с восхищением. И так же смотрела на нее, прижав ко рту платок, тетушка Магда.

— Что случилось? — спросила Дагни.

Магда схватила ее за руку и прошептала:

— Слушай!

Тогда Дагни услышала, как человек во фраке сказал:

— Слушатели из последних рядов просят меня повторить. Итак, сейчас будет исполнена знаменитая музыкальная пьеса Эдварда Грига, посвященная дочери лесника Хагерупа Педерсена Дагни Педерсен по случаю того, что ей исполнилось восемнадцать лет.

Дагни вздохнула так глубоко, что у нее заболела грудь. Она хотела сдержать этим вздохом подступавшие к горлу слезы, но это не помогло. Дагни нагнулась и закрыла лицо ладонями.

Сначала она ничего не слышала. Внутри у нее шумела буря. Потом она, наконец, услышала, как поет ранним утром пастуший рожок и в ответ ему сотнями голосов, чуть вздрогнув, откликается струнный оркестр.

Мелодия росла, подымалась, бушевала, как ветер, неслась по вершинам деревьев, срывала листья, качала траву, била в лицо прохладными брызгами. Дагни почувствовала порыв воздуха, исходивший от музыки, и заставила себя успокоиться.

Да! Это был ее лес, ее родина! Ее горы, песни рожков, шум ее моря.

Стеклянные корабли пенили воду. Ветер трубил в их снастях. Этот звук незаметно переходил в перезвон лесных колокольчиков, в свист птиц, кувыркавшихся в воздухе, в ауканье детей, в песню о девушки — в ее окно любимый бросил на рассвете горсть песку. Дагни слышала эту песню у себя в горах.

Так, значит, это был он! Тот седой человек, что помог ей донести до дома корзину с еловыми шишками. Это был Эдвард Григ, волшебник и великий музыкант! И она его укоряла, что он не умеет быстро работать!

Так вот тот подарок, что он обещал сделать ей через десять лет!

Дагни плакала, не скрываясь, слезами благодарности. К тому времени музыка заполнила все пространство между землей и облаками, повисшими над городом. От мелодических волн на облаках появилась легкая рябь. Сквозь нее светили звезды.

Музыка уже не пела. Она звала. Звала за собой в ту страну, где никакие горести не могли охладить любви, где никто

не отнимет друг у друга счастья, где солнце горит, как корона в волосах сказочной доброй волшебницы.

В наплыве звуков вдруг возник знакомый голос. «Ты — счастье, — говорил он. — Ты — блеск зари!»

Музыка стихла. Сначала медленно, потом все разрастаясь, загремели аплодисменты.

Дагни встала и быстро пошла к выходу из парка. Все оглядывались на нее. Может быть, некоторым из слушателей пришла в голову мысль, что эта девушка и была той Дагни Педерсен, которой Григ посвятил свою бессмертную вещь.

«Он умер! — думала Дагни. — Зачем?» Если бы можно было увидеть его! Если бы он появился здесь! С каким стремительно бьющимся сердцем она побежала бы к нему навстречу, обняла бы за шею, прижалась мокрой от слез щекой к его щеке и сказала бы только одно слово: «Спасибо!» — «За что?» — спросил бы он. «Я не знаю... — ответила бы Дагни. — За то, что вы не забыли меня. За вашу щедрость. За то, что вы открыли передо мной то прекрасное, чем должен жить человек».

Дагни шла по пустынным улицам. Она не замечала, что следом за ней, стараясь не попадаться ей на глаза, шел Нильс, посланный Магдой. Он покачивался, как пьяный, и что-то бормотал о чуде, случившемся в их маленькой жизни.

Сумрак ночи еще лежал над городом. Но в окнах слабой позолотой уже занимался северный рассвет.

Дагни вышла к морю. Оно лежало в глубоком сне, без единого всплеска.

Дагни сжала руки и застонала от неясного еще ей самой, но охватившего все ее существо чувства красоты этого мира.

— Слушай, жизнь, — тихо сказала Дагни, — я люблю тебя.

И она засмеялась, глядя широко открытыми глазами на огни пароходов. Они медленно качались в прозрачной серой воде.

Нильс, стоявший поодаль, услышал ее смех и пошел домой. Теперь он был спокоен за Дагни. Теперь он знал, что ее жизнь не пройдет даром.

1954



Обдумаем прочитанное

1. Как Паустовский показывает власть искусства над временем? Почему Григ не сомневался в том, что его музыкальная пьеса через десять лет после ее создания будет услышана Дагни?

2. Как показывает писатель власть искусства над пространством? Какие картины воссоздавало воображение композитора в его пустом доме, похожем на жилище дровосека? Что он хотел внушить своей музыкой человеку, вступающему в жизнь?

3. Охарактеризуйте чувства и представления Дагни, возникшие под влиянием музыки Грига.

◆ 4. Удалось ли Паустовскому передать музыку словами (обратите внимание на повторяющиеся фразы, на звуки, которые чудились Дагни, на ритм прозы)?

◆ 5. Какой предстает перед нами личность Грига из рассказа Паустовского?

ИСААК ЛЕВИТАН

(В сокращении)

<...> Годы учения в училище живописи и ваяния окончились. Левитан написал последнюю дипломную работу — облачный день, поле, конны сжатого хлеба. Саврасов мельком взглянул на картину и написал мелом на изнанке: «Большая серебряная медаль». <...>

Неприязнь к Саврасову преподаватели перенесли на его любимого ученика — Левитана. <...> Картина была признана недостойной медали. Левитан не получил звания художника, ему дали диплом учителя чистописания.

С этим жалким дипломом вышел в жизнь один из тончайших художников своего времени, будущий друг Чехова, первый и еще робкий певец русской природы. <...>

Левитан сдружился с художником Николаем Чеховым, подружился с чеховской семьей и прожил три лета рядом с нею. В то время Чеховы проводили каждое лето в селе Бабкине около Нового Иерусалима.

Семья Чеховых была талантливой, шумной и насмешливой. <...>

Особенно попадало Левитану за его красивое арабское лицо.

В своих письмах Чехов часто упоминал о красоте Левитана. «Я приеду к вам, красивый, как Левитан», — писал он. <...> Но имя Левитана стало выразителем не только мужской красоты, но и особой прелести русского пейзажа. Чехов придумал слово «левитанистый» и употреблял его очень метко. «Природа здесь гораздо левитанистее, чем у вас», — писал он в одном из писем. <...>

Вначале это казалось шуткой, но со временем стало ясно, что в этом веселом слове заключен очень точный смысл — оно

выражало собою то особое обаяние пейзажа средней России, которое из всех тогдашних художников умел передавать на полотне один Левитан. <...>

Несмотря на жизнь, полную летней прелести, Левитан много работал. Стены его сарай — бывшего курятника — были сверху донизу завешаны этюдами. В них на первый взгляд не было ничего нового — те же знакомые всем извилистые дороги, что теряются за косогорами, перелески, дали, светлый месяц над окопицами деревень, тропки, протоптаные лаптями среди полей, облака и ленивые реки.

Знакомый мир возник на холстах, но было в нем что-то свое, не передаваемое скучными человеческими словами. Картины Левитана вызывали такую же боль, как воспоминания о страшно далеком, но всегда заманчивом детстве.

Левитан был художником печального пейзажа. Пейзаж печален всегда, когда печален человек. <...>

В 1886 году Левитан впервые уехал из Москвы на юг, в Крым. <...>

Самое ценное, что Левитан узнал на юге, — это чистые краски. Время, проведенное в Крыму, представлялось ему непрерывным утром, когда воздух, отстоявшийся за ночь, как вода в гигантских водоемах горных долин, так чист, что издалека видна роса, стекающая с листьев, и за десятки миль белеет пена волн, идущих к каменистым берегам.

Большие просторы воздуха лежали над южной землей, сообщая краскам резкость и выпуклость.

На юге Левитан ощущил с полной ясностью, что только солнце властвует над красками. Величайшая живописная сила заключена в солнечном свете, и вся серость русской природы хороша лишь потому, что является тем же солнечным светом, но приглушенным, прошедшим через слои влажного воздуха и тонкую пелену облаков.

Солнце и черный свет несовместимы. Черный цвет — это не краска, это труп краски. Левитан сознавал это и после поездки в Крым решил изгнать со своих холстов темные тона. Правда, это не всегда ему удавалось.

Так началась длившаяся много лет борьба за свет. <...>

В Москве солнца не было. Левитан жил в меблированных комнатах «Англия» на Тверской. Город за ночь так густо заволакивало холодным туманом, что за короткий зимний день он не успевал поредеть. В номере горела керосиновая лампа. Желтый свет смешивался с темнотой промозглого дня и покрывал грязными пятнами лица людей и начатые холсты.

Снова, но уже ненадолго, вернулась нужда. Хозяйке за комнату приходилось платить не деньгами, а этюдами.

Тяжелый стыд охватывал Левитана, когда хозяйка надевала пленсне и рассматривала «картинки», чтобы выбрать самую ходкую. Поразительнее всего было то, что ворчание хозяйки совпадало со статьями газетных критиков.

— Мосье Левитан, — говорила хозяйка, — почему вы не нарисуете на этом лугу породистую корову, а здесь под липой не посадите парочку влюбленных? Это было бы приятно для глаза.

Критики писали примерно то же. Они требовали, чтобы Левитан оживлял пейзаж стадами гусей, лошадьми, фигурами пастухов и женщин.

Критики требовали гусей, Левитан же думал о великолепном солнце, которое рано или поздно должно было затопить Россию на его полотнах и придать каждой березке весомость и блеск драгоценного металла.

После Крыма в жизнь Левитана надолго и крепко вошла Волга.

Первая поездка на Волгу была неудачна. Морошили дожди, волжская вода помутнела. Ветер гнал по ней короткие скучные волны. От надоедливого дождя слезились окна избы в деревне на берегу Волги, где поселился Левитан, туманились дали, все вокруг съела серая краска.

Левитан страдал от холода, от скользкой глины волжских берегов, от невозможности писать на воздухе. <...>

У Левитана не было психической выносливости. Он приходил в отчаяние от несоответствия между тем, что он ожидал, и тем, что он видел в действительности. Он хотел солнца, — солнце не показывалось; Левитан слеп от бешенства и первое время даже не замечал прекрасных оттенков серого и сизого цвета, свойственных ненастью.

Но в конце концов художник победил неврастеника. Левитан увидел прелесть дождей и создал свои знаменитые «дождливые работы»: «После дождя» и «Над вечным покоем».

Картину «После дождя» Левитан написал за четыре часа. Тучи и оловянный цвет волжской воды создали мягкое освещение. Оно могло исчезнуть каждую минуту. Левитан торопился.

Картины Левитана требуют медленного рассматривания. Они не ошеломляют глаз. Они скромны и точны, подобно чеховским рассказам, но чем дольше вглядываешься в них, тем все милее становится тишина знакомых рек и проселков.

В картине «После дождя» заключена вся прелесть дождливых сумерек в приволжском городке. Блестят лужи. Облака уходят за Волгу, как низкий дым. Пар из пароходных труб ложится на воду. Баржи у берега почернели от сырости.

В такие летние сумерки хорошо войти в сухие сени, в низкие комнаты с только что вымытыми полами, где уже горят лампы и за открытыми окнами шумит от капель и дико пахнет заброшенный сад. Хорошо слушать игру на старом рояле. Его ослабевшие струны звенят, как гитара. Темный фикус стоит в кадке рядом с роялем. Гимналистка сидит в кресле, поджав ноги, и читает Тургенева. Старый кот бродит по комнатам, и ухо у него нервно вздрагивает, — он слушает ли в кухне ножи.

С улицы пахнет рогожами. Завтра — ярмарка, и на Соборную площадь съезжаются телеги. Пароход уходит вниз по реке, догоняет дождовую тучу, закрывающую полнеба. Гимналистка глядит вслед пароходу, и глаза ее делаются туманными, большими. Пароход идет к низовым городам, где театры, книги, заманчивые встречи.

Вокруг городка день и ночь мокнут растрепанные ржавые поля.

В картине «Над вечным покоем» поэзия ненастного дня выражена с еще большей силой. Картина была написана на берегу озера Удомли в Тверской губернии.

С косогора, где темные березы гнутся под порывистым ветром, стоит среди этих берез сгнившая бревенчатая церковь, открывается даль глухой реки, потемневшие от ненастья луга, громадное облачное небо. Тяжелые тучи, напитанные холодной влагой, висят над землей. Косые холстины дождя закрывают просторы.

Никто из художников до Левитана не передавал с такой печальной силой неизмеримые дали русского ненастя. Оно так спокойно и торжественно, что ощущается как величие.

Вторая поездка на Волгу была удачнее первой. <...>

В эту вторую поездку на Волгу Левитан написал много полотен. Об этих вещах Чехов сказал ему: «На твоих картинах уже есть улыбка».

Свет и блеск впервые появились у Левитана в его «волжских» работах — в «Золотом Плесе», «Свежем ветре», «Вечернем звоне».

Почти у каждого из нас остались в памяти еще с детства лесные поляны, засыпанные листвой, пышные и печальные уголки родины, что сияют под нежарким солнцем в синеве, в тишине безветренных вод, в криках кочующих птиц. <...>

Чем ближе к старости, тем чаще мысль Левитана останавливалась на осени.

Правда, Левитан написал несколько превосходных весенних вещей, но это почти всегда была весна, похожая на осень.

В «Большой воде» затопленная разливом роща обнажена, как поздней осенью, и даже не покрылась зеленоватым дымом первой листвы. В «Ранней весне» черная глубокая река мертвое стоит среди оврагов, еще покрытых рыхлым снегом, и только в картине «Март» передана настоящая весенняя яркость неба над тающими сугробами, желтый солнечный свет и стеклянный блеск талой воды, каплющей с крыльца дощатого дома.

Самые мягкие и трогательные стихи, книги и картины написаны русскими поэтами, писателями и художниками об осени.

Левитан, так же как Пушкин и Тютчев и многие другие, ждал осени, как самого дорогого и мимолетного времени года. <...>

Осень на картинах Левитана очень разнообразна. Невозможно перечислить все осенние дни, нанесенные им на полотно. Левитан оставил около ста «осенних» картин, не считая этюдов.

На них были изображены знакомые с детства вещи: стога сена, почерневшие от сырости; маленькие реки, кружящие в медленных водоворотах палую листву; одинокие золотые березы, еще не обитые ветром; небо, похожее на тонкий лед; косматые дожди над лесными порубками. Но во всех этих пейзажах, что бы они ни изображали, лучше всего передана печаль прощальных дней, сыплющихся листьев, загнивающих трав, тихого гудения пчел перед холодами и предзимнего солнца, едва заметно прогревающего землю.

<...> Зимой 1899 года врачи послали Левитана в Ялту. В то время в Ялте жил Чехов. <...> Чехов тосковал по Москве, по северу.

Больной Левитан попросил у Чехова кусок картона и за полчаса набросал на нем масляными красками вечернее поле со стогами сена. Этот этюд Чехов вставил в камин около письменного стола и часто смотрел на него во время работы. <...>

<...> Ялта не помогла. Левитан вернулся в Москву. Он почти не выходил из своего дома в Трехсвятительском переулке.

Двадцать второго июля 1900 года он умер. Были поздние сумерки, когда первая звезда появляется над Москвой на страшной высоте и листва деревьев погружена в желтую пыль и в отсветы гаснущего солнца.

Лето было очень поздним. В июле еще доцветала сирень. Ее тяжелые заросли заполняли весь палисадник около дома. Запах листвы, сирени и масляных красок стоял в мастерской, где умирал Левитан, запах, преследовавший всю жизнь художника,

передавшего на полотне печаль русской природы, — той природы, что так же, как и человек, казалось, ждала иных, радостных дней. <...>

1937



Обдумаем прочитанное

1. Перечитайте строки, в которых Паустовский передает содержание картин «После дождя» и «Над вечным покоем». Как он это делает, на что обращает внимание? Какие мысли и чувства пробуждают картины в писателе? А какие чувства они вызывают у вас? Почему Паустовскому близки картины Левитана?

◆ 2. Автор иронизирует над хозяйкой квартиры и критиками, которые «требовали, чтобы Левитан оживил пейзаж стадами гусей, лошадьми, фигурами пастуха и женщин». Попробуйте возразить этим людям, не понимавшим Левитана.

ЯЗЫКОМ ПОЭЗИИ...

Различные виды искусства постоянно взаимодействуют друг с другом. Композиторы пишут оперы по мотивам произведений прозаиков и поэтов. Художники создают картины на сюжеты литературных произведений. В свою очередь, писатели рассказывают о жизни живописцев и музыкантов, делают их героями своих произведений. Музыка врывается в поэзию, определяя ритм, интонацию стихотворной речи.

Прочтите несколько стихотворений поэтов XIX — начала XX века. В первом из них — проникновенные слова о музыке. Во втором — пример того, как музыка определяет звучание стиха. В третьем — слава живописцу, пропетая поэтом. Наконец, четвертое позволит сравнить пейзажи, исполненные карандашом и красками, с пейзажами, созданными словом.

Александр Александрович БЛОК¹ **(1880—1921)**

* * *

Я никогда не понимал
Искусства музыки священной,
А ныне слух мой различал
В ней чей-то голос сокровенный.

¹ Блок А. А. — известный русский поэт. Творчество его будете изучать в 9-м и 11-м классах.

Я полюбил в ней ту мечту
И те души моей волненья,
Что всю былую красоту
Волной приносят из забвенья.

Под звуки прошлое встает
И близким кажется и ясным:
То для меня мечта поет,
То веет таинством прекрасным.

17 января 1901

Константин Дмитриевич БАЛЬМОНТ¹
(1867—1942)

ГРУСТЬ

Внемля ветру, тополь гнется, с неба дождь осенний льется,
Надо мною раздается мерный стук часов стенных;
Мне никто не улыбнется, и тревожно сердце бьется,
И из уст невольно рвется монотонный грустный стих;
И как тихий дальний топот, за окном я слышу ропот,
Непонятный странный шепот — шепот капель дождевых.
Отчего так ветру скучно? Плачет, ноет он докучно, —
И в ответ ему стозвучно капли бьются и бегут;
Я внемлю, мне так же скучно, грусть со мною неразлучна,
Равномерно, однозвучно рифмы стройные текут;
В эту пору непогоды, под унылый плач природы
Дни, мгновенья, точно годы — годы медленно идут.

1894



Как К. Бальмонт достигает повышенной музикальности стихотворения? Каким размером оно написано? Определите тип рифмовки. Обратите внимание на так называемые внутренние рифмы (слова в середине стиха, rhymeующиеся со словами в конце строк или между собой).

¹ Бальмонт К. Д. — известный поэт конца XIX — начала XX века. Выходец из помещичьей семьи. Учился на юридическом факультете Московского университета. Как один из организаторов студенческих беспорядков из университета был исключен. Писать начал в 80-е годы. Участие в его судьбе принял В. Г. Короленко. Подолгу жил и путешествовал за границей. После революции 1917 года эмигрировал во Францию.

Константин Михайлович ФОФАНОВ¹
(1862—1911)

ХУДОЖНИК

Посвящается И. Е. Репину

Он мертвый холст волшебно оживлял
Послушной кистью перед нами...
Мы видели моря и кручи темных скал,
И стаи облаков, играющих с волнами.

Исполнен творчества, покорствуя мечтам,
Он всюду проникал своим духовным взором,
И снова открывал испуганным очам,
Что вечность навсегда для нас закрыла флёром².

Под кистью властною вставали из гробниц
Цари, томимые раскаяньем невольным,
Пророки бледные, склонившиеся ниц
Перед святынями в восторге богомольном.

Мы казни видели и видели пиры,
И кельи темные отшельников унылых,
В затишье шумных битв зажженные костры
И вдов заплаканных на родственных могилах.

Пред нами умирал царевич молодой,
Родительским мечом до времени сраженный,
И клялся и скорбел перед печальной донной
Жуан, волнуемый и страстью и тоской.

Мы видели в цепях смиренных христиан
И грубых палачей с кровавыми мечами.
Мы видели певца: над звучными волнами
Стоял он, звучными мечтами осиян³.

1888

¹ Фофанов К. М. — известный поэт конца XIX — начала XX века. Его ценили А. П. Чехов, Л. Н. Толстой, М. Горький. Родился и детство провел в купеческой семье, с которой впоследствии порвал. Жил в тяжелых условиях, иногда почти в нищете. Земной прозе жизни противопоставлял поэзию, полную грез и мечтаний.

² Флёр — здесь: покров таинственности.

³ Среди упоминаемых поэтом картин разных художников — картины И. Е. Репина «Иван Грозный и сын его Иван», И. К. Айвазовского «Прощай, свободная стихия...», на которой И. Е. Репиным изображен А. С. Пушкин.

* * *

Уснули и травы и волны,
Уснули и чудному внемлют,
И статуи дремлют безмолвно,
Как призраки дремлют.

И полночь крылом утомленным
Трепещет легко и пугливо
По липам, по кленам зеленым,
По глади залива.

Сквозь ветки луна молодая
Бросает снопы позолоты,
Ревнивым лучом проникая
В прохладные гроты.

И бродят в серебряном мраке
Толпою стыдливые грезы,
Роняя на сонные маки
Прозрачные слезы.

Заслушалась роза тюльпана,
Жасмин прислонился к лилее,
И эхо задумалось странно
В дущистой аллее.

1885



1. Как вы себе представляете пейзаж, который мог бы нарисовать художник по стихотворению «Уснули и травы и волны...»?

◆ 2. Какие строки стихотворения нельзя передать средствами живописи? Почему? Вспомните (перечитайте) такие пейзажные стихотворения, как «В небе тают облака...» и «Есть в осени первоначальной...» Ф. И. Тютчева, «Скрип шагов вдоль улиц белых...» А. А. Фета, «Пейзаж» А. Н. Майкова. Можно ли целиком перевести зарисовки природы в этих стихотворениях на язык живописи (то есть нарисовать по ним картины)? Что следует сказать об отличительных особенностях пейзажа, созданного поэтическим словом?

3. Назовите средства, которыми поэт достиг музыкальности стихотворения. Обратите внимание на повторение звука *л*, придающего мелодии стиха мягкость, плавность.



Приглашаем в библиотеку

О Моцарте, о его волшебной музыке Паустовский пишет в рассказе «Старый повар». Знаменитому русскому художнику Оресту Кипренскому посвящен его одноименный биографический очерк. Постарайтесь прочесть эти произведения — они обогатят ваши знания об искусстве и доставят истинное удовольствие и занимательностью, и прекрасным, выразительным языком. Интересен также и рассказ «Беглые встречи», где Паустовский говорит «о вечном золотом отблеске, что бросает на нас искусство».

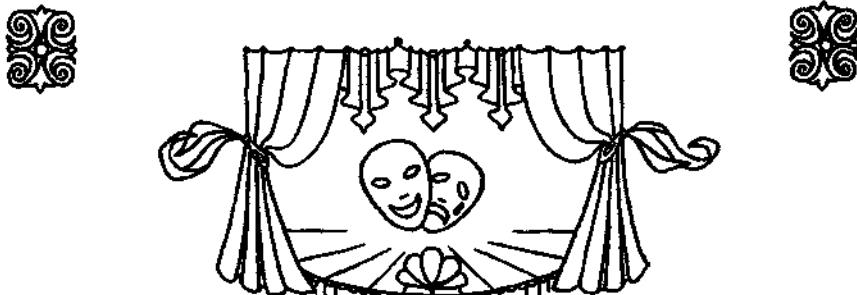
ЗАВЕРШАЯ РАЗДЕЛ ХРЕСТОМАТИИ...

К. Г. Паустовский писал, что «знание соседних областей искусства — поэзии, живописи, скульптуры и музыки — необыкновенно обогащает внутренний мир прозаика и придает высокую выразительность прозе. Она наполняется светом и красками живописи, свежестью слов, свойственной поэзии, ритмом и мелодичностью музыки».

Сказанное Паустовским о прозаике, относится и к поэту, и к живописцу, и к музыканту, и к скульптору, и к артисту. Чем лучше они знают «соседние» области искусства, тем шире их кругозор, тем легче и полнее развивается их талант. Больше того — сказанное Паустовским может быть адресовано и читателю. Почему?



ПЕРЕКЛИЧКА ЭПОХ



Иностранная литература, давая мне обильный материал для сравнения, удивляла меня своим замечательным мастерством. Она рисовала людей так живо, пластично, что они казались мне физически ощущимы.

М. Горький

Коль вы прославитесь в Комедии хотите,
Себе в наставники природу изберите.
Поэт, что глубоко познал людей сердца,
И в тайны их проник до самого конца,
Что понял чудака, и мота, и ленивца,
И фата¹ глупого, и старого ревнивца,
Сумеет их для нас на сцене сотворить,
Заставив действовать, лукавить, говорить.

Буало². Пoэтическое искуство

НА БЛИЗКИЕ ТЕМЫ

Каждая национальная литература является частью мировой, каждая сотнями нитей связана с литературами других стран и народов. Нередко писатели разных времен и разных наций обращаются к сходным сюжетам, темам, рисуют похожих героев, решают сходные проблемы. Это не от скучности воображения: типичные процессы, происходящие в общественной жизни, обусловливают своеобразную перекличку писателей.

¹ Фат — щеголь, пустой человек.

² Буало Николá (1636—1711) — французский поэт, критик, теоретик литературы.

Возьмем для примера драматические произведения. Они предназначены для постановки на сцене. Особенность их в том, что любые события, пусть самые далекие по времени от нас, они рисуют так, словно они происходят сегодня, сейчас. Открывается занавес — и, захваченные искусством актеров, мы с волнением следим за спорами, столкновениями, переживаниями, победами и поражениями действующих лиц, вслушиваемся в их речи, решаем возникающие перед ними вопросы. За два-три часа театрального действия мы проживаем целую человеческую жизнь или хотя бы какие-то важные ее этапы. Иногда драматурги разрабатывают один и тот же сюжет, иногда, если это комедия, — казнят одни и те же (или сходные) пороки. А благодаря той особенности драматических произведений, о которой сказано выше (действие происходит как бы сегодня, сейчас), повторяющиеся или сходные мотивы, сюжетные ситуации, близкие читателям и зрителям более позднего времени, воспринимаются ими (читателями и театральной публикой) с повышенным интересом.

Обратимся к творчеству выдающегося французского комедиографа Мольера, оказавшего большое влияние на европейскую драматургию, в том числе русскую. Действие его комедии «Мещанин во дворянстве» происходит в XVII веке. В конце XVIII века в России Д. И. Фонвизин в пьесе «Бригадир», а позднее, в начале XIX века, И. А. Крылов в комедии «Урок дочкам» подхватили и по-своему продолжили тему, начатую Мольером. Какова эта тема, вы увидите при чтении отрывков из комедий. И, может быть, у вас возникнут какие-то параллели с тем, что вы наблюдаете вокруг и в наши дни.



Жан
Батист
МОЛЬЕР
(1622—1673)

Комедии Мольера — сатиры в драматической форме, сатиры, в которых резкое остроумное перо его предавало на публичный позор невежество, глупость и подлость.

В. Г. Белинский

Король французской комедии, Мольер (Жан Батист Поклен), родился в Париже 13 января 1622 года. Его отец был придворным обойщиком и торговцем мебелью. С течением времени он добился еще одного звания — камердинера¹ его величества короля Франции. И это звание закрепил по наследству за своим старшим сыном, Жаном Батистом. Однако ни обойщиком, ни торговцем мебелью тот не стал. Не привлекла его и адвокатская карьера. Свою жизнь он решил посвятить театру. Первые неудачи в Париже не сломили его упорства, не убавили любви к сцене. Он решил попытать счастья в провинции.

Обратимся к некоторым страницам книги писателя Михаила Афанасьевича Булгакова «Жизнь господина де Мольера», чтобы узнать о странствиях Мольера и его актерской гвардии.

«Первое время кочевникам пришлось чрезвычайно трудно. Бывало, что приходилось спать на сеновалах, а играть в деревнях — в сараях, повесив вместо занавеса какие-то грязные тряпки.

Иногда, впрочем, попадали в богатые замки, и, если вельможный владелец от скучи изъявлял желание посмотреть комедиантов, грязные и пахнувшие дорожным потом актеры Мольера играли в приемных.

¹ Камердинер — домашний слуга; здесь: придворное звание.



Придя в какой-нибудь городок, искали прежде всего игорный дом или же сарай для игры в мяч, весьма любимой французами. Сговорившись с владельцем, выгораживали сцену, надевали убогие костюмы и играли.

Ночевали на постоянных дворах, иногда по двое на одной постели.

Так шли и шли, делая петли по Франции. <...>

Тут выяснилось одно очень важное обстоятельство. Оказалось, господин Мольер чувствует склонность не только

к игре в пьесах, но к сочинению пьес самолично. Несмотря на каторжную дневную работу, Мольер начал по ночам сочинять вещи в драматургическом роде. Несколько странно то, что человек, посвятивший себя изучению трагедии¹ и числящийся на трагическом амплуа², в своих сочинениях к трагедии <...> вовсе не возвращался, а стал писать веселые, бесшабашные одноактные фарсы³, в которых подражал итальянцам — большим мастерам этого рода искусства. Пьесы эти очень понравились компаниям Мольера, и их ввели в репертуар⁴. Наибольшим успехом в этих фарсах стал пользоваться у публики сам Мольер, игравший смешные роли. <...>

В трагических ролях он имел в лучшем случае средний успех, в худшем — проваливался начисто. <...> Но лишь только после трагедии давали фарс <...>, дело менялось в ту же минуту: публика начинала хохотать, публика аплодировала, происходили овации, на следующие спектакли горожане несли деньги.

Разгримировываясь после спектакля или снимая маску, Мольер, заикаясь, говорил в уборной⁵:

¹ Трагéдия — драматическое произведение, изображающее острые, непримиримые столкновения, завершающиеся гибелью героев.

² Амплуá — тип ролей, исполняемых актером.

³ Фарс — театральная пьеса легкого, игристого содержания.

⁴ Репертуár — пьесы, идущие в театре.

⁵ Убóрная — комната, в которой одеваются актеры.

— Что это за народец, будь он трижды проклят!.. Я не понимаю... Разве пьесы Корнеля¹ плохие?..

— Да нет, — отвечали недоумевающему директору, — пьесы Корнеля хорошие.

— Пусть бы одно простонародье, я понимаю. Ему нужен фарс. Но дворяне! Ведь среди них есть образованные люди! Я не понимаю, как можно смеяться над этой галиматьей! Я лично не улыбнулся бы ни разу!

— Э, господин Мольер! — говорили ему товарищи. — Человек жаждет смеха, и придворного так же легко рассмешить, как и простолюдина!

— Ах, им нужен фарс? — вскричал бывший Поклен. — Хорошо! Будем кормить их фарсами!

И затем следовала очередная история: фиаско² — в трагедии, в фарсе — успех. Но чем же объяснить это? Почему трагик в трагическом проваливался, а в комическом имел успех? <...> Он один среди всех окружающих не понимал того, что он <...> по природе был гениальным комическим актером, а трагиком быть не мог. <...> Дело было в полном отсутствии трагедийных данных.

Но пойдем далее за мольеровским караваном. По югу Франции побежал, из селения в селение, из города в город, слух, что появился некий мальчишка Мольер, который замечательно со своей труппой играет смешные пьесы. В этом слухе неверно было только то, что Мольер — мальчишка. В то время, как о нем заговорили, ему исполнилось тридцать лет. И тридцатилетний, полный горького опыта, достаточно закаленный актер и драматург, в силу которого в труппе очень начинали верить, в конце 1652 года подходил к городу Лиону, везя в своей повозке, кроме нескольких фарсов, большую комедию под названием “Шалый, или Все не вовремя”.

Караван подходил к Лиону бодро. Актеры оперились достаточно. На них были уже хорошие кафтаны, повозки их распухли от театрального и личного их скарба. Актеры уже не дрожали при мысли о неизвестности, которая ждет их в Лионе. Сила мольеровских фарсов им была известна точно, а “Шалый” им чрезвычайно нравился. Они не испугались, когда громадный город в зимнем тумане развернулся перед ними».

А в 1658 году труппа Мольера появилась в Париже.

¹ Корнель Пьер — французский драматург, современник Мольера, автор трагедий.

² Фиаско — полная неудача, провал, неуспех.



Драматургическое искусство Мольера за годы странствий также окрепло, как и актерское. Сатирические стрелы комедий Мольера были направлены на общественные пороки — ложь, стяжательство, лицемерие, обман и плутовство. Зрители, заполнившие партер (тогда зрители в партере стояли), с восторгом ловили каждое слово в комедиях драматурга, а знать, размещавшаяся в ложах и в специальных креслах на сцене, с раздражением узнавала себя в комических героях. И отвечала драматургу открытой травлей, клеветой и доносами.

Король (Людовик XIV) был заинтересован в том, чтобы привлечь на свою сторону не только высшие слои общества, но и мещан, буржуазию, и поэтому поддерживал талантливых выходцев из средних слоев населения. Поддерживал он и Мольера. За покровительство короля Мольер должен был платить устройством праздников, созданием дворцовых балетов и комедий.

Пьесы Мольера неизменно имели успех как на этих праздниках, так и на подмостках сцены. Народность его комедий ярко выразилась не только в обличении пороков знати, но и в выборе героев. В их числе — слуги и служанки — деятельные, умные люди из народа, веселые и остроумные. Они противопоставляются праздным аристократам и самодовольным буржуа. Автор многочисленных комедий, прославленный писатель Франции не оставлял сцену. Он продолжал играть и умер поистине на боевом посту — во время спектакля.

Комедия «Мещанин во дворянстве» была переведена и поставлена в России в середине XVIII века. В «Драматическом словаре» 1786 года сказано: «Представлена первый раз на Российском театре в Санкт-Петербурге в 1756 году, генваря 25 дня и по сие время на российских театрах играна бывает, к удовольствию зрителей».

И в наши дни комедия Мольера пользуется не меньшим успехом, чем раньше.

По статье Г. Н. Байджиева «Жан Батист Мольер»



1. Знакомы ли вы с комедиями Мольера? Какие из них довелось читать или видеть в театре?

2. Подготовьте устный рассказ о Мольере, используя статью из хрестоматии, сообщение учителя, а также известные вам факты из жизни драматурга. Составьте план своего рассказа.

МЕЩАНИН ВО ДВОРЯНСТВЕ

(Избранные сцены)

Действующие лица

Господин Журден — мещанин¹.

Госпожа Журден — его жена.

Доримена — маркиза.

Дорант — граф, влюбленный в Доримену.

Николь — служанка в доме господина Журдена.

Учитель музыки.

Ученик учителя музыки.

Учитель танцев.

Учитель фехтования.

Учитель философии.

Портной.

Подмастерье портного.

Два лакея.

Действие происходит в Париже, в доме господина Журдена.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Увертюра² исполняется множеством инструментов; посреди сцены за столом ученик учителя музыки сочиняет мелодию для серенады³, заказанной господином Журденом.

¹ Меща́не — ремесленники, мелкие торговцы и домовладельцы. Объединялись по месту жительства в общины. В переносном смысле — люди с мелкими интересами, ограниченным кругозором.

² Увертюра — вступление к музыкальному произведению.

³ Серенада — песня под аккомпанемент лютни (старинного щипкового инструмента), мандолины или гитары, выражаящая чувства к возлюбленной.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Учитель музыки, учитель танцев, два певца, певица, два скрипача, четыре танцовщика.

Учитель музыки (*певцам и музыкантам*). Пожалуйте сюда, вот в эту залу, отдохните до его прихода.

Учитель танцев (*танцовщикам*). И вы тоже, — станьте с этой стороны.

Учитель музыки (*ученику*). Готово?

Ученик. Готово.

Учитель музыки. Посмотрим... Очень недурно.

Учитель танцев. Что-нибудь новенькое?

Учитель музыки. Да, я велел ученику, пока наш чудак проснется, сочинить музыку для серенады.

Учитель танцев. Можно посмотреть?

Учитель музыки. Вы это услышите вместе с диалогом, как только явится хозяин. Он скоро выйдет.

Учитель танцев. Теперь у нас с вами дела выше головы.

Учитель музыки. Еще бы! Мы нашли именно такого человека, какой нам нужен. Господин Журден с его помещательством на дворянстве и на светском обхождении — это для нас просто клад. Если бы все на него сделались похожи, то вашим танцам и моей музыке больше и желать было бы нечего.

Учитель танцев. Ну, не совсем. Мне бы хотелось, для его же блага, чтоб он лучше разбирался в тех вещах, о которых мы ему толкуем.

Учитель музыки. Разбирается-то он в них плохо, да зато хорошо платит, а наши искусства ни в чем сейчас так не нуждаются, как именно в этом.

Учитель танцев. Признаюсь, я слегка неравнодушен к славе. Аплодисменты доставляют мне удовольствие, расточать же свое искусство глупцам, выносить свои творения на варварский суд болвана — это, на мой взгляд, для всякого артиста несносная пытка. Что ни говорите, приятно трудиться для людей, способных чувствовать тонкости того или иного искусства, умеющих ценить красоты произведений и лестными знаками одобрения вознаграждать вас за труд. Да, самая приятная награда — видеть, что творение ваше признано, что вас чествуют за него рукоплесканиями. По-моему, это наилучшее воздаяние за все наши тяготы, — похвала просвещенного человека доставляет наслаждение неизъяснимое.

Учитель музыки. Я с этим согласен, я и сам люблю похвалы. В самом деле, нет ничего более лестного, чем руко-

плескания, но ведь на фимиам¹ не проживешь. Одних похвал человеку недостаточно, ему давай чего-нибудь посущественнее. Лучший способ хвалить — это вложить вам что-нибудь в руку. Откровенно говоря, познания нашего хозяина не велики, судит он обо всем вкривь и вкось и рукооплещет там, где не следует, однако же деньги выпрямляют кривизну его суждений, его здравый смысл находится в кошельке, его похвалы отчеканены в виде монет, так что от невежественного этого мещанина нам, как видите, куда больше пользы, чем от того просвещенного вельможи, который нас сюда ввел.

Учитель танцев. В ваших словах есть некоторая доля истины, но только, мне кажется, вы придаете деньгам слишком большое значение; между тем корысть есть нечто до такой степени низменное, что человеку порядочному не должно выказывать к ней особой склонности.

Учитель музыки. Однако у нашего чудака вы преспокойно берете деньги.

Учитель танцев. Конечно, беру, но деньги для меня не главное. Если бы к его богатству да еще хоть немного хорошего вкуса — вот чего бы я желал.

Учитель музыки. Я тоже, ведь мы оба по мере сил этого добиваемся. Но как бы то ни было, благодаря ему на нас стали обращать внимание в обществе, а что другие будут хвалить, то он оплатит.

Учитель танцев. А вот и он.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Г-н Журден в халате и ночном колпаке, учитель музыки, учитель танцев, ученик учителя музыки, певица, два певца, скрипачи, танцовщики, два лакея.

Г-н Журден. Ну, господа? Как там у вас? Покажете вы мне нынче вашу безделку?

Учитель танцев. Что? Какую безделку?

Г-н Журден. Ну, эту самую... Как это у вас называется? Не то пролог, не то диалог с песнями и пляской.

Учитель танцев. О! О!

Учитель музыки. Как видите, мы готовы.

¹ *Фимиам* — благовонное вещество, сжигаемое при богослужениях; здесь: чрезмерное восхваление кого-либо.

Г-н Журден. Я немного замешкался, но дело вот в чем: одеваюсь я теперь, как одевается знать, и мой портной прислал мне шелковые чулки, до того узкие, — право, я уж думал, что мне их так никогда и не натянуть.

Учитель музыки. Мы всецело к вашим услугам.

Г-н Журден. Я прошу вас обоих не уходить, пока мне не принесут мой новый костюм: я хочу, чтобы вы на меня поглядели.

Учитель танцев. Как вам будет угодно.

Г-н Журден. Вы увидите, что теперь я с ног до головы одет как должно.

Учитель музыки. Мы в этом никакого не сомневаемся.

Г-н Журден. Я сделал себе из индийской ткани халат.

Учитель танцев. Отличный халат.

Г-н Журден. Мой портной уверяет, что вся знать по утрам носит такие халаты.

Учитель музыки. Он вам удивительно идет.

Г-н Журден. Лакей! Эй, два моих лакея!

Первый лакей. Что прикажете, сударь?

Г-н Журден. Ничего не прикажу. Я только хотел проверить, насколько вы внимательны. (Учителю музыки и учителю танцев.) Как вам нравятся их ливреи?¹

Учитель танцев. Великолепные ливреи.

Г-н Журден (*распахивает халат; под ним у него узкие красного бархата штаны и зеленого бархата камзол*). А вот мой домашний костюмчик для утренних упражнений.

Учитель музыки. С большим вкусом!

Г-н Журден. Лакей!

Первый лакей. Что угодно, сударь?

Г-н Журден. Другой лакей!

Второй лакей. Что угодно, сударь?

Г-н Журден (*снимает халат*). Держите. (Учителю музыки и учителю танцев.) Ну, что, хорошо я в этом наряде?

Учитель танцев. Очень хороши. Лучше нельзя.

Г-н Журден. Теперь займемся с вами.

Учитель музыки. Прежде всего мне бы хотелось, чтобы вы прослушали музыку, которую вот он (*указывает на ученика*) написал для заказанной вами серенады. Это мой ученик, у него к таким вещам изумительные способности.

Г-н Журден. Очень может быть, но все-таки не следовало поручать это ученику. Еще неизвестно, годитесь ли вы сами для такого дела, а не то что ученик.

¹ Ливрэя — форменная одежда лакея.

Учитель музыки. Слово «ученик» не должно вас смущать, сударь. Подобного рода ученики смысят в музыке не хуже великих мастеров. В самом деле, чудеснее мотива не придумаешь. Вы только послушайте.

Г-н Журден (лакей). Дайте халат — так удобнее слушать... Впрочем, постойте, пожалуй, лучше без халата. Нет, подайте халат, так будет лучше.

Певица.

Ирида¹, я томлюсь, меня страданье губит,
Меня ваш строгий взгляд пронзил, как острый меч.
Когда вы мучите того, кто вас так любит,
Сколь вы страшны тому, кто гнев ваш смел навлечь!

Г-н Журден. По-моему, это довольно заунывная песня, от нее ко сну клонит. Я бы вас попросил сделать ее чуть-чуть веселее.

Учитель музыки. Мотив должен соответствовать словам, сударь.

Г-н Журден. Меня недавно обучили премилой песенке. Погодите... сейчас-сейчас... Как же это она начинается?

Учитель танцев. Право, не знаю.

Г-н Журден. Там еще про овечку говорится.

Учитель танцев. Про овечку?

Г-н Журден. Да, да. Ах, вот! (*Поет.*)

Жанетту я считал
И доброй и прекрасной,
Жанетту я считал овечкою, но ах!
Она коварна и опасна,
Как львица в девственных лесах!²

Правда, славная песенка?

Учитель музыки. Еще бы не славная!

Учитель танцев. И вы хорошо ее поете.

Г-н Журден. А ведь я музыке не учился.

Учитель музыки. Вам бы хорошо, сударь, поучиться не только танцам, но и музыке; эти два рода искусства связаны между собой неразрывно.

Учитель танцев. Они развивают в человеке чувство изящного.

¹ Ирида — крылатая вестница богов в греческой мифологии. Ее имя часто использовалось для обозначения светских красавиц.

² Журден поет куплет из подлинной народной песни, входившей во французские песенники XVII века.

Г-н Журден. А что, знатные господа тоже учатся музыке?

Учитель музыки. Конечно, сударь.

Г-н Журден. Ну, так и я стану учиться. Вот только не знаю, когда: ведь, кроме учителя фехтования, я еще нанял учителя философии, — он должен нынче утром начать со мной заниматься.

Учитель музыки. Философия — материя важная, но музыка, сударь, музыка...

Учитель танцев. Музыка и танцы... Музыка и танцы — это все, что нужно человеку.

Учитель музыки. Нет ничего более полезного для государства, чем музыка.

Учитель танцев. Нет ничего более необходимого человеку, чем танцы.

Учитель музыки. Без музыки государство не может существовать.

Учитель танцев. Без танцев человек ничего не умел бы делать.

Учитель музыки. Все распри, все войны на земле происходят единственно от незнания музыки.

Учитель танцев. Все людские невзгоды, все злоключения, коими полна история, оплошности государственных деятелей, ошибки великих полководцев — все это проистекает единственно от неумения танцевать.

Г-н Журден. Как так?

Учитель музыки. Война возникает из-за несогласия между людьми, не правда ли?

Г-н Журден. Верно.

Учитель музыки. А если бы все учились музыке, разве это не настроило бы людей на мирный лад и не способствовало бы воцарению на земле всеобщего мира?

Г-н Журден. И то правда.

Учитель танцев. Когда человек поступает не так, как должно, будь то просто отец семейства, или же государственный деятель, или же военачальник, про него обыкновенно говорят, что он сделал неверный шаг, не правда ли?

Г-н Журден. Да, так говорят.

Учитель танцев. А чем еще может быть вызван неверный шаг, как не неумением танцевать?

Г-н Журден. Да, с этим я тоже согласен. Вы оба правы.

Учитель танцев. Все это мы говорим для того, чтобы вы себе уяснили преимущества и пользу танцев и музыки.

Г-н Журден. Теперь я понимаю.

Учитель музыки. Угодно вам ознакомиться с нашими сочинениями?

Г-н Журден. Угодно.

Учитель музыки. Как я вам уже говорил, это давнишняя моя попытка выразить все страсти, какие только способна передать музыка.

Г-н Журден. Прекрасно.

Учитель музыки (певцам). Пожалуйте сюда. (*Г-ну Журдену.*) Вы должны вообразить, что они одеты пастушками.

Г-н Журден. И что это всегда пастушки?! Вечно одно и то же.

Учитель танцев. Когда говорят под музыку, то для большего правдоподобия приходится обращаться к пасторали¹. Пастухам испокон веку приписывали любовь к пению; с другой стороны, было бы весьма ненатурально, если бы принцы или мещане стали выражать свои чувства в пении.

Г-н Журден. Ладно, ладно. Посмотрим.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ

Певица и два певца.

<...> **Учитель танцев.** А теперь моя очередь: я вам предложу небольшой образчик самых изящных телодвижений и самых изящных поз, из каких только может состоять танец.

Г-н Журден. Опять пастухи?

Учитель танцев. Это уж как вам будет угодно. (*Танцовщикам.*) Начинайте.

Балет

Четыре танцовщика по указаниям учителя танцев делают различные движения и исполняют всевозможные па.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Г-н Журден, учитель музыки, учитель танцев.

Г-н Журден. Очень даже здорово: танцоры откалывают ловко.

¹ *Пастораль* — поэтическое или музыкальное произведение, изображающее в славяном духе любовь пастухов и пастушек на вечно зеленых лугах. Пастораль была модным жанром в театре XVI—XVII веков.

Учитель танцев. А когда танец идет под музыку, то впечатление еще сильнее. Мы сочинили для вас балет, вы увидите, сколь это очаровательно.

Г-н Журден. Он понадобится мне сегодня же: особа, в честь которой я все это устраиваю, должна пожаловать ко мне на обед.

Учитель танцев. Все готово.

Учитель музыки. Одного, сударь, недостает такой особе, как вы: со всем вашим великолепием, с вашей склонностью к изящным искусствам непременно нужно давать у себя концерты по средам или же по четвергам.

Г-н Журден. А у знатных господ бывают концерты?

Учитель музыки. Разумеется, сударь.

Г-н Журден. Тогда и я начну давать. И хорошо это получится?

Учитель музыки. Не сомневаюсь. Вам потребуется три голоса: сопрано, контратальто и бас, а для аккомпанемента альт¹, лютня и, для басовых партий, клавесин², а для ритурнёль³ две скрипки.

Г-н Журден. Хорошо бы еще морскую трубу⁴. Я ее очень люблю, она приятна для слуха.

Учитель музыки. Предоставьте все нам.

Г-н Журден. Смотрите, не забудьте прислать певцов, чтоб было кому петь во время обеда.

Учитель музыки. У вас ни в чем недостатка не будет.

Г-н Журден. Главное, чтоб хороши был балет.

Учитель музыки. Останетесь довольны, особенно некоторыми менуэтами⁵.

Г-н Журден. А, менуэт — это мой любимый танец! Поглядите, как я его танцую. Ну-ка, господин учитель!

Учитель танцев. Извольте, сударь, надеть шляпу.

Г-н Журден берет шляпу своего лакея и надевает ее поверх ночного колпака. **Учитель танцев** берет г-на Журдена за руку и, напевая менуэт, танцует вместе с ним.

Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла. Пожалуйста, в такт.

¹ Альт — струнный смычковый инструмент больше скрипки.

² Клавесин — старинный музыкальный клавишный инструмент.

³ Ритурнёль — повторяющаяся, как припев, короткая музыкальная фраза в аккомпанементе.

⁴ Морская труба — музыкальный инструмент с очень резким и сильным звуком.

⁵ Менуэт — старинный французский танец.

Ла-ла-ла, ла-ла. Колени не гнуть. Ла-ла-ла. Плечами не держать. Ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла, ла-ла. Не растопыривать рук. Ла-ла-ла, ла-ла. Голову выше. Носки держать врозь. Ла-ла-ла. Корпус прямей.

Г-н Журден. Ну как?

Учитель танцев. Лучше нельзя.

Г-н Журден. Естади, научите меня кланяться маркизе, — мне это скоро понадобится.

Учитель танцев. Кланяться маркизе?

Г-н Журден. Да. Ее зовут Дорименой.

Учитель танцев. Позвольте вашу руку.

Г-н Журден. Не нужно. Вы только покажите, а я запомню.

Учитель танцев. Если вы желаете, чтоб это был поклон весьма почтительный, то прежде отступите назад и поклонитесь один раз, затем подойдите к ней с тремя поклонами и в конце концов склонитесь к ее ногам.

Г-н Журден. А ну, покажите.

Учитель танцев показывает.

Понятно.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Г-н Журден, учитель музыки, учитель танцев, лакей.

Лакей. Сударь, учитель фехтования пришел.

Г-н Журден. Скажи, пусть войдет и начинает урок.
(Учителю музыки и учителю танцев.) Поглядите, как это у меня выходит.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Г-н Журден, учитель фехтования, учитель музыки, учитель танцев и лакей с двумя рапирами.

Учитель фехтования (берет у лакея две рапиры и одну из них подает г-ну Журдену). Прошу вас, сударь: поклон. Корпус прямо. Легкий упор на левое бедро. Не надо так расставлять ноги. Обе ступни на одной линии. Кисть руки на уровне бедра. Конец рапиры прямо против плеча. Не надо так вытягивать руку. Кисть левой руки на высоте глаза. Левое плечо назад. Голову прямо. Взгляд уверенный. Выпад. Корпус неподвижен. Париуйте

квартой¹, отходите с тем же парадом. Раз, два. В позицию. Уверенно начинайте снова. Шаг назад. Когда делаете выпад, нужно, чтобы рутира выносилась вперед, а тело, сколько можно, было защищено от удара. Раз, два. Прошу вас: парируйте терсом и отходите с тем же парадом. Выпад. Корпус неподвижен. Выпад. Становитесь в позицию. Раз, два. Начинайте сначала. Шаг назад. Защищайтесь, сударь, защищайтесь! (С криком: «Защищайтесь!» — несколько раз колят г-на Журдена.)

Г-н Журден. Ну как?

Учитель музыки. Вы делаете чудеса.

Учитель фехтования. Как я вам уже говорил, весь секрет фехтования заключается в том, чтобы, во-первых, наносить противнику удары, а во-вторых, чтобы самому таковых не получать, и вы никогда их не получите, если, как я это вам прошлый раз доказал путем наглядного примера, научитесь отводить шагу противника от своего тела, а для этого нужно только легкое движение кисти руки — к себе или от себя.

Г-н Журден. Стало быть, эдаким манером каждый человек, даже и не из храбрых, может наверняка убить другого, а сам останется цел?

Учитель фехтования. Конечно. Разве я вам это не доказал наглядно?

Г-н Журден. Доказали.

Учитель фехтования. Отсюда ясно, какое высокое положение мы, учителя фехтования, должны занимать в государстве и насколько наука фехтования выше всех прочих бесполезных наук, как, например, танцы, музыка и...

Учитель танцев. Но-но, господин фехтмейстер! Отзырайтесь о танцах почтительно.

Учитель музыки. Будьте любезны, научитесь уважать достоинства музыки.

Учитель фехтования. Да вы просто забавники. Как можно ставить ваши науки на одну доску с моей?

Учитель музыки. Подумаешь, важная птица!

Учитель танцев. Напялил нагрудник, чучело!

Учитель фехтования. Берегитесь, плясунишко, вы у меня запляшете не как-нибудь, а вы, музыкантешка, запоете ангельским голоском.

Учитель танцев. А я, господин драчунишка, научу вас, как нужно драться.

¹ Кварт, парад, терс — различные фехтовальные приемы, служащие для выпада и парирования (отбивания удара).

Г-н Журден (*учителю танцев*). Да вы спятали! Затевать ссору с человеком, который все терсы и кварты знает как свои пять пальцев и может убить противника путем наглядного примера?

Учитель танцев. Плевать я хотел на его наглядный пример и на все его терсы и кварты.

Г-н Журден (*учителю танцев*). Полноте, говорят вам!

Учитель фехтования (*учителю танцев*). Ах, вы вот как, нахальная пигалица!

Г-н Журден. Успокойтесь, любезный фехтмейстер!

Учитель танцев (*учителю фехтования*). Ах, вы вот как, лошадь ломовая!

Г-н Журден. Успокойтесь, любезный танцмейстер!

Учитель фехтования. Мне только до вас добраться...

Г-н Журден (*учителю фехтования*). Потише.

Учитель танцев. Мне только до вас дотянуться...

Г-н Журден (*учителю танцев*). Будет вам!

Учитель фехтования. Я уж вас отколонимачу!

Г-н Журден (*учителю фехтования*). Ради бога!

Учитель танцев. Я вас так вздую...

Г-н Журден (*учителю танцев*). Умоляю!

Учитель музыки. Нет уж, позвольте, мы его выучим хорошему тону.

Г-н Журден (*учителю музыки*). Боже мой! Да перестаньте!

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Учитель философии, г-н Журден, учитель музыки, учитель танцев, учитель фехтования, лакеи.

Г-н Журден. А, господин философ! Вы как раз вовремя подоспели с вашей философией. Помирите как-нибудь этих господ.

Учитель философии. В чем дело? Что случилось, господа?

Г-н Журден. Повздорили из-за того, чье ремесло лучше, переругались и чуть было не подрались.

Учитель философии. Полноте, господа! Как можно доводить себя до такой крайности? Разве вы не читали ученого трактата Сенеки¹ о гневе? Что может быть более низкого и более постыдного, чем эта страсть, которая превращает

¹ Сенека Люций Анней — римский философ.

человека в дикого зверя? Все движения нашего сердца должны быть подчинены разуму; не так ли?

Учитель танцев. Помилуйте, сударь! Я преподаю танцы, мой товарищ занимается музыкой, а он с презрением отозвался о наших занятиях и оскорбил нас обоих!

Учитель философии. Мудрец стоит выше любых оскорблений. Лучший ответ на издевательства — это сдержанность и терпение.

Учитель фехтования. Они имеют наглость сравнивать свое ремесло с моим!

Учитель философии. Это ли повод для волнения? Из-за суетной славы и из-за положения в обществе люди не должны вступать между собою в соперничество: чем мы резко отличаемся друг от друга, так это мудростью и добродетелью.

Учитель танцев. Я утверждаю, что танцы — это наука, заслуживающая всяческого преклонения.

Учитель музыки. А я стою на том, что музыку чтили во все века.

Учитель фехтования. А я им доказываю, что наука владеть оружием — это самая прекрасная и самая полезная из всех наук.

Учитель философии. Позвольте, а что же тогда философия? Вы все трое — изрядные нахалы, как я погляжу: смеете говорить в моем присутствии такие дерзости и без зазрения совести называете науками занятия, которые не достойны чести именоваться даже искусствами и которые могут быть приравнены лишь к жалким ремеслам уличных борцов, певцов и плясунов!

Учитель фехтования. Молчать, собачий философ!

Учитель музыки. Молчать, педант¹ тупоголовый!

Учитель танцев. Молчать, ученый сухарь!

Учитель философии. Ах вы, твари эдакие... (Бросается на них, они осыпают его ударами.)

Г-н Журден. Господин философ!

Учитель философии. Мерзавцы, подлецы, нахалы!

Г-н Журден. Господин философ!

Учитель фехтования. Гадина! Скотина!

Г-н Журден. Господай!

Учитель философии. Наглецы!

Г-н Журден. Господин философ!

Учитель танцев. Ослиная голова!

¹ Педант — человек строгих правил.

Г-н Журден. Господа!

Учитель философии. Негодяи!

Г-н Журден. Господин философ!

Учитель музыки. Убирайся к черту, нахал!

Г-н Журден. Господа!

Учитель философии. Жулики, прощелыги, продувные бестии, проходимцы!

Г-н Журден. Господин философ! Господа! Господин философ! Господа! Господин философ!

Все учителя уходят, продолжая драться.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Г-н Журден, лакей.

Г-н Журден. Э, да ладно, деритесь сколько хотите! Мое дело — сторона, я разнимать вас не стану, а то еще халат с вами разорвешь. Набитым дураком надо быть, чтобы с ними связываться, не ровен час, так огреют, что своих не узнаешь.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Учитель философии, г-н Журден, лакей.

Учитель философии (*оправляя воротник*). Приступим к уроку.

Г-н Журден. Ах, господин учитель, как мне досадно, что они вас побили!

Учитель философии. Пустяки. Философ должен ко всему относиться спокойно. Я сочиню на них сатирик в духе Ювенала¹, и эта сатира их совершенно уничтожит. Но довольно об этом. Итак, почему же вы хотите учиться?

Г-н Журден. Чему только смогу: ведь я смерть как хочу стать ученым, и такое зло меня берет на отца и мать, что меня с малолетства не обучали всем наукам!

Учитель философии. Это понятное чувство, пам *sine doctrina vita est quasi mortis imago*. Вам это должно быть ясно, потому что вы, уж верно, знаете латынь.

Г-н Журден. Да, но вы все-таки говорите так, как будто я ее не знаю. Объясните мне, что это значит.

¹ Ювенал Дёцим Юний — знаменитый римский поэт-сатирик.

Учитель философии. Это значит: без науки жизнь есть как бы подобие смерти.

Г-н Журден. Латынь говорит дело.

Учитель философии. У вас есть основы, начатки каких-либо познаний?

Г-н Журден. А как же, я умею читать и писать.

Учитель философии. С чего вам угодно будет начать? Хотите, я обучу вас логике¹?

Г-н Журден. А что это за штука — логика?

Учитель философии. Это наука, которая учит нас трем процессам мышления.

Г-н Журден. Кто же они такие, эти три процесса мышления?

Учитель философии. Первый, второй и третий. Первый заключается в том, чтобы составлять себе правильное представление о вещах при посредстве универсалий², второй — в том, чтобы верно о них судить при посредстве категорий³, наконец, третий — в том, чтобы делать правильное умозаключение при посредстве фигур: Barbara, Celarent, Darii, Ferio, Baralipton⁴ и так далее.

Г-н Журден. Уж больно слова-то заковыристые. Нет, логика мне не подходит. Лучше что-нибудь позавлекательнее.

Учитель философии. Хотите, займемся этикой⁵?

Г-н Журден. Этика?

Учитель философии. Да.

Г-н Журден. А про что она, эта самая этика?

Учитель философии. Она трактует о счастье жизни, учит людей умерять свои страсти и...

Г-н Журден. Нет, не надо. Я вспыльчив как сто чертей, и никакая этика меня не удержит: я желаю беситься, сколько влезет, когда меня разбирает злость.

Учитель философии. Может быть, вас прельщает физика?

Г-н Журден. А физика — это насчет чего?

Учитель философии. Физика изучает законы внешнего мира и свойства тел, толкует о природе стихий, о признаках металлов, минералов, камней, растений, животных

¹ Логика — наука о формах мышления.

² Универсалы — общие понятия.

³ Категории — наиболее общие разряды явлений и предметов (качество, количество, причинность...).

⁴ Латинские слова, обозначающие разновидности умозаключений.

⁵ Этика — учение о морали, нравственности.

и объясняет причины всевозможных атмосферных явлений, как-то: радуги, блуждающих огней, комет, зарниц, грома, молний, дождя, снега, града, ветров и вихрей.

Г-н Журден. Слишком много трескотни, слишком много всего наворочено.

Учитель философии. Так чем же вы хотите заняться?

Г-н Журден. Займитесь со мной правописанием.

Учитель философии. С удовольствием.

Г-н Журден. Потом научите меня узнавать по календарю, когда бывает луна, а когда нет.

Учитель философии. Хорошо. Если рассматривать этот предмет с философской точки зрения, то, дабы вполне удовлетворить ваше желание, надлежит, как того требует порядок, начать с точного понятия о природе букв и о различных способах их произнесения. Прежде всего я должен вам сообщить, что буквы делятся на гласные, названные так потому, что они обозначают звуки голоса, и на согласные, названные так потому, что произносятся с помощью гласных и служат лишь для обозначения различных изменений голоса. Существует пять гласных букв, или, иначе, голосовых звуков: А, Е, И, О, У.

Г-н Журден. Это мне все понятно.

Учитель философии. Чтобы произнести звук А, нужно широко раскрыть рот: А.

Г-н Журден. А, А. Так!

Учитель философии. Чтобы произнести звук Е, нужно приблизить нижнюю челюсть к верхней: А, Е.

Г-н Журден. А, Е, А, Е. В самом деле! Вот здорово!

Учитель философии. Чтобы произнести звук И, нужно еще больше сблизить челюсти, а углы рта оттянуть к ушам: А, Е, И.

Г-н Журден. А, Е, И, И, И. Верно! Да здравствует наука!

Учитель философии. Чтобы произнести звук О, нужно раздвинуть челюсти, а углы губ сблизить: О.

Г-н Журден. О, О. Истинная правда! А, Е, И, О, И, О. Удивительное дело! И, О, И, О.

Учитель философии. Отверстие рта принимает форму того самого кружка, посредством коего изображается звук О.

Г-н Журден. О, О, О. Вы правы. О. Как приятно знать, что ты что-то узнал!

Учитель философии. Чтобы произнести звук У, нужно приблизить верхние зубы к нижним, не стискивая их,

однако ж, а губы вытянуть и тоже сблизить, но так, чтобы они не были плотно сжаты: У.

Г-н Журден. У, У. Совершенно справедливо! У.

Учитель философии. Ваши губы при этом вытягиваются, как будто вы гримасничаете. Вот почему, если вы пожелаете в насмешку над кем-либо сстроить рожу, вам стоит только сказать: У.

Г-н Журден. У, У. Верно! Эх, зачем я не учился прежде! Я бы все это уже знал.

Учитель философии. Завтра мы разберем другие буквы, так называемые согласные.

Г-н Журден. А они такие же занятные, как и эти?

Учитель философии. Разумеется. Когда вы произносите звук Д, например, нужно, чтобы кончик языка уперся в верхнюю часть верхних зубов: ДА.

Г-н Журден. ДА, ДА. Так! Ах, до чего же здорово, до чего же здорово!

Учитель философии. Чтобы произнести Ф, нужно прижать верхние зубы к нижней губе: ФА.

Г-н Журден. ФА, ФА. И то правда! Эх, батюшка с матушкой, ну, как тут не помянуть вас лихом!

Учитель философии. А чтобы произнести звук Р, нужно приставить кончик языка к верхнему нёбу, однако же под напором воздуха, с силою вырывающегося из груди, язык беспрестанно возвращается на прежнее место, отчего происходит некоторое дрожание: Р-РА.

Г-н Журден. Р-Р-Р-РА, Р-Р-Р-Р-Р-РА! Какой же вы молодчина! А я-то сколько времени потерял даром! Р-Р-Р-РА.

Учитель философии. Все эти любопытные вещи я объясню вам до тонкостей.

Г-н Журден. Будьте настолько любезны! А теперь я должен открыть вам секрет. Я влюблен в одну великосветскую даму, и мне бы хотелось, чтобы вы помогли мне написать ей записочку, которую я собираюсь уронить к ее ногам.

Учитель философии. Отлично.

Г-н Журден. Ведь, правда, это будет учтиво?

Учитель философии. Конечно. Вы хотите написать ей стихи?

Г-н Журден. Нет, нет, только не стихи.

Учитель философии. Вы предпочитаете прозу?

Г-н Журден. Нет, я не хочу ни прозы, ни стихов.

Учитель философии. Так нельзя: или то, или другое.

Г-н Журден. Почему?

Учитель философии. По той причине, сударь, что мы можем излагать свои мысли не иначе, как прозой или стихами.

Г-н Журден. Не иначе, как прозой или стихами?

Учитель философии. Не иначе, сударь. Все, что не проза, то стихи, а что не стихи, то проза.

Г-н Журден. А когда мы разговариваем, это что же такое будет?

Учитель философии. Проза.

Г-н Журден. Что? Когда я говорю: «Николь, принеси мне туфли и ночной колпак», это проза?

Учитель философии. Да, сударь.

Г-н Журден. Честное слово, я и не подозревал, что вот уже более сорока лет говорю прозой. Большое вам спасибо, что сказали. Так вот что я хочу ей написать: «Прекрасная маркиза, ваши прекрасные глаза сулят мне смерть от любви», но только нельзя ли это же самое сказать полюбезнее, как-нибудь этак покрасивее выразиться?

Учитель философии. Напишите, что пламя ее очей испепелило вам сердце, что вы день и ночь терпите из-за нее столь тяжкие...

Г-н Журден. Нет, нет, нет, это все не нужно. Я хочу написать ей только то, что я вам сказал: «Прекрасная маркиза, ваши прекрасные глаза сулят мне смерть от любви».

Учитель философии. Следовало бы чуть-чуть подлиннее.

Г-н Журден. Да нет, говорят вам! Я не хочу, чтобы в записке было что-нибудь, кроме этих слов, но только их нужно расставить как следует, как нынче принято. Приведите мне, пожалуйста, несколько примеров, чтобы мне знать, какого порядка лучше придерживаться.

Учитель философии. Порядок может быть, во-первых, тот, который вы установили сами: «Прекрасная маркиза, ваши прекрасные глаза сулят мне смерть от любви». Или: «От любви смерть мне сулят, прекрасная маркиза, ваши прекрасные глаза». Или: «Прекрасные ваши глаза от любви мне сулят, прекрасная маркиза, смерть». Или: «Смерть ваши прекрасные глаза, прекрасная маркиза, от любви мне сулят, смерть». Или: «Сулят мне прекрасные глаза ваши, прекрасная маркиза, смерть».

Г-н Журден. Какой же из всех этих способов наилучший?

Учитель философии. Тот, который вы избрали сами: «Прекрасная маркиза, ваши прекрасные глаза сулят мне смерть от любви».

Г-н Журден. А ведь я ничему не учился и вот все ж таки придумал в один миг. Покорно вас благодарю. Приходите, пожалуйста, завтра пораньше.

Учитель философии. Не премину.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Г-н Журден, лакей.

Г-н Журден (*лакею*). Неужели мне еще не принесли костюма?

Лакей. Никак нет, сударь.

Г-н Журден. Окаянный портной заставляет меня дожидаться, когда у меня и без того дел по горло. Как я зол! Чтоб его лихорадка замучила, этого разбойника портного! Чтоб его черт побрал, этого портного! Чума его возьми, этого портного! Попадись он мне сейчас, пакостный портной, собака портной, злодей портной, я б его...

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Г-н Журден, портной, подмастерье с костюмом для г-на Журдена, лакей.

Г-н Журден. А, наконец-то! Я уж начал было на тебя сердиться.

Портной. Раньше поспеть не мог, и так уж двадцать подмастерьев засадил за ваш костюм.

Г-н Журден. Ты мне прислал такие узкие чулки, что я насили у них натянул. И уже две петли спустились.

Портной. Они еще как растянутся!

Г-н Журден. Да, только не раньше, чем лопнут все петли. К тому же еще башмаки, которые ты для меня заказал, жмут невыносимо.

Портной. Нисколько, сударь.

Г-н Журден. То есть как нисколько?

Портной. Нет, нет, они вам не тесны.

Г-н Журден. А я говорю: тесны.

Портной. Это вам так кажется.

Г-н Журден. Оттого и кажется, что мне больно. Иначе бы не казалось!

Портной. Вот, извольте взглянуть: не у каждого придворного бывает такой красивый костюм, и сделан он с отменным вкусом. Тут с моей стороны требовалось особое искусство,

чтобы получился строгий костюм, хотя и не черного цвета. Самому лучшему портному не спить такого костюма — это уж я вам ручаюсь.

Г-н Журден. А это еще что такое? Ты пустил цветочки головками вниз?

Портной. Вы мне не говорили, что хотите вверх.

Г-н Журден. Разве об этом надо говорить особо?

Портной. Непременно. Все господа так носят.

Г-н Журден. Господа носят головками вниз?

Портной. Да, сударь.

Г-н Журден. Гм! А ведь и правда, красиво.

Портной. Если угодно, я могу и вверх пустить.

Г-н Журден. Нет, нет.

Портной. Вы только скажите.

Г-н Журден. Говорят тебе, не надо. У тебя хорошо получилось. А сидеть-то он на мне будет ладно, как, по-твоему?

Портной. Что за вопрос! Живописец кистью так не выведет, как я подогнал его к вашей фигуре. У меня есть один подмастерье: по части штанов — это просто гений, а другой по части камзолов — краса и гордость нашего времени.

Г-н Журден. Парики и перья — как, ничего?

Портной. Все в надлежащем порядке.

Г-н Журден (*приглядываясь к портному*). Э-ге-ге, господин портной, а ведь материя-то на вас от моего камзола, того самого, что вы мне шили прошлый раз! Я ее сразу узнал.

Портной. Мне, изволите ли видеть, так понравилась материя, что я и себе выкроил на кафтан.

Г-н Журден. Ну и выкраивал бы, только не из моего куска.

Портной. Не угодно ли примерить?

Г-н Журден. Давай.

Портной. Погодите. Это так не делается. Я привел людей, чтоб они вас облачили под музыку: такие костюмы надеваются с особыми церемониями. Эй, войдите!

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Г-н Журден, портной, подмастерье, подмастерья танцующие, лакей.

Портной (*подмастерьям*). Наденьте этот костюм на господина Журдена так, как вы всегда одеваете знатных господ.

Первый балетный выход

Четверо танцующих подмастерьев приближаются к г-ну Журдену. Двое снимают с него штаны, двое других — камзол, а затем, все время двигаясь в такт, они надевают на него новый костюм. Г-н Журден прохаживается между ними, а они смотрят, хорошо ли сидит костюм.

Подмастерье. Ваша милость, пожалуйте сколько-нибудь подмастерьям, чтоб они вышли за ваше здоровье.

Г-н Журден. Как ты меня назвал?

Подмастерье. Ваша милость.

Г-н Журден. «Ваша милость»! Вот что значит одеться по-господски! А будете ходить в мещанском платье — никто вам не скажет: «Ваша милость». (Дает деньги.) На, вот тебе за «вашу милость».

Подмастерье. Премного довольны, ваше сиятельство.

Г-н Журден. «Сиятельство»? Ого! «Сиятельство»! Погоди, дружок... «Сиятельство» чего-нибудь да стоит, это не простое слово — «сиятельство»! На, вот тебе от его сиятельства!

Подмастерье. Ваше сиятельство, мы все как один выпьем за здоровье вашей светлости.

Г-н Журден. «Вашей светлости»? О-го-го! Погоди, не уходи. Это мне-то — «ваша светлость»! (В сторону.) Если дело дойдет до «высочества», честное слово, ему достанется весь кошелек. (Подмастерью.) На вот тебе за «вашу светлость».

Подмастерье. Покорнейше благодарим, ваше сиятельство, за ваши милости.

Г-н Журден (в сторону). Вовремя остановился, а то бы я все ему отдал.

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Второй балетный выход

Четверо подмастерьев танцуют, радуясь щедрости г-на Журдена.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Г-н Журден, два лакея.

Г-н Журден. Идите за мной: я хочу пройтись по городу в новом костюме, да только смотрите, не отставайте ни на шаг, чтоб все видели, что вы мои лакеи.

Лакей. Слушаем, сударь.

Г-н Журден. Позовите сюда Николь — мне нужно отдать ей кое-какие распоряжения. Стойте, она сама идет.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Г-н Журден, Николь, два лакея.

Г-н Журден. Николь!

Николь. Что угодно?

Г-н Журден. Послушай...

Николь (хохочет). Хи-хи-хи-хи!

Г-н Журден. Чего ты смеешься?

Николь. Хи-хи-хи-хи-хи!

Г-н Журден. Что с тобой, бесстыдница?

Николь. Хи-хи-хи! На кого вы похожи! Хи-хи-хи!

Г-н Журден. Что такое?

Николь. Ах, боже мой! Хи-хи-хи-хи!

Г-н Журден. Экая нахалка! Ты это надо мной смеешься?

Николь. Ни-ни, сударь, даже не думала. Хи-хи-хи-хи-хи!

Г-н Журден. Посмейся-ка еще, — уж и влетит тебе от меня!

Николь. Ничего не могу с собой поделать, сударь. Хи-хи-хи-хи-хи!

Г-н Журден. Перестанешь ты или нет?

Николь. Извините, сударь, но вы такой уморительный, что я не могу удер-жаться от смеха. Хи-хи-хи!

Г-н Журден. Нет, вы подумайте, какая наглость!

Николь. До чего ж вы сейчас смешной! Хи-хи!

Г-н Журден. Я тебя...

Николь. Извините, по-жалуйста. Хи-хи-хи!

Г-н Журден. Послушай, если ты сию секунду не перестанешь, клянусь, я за-качу тебе такую оплеуху, какой еще никто на свете не получал.



Николь. Коли так, сударь, можете быть спокойны: не буду больше смеяться.

Г-н Журден. Ну, смотри! Сейчас ты мне уберешь...

Николь. Хи-хи!

Г-н Журден. Уберешь как следует...

Николь. Хи-хи!

Г-н Журден. Уберешь, говорю, как следует залу и...

Николь. Хи-хи!

Г-н Журден. Ты опять?

Николь (*валился от хохота*). Нет уж, сударь, лучше побейте меня, но только дайте посмеяться вдоволь — так мне будет легче. Хи-хи-хи-хи-хи!

Г-н Журден. Ты меня доведешь!

Николь. Смилуйтесь, сударь, дайте мне посмеяться. Хи-хи-хи!

Г-н Журден. Вот я тебя сейчас...

Николь. Су...ударь... я лоп... лопну, если не похочу. Хи-хи-хи!

Г-н Журден. Видали вы такую подлянку? Вместо того чтобы выслушать мои приказания, нагло смеется мне в лицо!

Николь. Что же вам угодно, сударь?

Г-н Журден. Мне угодно, чтобы ты, мошенница, потрудилась навести в доме чистоту: ко мне скоро гости будут.

Николь (*встает*). Вот мне уже и не до смеху, честное слово! Ваши гости наделяют всегда такого беспорядку, что при одной мысли о них на меня нападает тоска.

Г-н Журден. Что ж, мне из-за тебя держать дверь на запоре от всех моих знакомых?

Николь. По крайней мере от некоторых.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Г-жа Журден, г-н Журден, Николь, два лакея.

Г-жа Журден. Ах, ах! Это еще что за новости? Что это на тебе, муженек, за наряд? Верно, вздумал посмешить людей, коли вырядился таким шутом? Хочешь, чтобы все на тебя пальцем показывали?

Г-н Журден. Разве одни дураки да дуры станут на меня показывать пальцем.

Г-жа Журден. Да уж и показывают: твои повадки давно всех смешат.

Г-н Журден. Кого это «всех», позволь тебя спросить?

Г-жа Журден. Всех благоразумных людей, всех, которые поумнее тебя. А мне так совестно глядеть, какую ты моду завел. Собственного дома не узнать. Можно подумать, что у нас каждый день праздник: с самого утра, то и знай, пиликают на скрипках, песни орут, — соседям, и тем покою нет.

Николь. И то правда, сударыня. Мне не под силу будет поддерживать в доме чистоту, коли вы, сударь, будете водить к себе такую пропасть народу. Грязи наносят прямо со всего города. Бедная Франсуаза вконец измучилась: любезные ваши учителя наследят, а она каждый божий день мой после них полы.

Г-н Журден. Ого! Вот так служанка Николь! Простая мужичка, а ведь до чего же языкастая!

Г-жа Журден. Николь права: ума-то у нее побольше, чем у тебя. Хотела бы я знать, на что тебе, в твои годы, понадобился учитель танцев?

Николь. И еще этот верзила фехтовальщик: он так топочет, что весь дом трясеться, а в зале, того и гляди, весь паркет повыворотит.

Г-н Журден. Молчать, и ты, служанка, и ты, жена!

Г-жа Журден. Стало быть, ты задумал учиться танцевать? Нашел когда: у самого скоро ноги отнимутся.

Николь. Может статься, вам припадла охота кого-нибудь убить?

Г-н Журден. Молчать, говорят вам. Обе вы невежды. Вам невдомек, какие это мне даст пре-ро-га-тивы.

Г-жа Журден. Лучше бы подумал, как дочку пристрить: ведь она уж на выданье.

Г-н Журден. Подумаю я об этом, когда представится подходящая партия. А пока что я хочу думать о том, как бы мне разным хорошим вещам научиться.

Николь. Я еще слыхала, сударыня, что нынче в довершение всего хозяин нанял учителя философии.

Г-н Журден. Совершенно верно. Я хочу поклубаться ума-разума, чтоб я мог о чем угодно беседовать с порядочными людьми.

Г-жа Журден. Не поступить ли тебе в один прекрасный день в школу, чтоб тебя там розгами драли на старости лет?

Г-н Журден. А почему бы нет? Да пусть меня выдерут хоть сейчас, при всех, лишь бы знать все то, чему учат в школе!

Николь. Что ж, это бы вам пошло на пользу.

Г-н Журден. Без сомнения.

Г-жа Журден. В хозяйстве тебе все это вот как пригодится!

Г-н Журден. Непременно пригодится. Обе вы несете дичь, мне стыдно, что вы такие необразованные. (Г-же Журден.) Вот, например, знаешь ли ты, как ты сейчас говоришь?

Г-жа Журден. Конечно. Я знаю, что говорю дело и что тебе надо начать жить по-другому.

Г-н Журден. Я не о том толкую. Я спрашиваю, что такое эти слова, которые ты сейчас сказала.

Г-жа Журден. Слова-то мои разумные, а вот поведение твое очень даже неразумное.

Г-н Журден. Говорят тебе, я не о том толкую. Я вот о чем спрашиваю: то, что я тебе говорю, вот то, что я тебе сказал сейчас, что это такое?

Г-жа Журден. Глупости.

Г-н Журден. Да нет, ты меня не понимаешь. То, что мы оба говорим, вся наша с тобой речь?

Г-жа Журден. Ну?

Г-н Журден. Как это называется?

Г-жа Журден. Все равно, как ни назвать.

Г-н Журден. Невежда, это проза!

Г-жа Журден. Проза?

Г-н Журден. Да, проза. Все, что проза, то не стихи, а все, что не стихи, то проза. Видала? Вот что значит ученость! (К Николь.) Ну, а ты? Тебе известно, как произносится У?

Николь. Как произносится?

Г-н Журден. Да. Что ты делаешь, когда говоришь У?

Николь. Чего?

Г-н Журден. Попробуй сказать У.

Николь. Ну, У.

Г-н Журден. Что же ты делаешь?

Николь. Говорю: У.

Г-н Журден. Да, но когда ты говоришь У, что ты в это время делаешь?

Николь. То и делаю, что вы велели.

Г-н Журден. Вот поговори-ка с дурами! Ты вытягиваешь губы и приближаешь верхнюю челюсть к нижней: У. Видишь? Я корчу рожу: У.

Николь. Да, нечего сказать, ловко.

Г-жа Журден. И впрямь, чудеса!

Г-н Журден. Вы бы еще не то сказали, ежели б увидали О, ДА-ДА и ФА-ФА!

Г-жа Журден. Что это за галимата?

Николь. На что это все нужно?

Г-н Журден. Эти дуры хоть кого выведут из себя.

Г-жа Журден. Вот что, гони-ка ты своих учителей в шею и со всей их тарабарчиной.

Николь. А главное, эту громадину — учителя фехтования: от него только пыль столбом.

Г-н Журден. Скажи на милость! Дался вам учитель фехтования. Вот я тебе сейчас докажу, что ты ничего в этом не смыслишь. (*Велит подать себе рапиры и одну из них протягивает Николь.*) Вот, смотри: наглядный пример, линия тела. Когда тебя колют квартой, то надо делать так, а когда терсом, то вот так. Тогда тебя никто уж не убьет, а во время драки это самое важное — знать, что ты в безопасности. А ну попробуй, кольни меня разок!

Николь. Что ж, и кольну! (*Несколько раз колет г-на Журдена.*)

Г-н Журден. Да тише ты! Эй, эй! Осторожней! Черт бы тебя побрал, скверная девчонка!

Николь. Вы же сами велели вас колоть.

Г-н Журден. Да, но ты сперва колешь терсом, вместо того чтобы квартой, и у тебя не хватает терпения подождать, пока я отпарирую.

Г-жа Журден. Ты помешался на всех этих причудах, муженек. И началось это у тебя с тех пор, как ты вздумал водиться с важными господами.

Г-н Журден. В том, что я возжусь с важными господами, виден мой здравый смысл: это не в пример лучше, чем водиться с твоими мещанами.

Г-жа Журден. Да уж, нечего сказать: прок от того, что ты подружился с дворянами, ох как велик! Взять хоть этого распрекрасного графа, от которого ты без ума: до чего же выгодное знакомство!

Г-н Журден. Молчать! Думай сначала, а потом давай волю языку. Знаешь ли ты, жена, что ты не знаешь, о ком говоришь, когда говоришь о нем? Ты себе не представляешь, какое это значительное лицо: он настоящий вельможа, вхож во дворец, с самим королем разговаривает, вот как я с тобой. Разве это не великая для меня честь, что такая высокопоставленная особа постоянно бывает в моем доме, называет меня любезным другом и держится со мной на равной ноге? Никому и в голову не придет, какие услуги оказывает мне граф, а при всех он до того бывает со мною ласков, что мне, право, становится неловко.

Г-жа Журден. Да, он оказывает тебе услуги, он с тобою ласков, но и денежки у тебя занимает.

Г-н Журден. Ну и что же? Разве это для меня не честь — дать взаймы такому знатному господину? Могу ли я вельможе, который называет меня любезным другом, отказать в таком пустяке?

Г-жа Журден. А какие такие одолжения делает этот вельможа тебе?

Г-н Журден. Такие, что, кому сказать, никто не поверит.

Г-жа Журден. Например?

Г-н Журден. Ну уж этого я тебе не скажу. Будь довольна тем, что свой долг он мне уплатит сполна, и очень даже скоро.

Г-жа Журден. Как же, дожидайся!

Г-н Журден. Наверняка. Он сам мне говорил!

Г-жа Журден. Держи карман шире.

Г-н Журден. Он дал мне честное слово дворянина.

Г-жа Журден. Враки!

Г-н Журден. Ух! Ну и упрямая ты, жена! А я тебе говорю, что он свое слово сдержит, я в этом уверен.

Г-жа Журден. А я уверена, что не сдержит и что все его любезности — один обман и ничего более.

Г-н Журден. Замолчи! Вот как раз и он.

Г-жа Журден. Этого только недоставало! Верно, опять пришел просить у тебя в долг. Глядеть на него тошно.

Г-н Журден. Молчать, тебе говорят!

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Дорант, г-н Журден, г-жа Журден, Николь.

Дорант. Здравствуйте, господин Журден!¹ Как поживаете, любезный друг?

Г-н Журден. Отлично, ваше сиятельство. Милости прошу.

Дорант. А госпожа Журден как поживает?

Г-жа Журден. Госпожа Журден живет помаленьку.

Дорант. Однако, господин Журден, каким вы сегодня франтом!

Г-н Журден. Вот, поглядите.

Дорант. Вид у вас в этом костюме безукоризненный. У нас при дворе нет ни одного молодого человека, который был бы так же хорошо сложен, как вы.

¹ «Здравствуйте, господин Журден!» — обращение по фамилии считалось в аристократических, то есть в высших, кругах невежливым. Этим обращением подчеркивается презрительное отношение Доранта к Журдену.

Г-н Журден. Хе-хе!

Г-жа Журден (*в сторону*). Знает, как в душу влезть.

Дорант. Повернитесь. Верх изящества.

Г-жа Журден (*в сторону*). Да, сзади такой же дурак, как и спереди.

Дорант. Даю вам слово, господин Журден, у меня было необычайно сильное желание с вами повидаться. Я пытаю к вам совершенно особое уважение: не далее, как сегодня утром, я говорил о вас в королевской опочивальне¹.

Г-н Журден. Много чести для меня, ваше сиятельство.
(Г-же Журден.) В королевской опочивальне!

Дорант. Наденьте же шляпу.

Г-н Журден. Я вас слишком уважаю, ваше сиятельство.

Дорант. Боже мой, да наденьте же! Пожалуйста, без церемоний.

Г-н Журден. Ваше сиятельство...

Дорант. Говорят вам, наденьте, господин Журден: ведь вы мой друг.

Г-н Журден. Ваше сиятельство, я ваш покорный слуга.

Дорант. Если вы не наденете шляпу, тогда и я не надену.

Г-н Журден (*надевая шляпу*). Лучше показаться неучтивым, чем несговорчивым.

Дорант. Как вам известно, я ваш должник.

Г-жа Журден (*в сторону*). Да, нам это слишком хорошо известно.

Дорант. Вы были так великодушны, что несколько раз давали мне в долг и, надо заметить, выказывали при этом величайшую деликатность.

Г-н Журден. Шутить изволите, ваше сиятельство.

Дорант. Однако ж я почитаю непременною своею обязанностью платить долги и умею ценить оказываемые мне любезности.

Г-н Журден. Я в этом не сомневаюсь.

Дорант. Я намерен с вами расквитаться. Давайте вместе подсчитаем, сколько я вам всего должен.

Г-н Журден (*тихо г-же Журден*). Ну, что, жена? Видишь, какую ты на него взвела напраслину?

Дорант. Я люблю расплачиваться как можно скорее.

Г-н Журден (*тихо г-же Журден*). А что я тебе говорил?

¹ «Я говорил о вас в королевской опочивальне». В XVII веке существовала церемония пробуждения и вставания короля с постели в присутствии придворных и самых знатных аристократов.

Дорант. Итак, посмотрим, сколько же я вам должен.
Г-н Журден (*тихо г-же Журден*). Вот они, твои нелепые подозрения.

Дорант. Вы хорошо помните, сколько вы мне ссудили?

Г-н Журден. По-моему, да. Я записал для памяти. Вот она, эта самая запись. В первый раз выдано вам двести луидоров.

Дорант. Верно.

Г-н Журден. Еще выдано вам сто двадцать.

Дорант. Так.

Г-н Журден. Еще выдано вам сто сорок.

Дорант. Вы правы.

Г-н Журден. Все вместе составляет четыреста шестьдесят луидоров, или пять тысяч шестьдесят ливров.

Дорант. Подсчет вполне верен. Пять тысяч шестьдесят ливров.

Г-н Журден. Тысячу восемьсот тридцать два ливра — вашему поставщику перьев для шляп.

Дорант. Совершенно точно.

Г-н Журден. Две тысячи семьсот восемьдесят ливров — вашему портному.

Дорант. Правильно.

Г-н Журден. Четыре тысячи триста семьдесят девять ливров двенадцать су восемь денье — вашему лавочнику.

Дорант. Отлично. Двенадцать су восемь денье, — подсчет верен.

Г-н Журден. И еще тысячу семьсот сорок восемь ливров семь су четыре денье — вашему сидельнику¹.

Дорант. Все это соответствует истине. Сколько же всего?

Г-н Журден. Итого пятнадцать тысяч восемьсот ливров.

Дорант. Итог верен. Пятнадцать тысяч восемьсот ливров. Дайте мне еще двести пистолей и прибавьте их к общей сумме: получится ровно восемнадцать тысяч франков², каковые я вам возвращу в самое ближайшее время.

Г-жа Журден (*тихо г-ну Журдену*). Ну что, права я была?

Г-н Журден (*тихо г-же Журден*). Отстань.

Дорант. Вас не затруднит моя просьба?

Г-н Журден. Помилуйте!

¹ Сидельник — приказчик.

² Ливр, франк, пистоль, су, денье, луидбр — денежные единицы Франции.

Г-жа Журден (*тихо г-ну Журдену*). Ты для него дойная корова.

Г-н Журден (*тихо г-же Журден*). Молчи.

Дорант. Если вам отъ неудобно, я обращусь к кому-нибудь другому.

Г-н Журден. Нет, нет, ваше сиятельство.

Г-жа Журден (*тихо г-ну Журдену*). Он не успокоится, пока тебя не разорит.

Г-н Журден (*тихо г-же Журден*). Говорят тебе, молчи.

Дорант. Скажите прямо, не стесняйтесь.

Г-н Журден. Нисколько, ваше сиятельство.

Г-жа Журден (*тихо г-ну Журдену*). Это настоящий проходимец!

Г-н Журден (*тихо г-же Журден*). Да замолчи ты!

Г-жа Журден (*тихо г-ну Журдену*). Он высосет из тебя все до последнего су.

Г-н Журден (*тихо г-же Журден*). Ты замолчишь?

Дорант. Многие с радостью дали бы мне взаймы, но вы мой лучший друг, и я боялся, что обижу вас, если попрошу у кого-нибудь еще.

Г-н Журден. Слишком много чести для меня, ваше сиятельство. Сейчас схожу за деньгами.

Г-жа Журден (*тихо г-ну Журдену*). Что? Ты ему еще хочешь дать?

Г-н Журден (*тихо г-же Журден*). А как же быть? Разве я могу отказать такой важной особе, которая еще нынче утром говорила обо мне в королевской опочивальне?

Г-жа Журден (*тихо г-ну Журдену*). А, да ну тебя, дурак набитый! <...>

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Г-н Журден, г-жа Журден, Дорант, Николь.

Г-н Журден (*Доранту*). Вот вам ровно двести луидоров.

Дорант. Поверьте, господин Журден, что я искренно вам предан и мечтаю быть вам чем-нибудь полезным при дворе.

Г-н Журден. Я вам очень обязан.

Дорант. Если госпожа Журден желает посмотреть придворный спектакль, я велю оставить для нее лучшие места в зале.

Г-жа Журден. Госпожа Журден покорно вас благодарит.

Дорант (тихо г-ну Журдену). Прелестная наша маркиза, как я уже известил вас запиской, сейчас пожалует к вам отобедать и посмотреть балет. В конце концов мне все же удалось уговорить ее побывать на представлении, которое вы для нее устраиваете.

Г-н Журден. Отойдемте на всякий случай подальше.

Дорант. Мы с вами не виделись целую неделю, и до сих пор я ничего вам не мог сказать о брильянте, который я должен был передать от вас маркизе, но все дело в том, что побороть ее щепетильность мне стоило величайшего труда: она согласилась его принять только сегодня.

Г-н Журден. Как он ей поправился?

Дорант. Она от него в восхищении. Я почти уверен, что красота этого брильянта необычайно поднимет вас в ее глазах.

Г-н Журден. Дай-то бог!

Г-жа Журден (к Николь). Стоит им сойтись вместе, мой муженек так к нему и прилипнет.

Дорант. Я приложил все старания, чтобы она составила себе верное понятие как о ценности вашего подарка, так и о силе вашей любви.

Г-н Журден. Не знаю, как вас и благодарить. До чего мне неловко, что такая важная особа, как вы, утруждает себя ради меня!

Дорант. Что вы! Разве можно друзьям быть такими щепетильными? И разве вы в подобном случае не сделали бы для меня того же самого?

Г-н Журден. Ну, конечно! С великой охотой.

Г-жа Журден (к Николь). Когда он здесь, мне просто невмоготу.

Дорант. Я по крайней мере, когда нужно услужить другу, на все готов решиться. Как скоро вы мне признались, что пылаете страстью к очаровательной маркизе, моей хорошей знакомой, я сам вызвался быть посредником в ваших сердечных делах.

Г-н Журден. Сущая правда. Благодействия ваши приводят меня в смущение.

Г-жа Журден (к Николь). Когда же он, наконец, уйдет?

Николь. Их водой не разольешь.

Дорант. Вам удалось найти кратчайший путь к ее сердцу. Женщины больше всего любят, когда на них трятаются, и ваши беспрестанные серенады, ваши бесчисленные букеты, изумительный фейерверк, который вы устроили для нее на реке, брильянт, который вы ей подарили, представление, которое вы для нее готовите, — все это красноречивее говорит о вашей любви, чем все те слова, какие вы могли бы сказать ей лично.

Г-н Журден. Я не остановлюсь ни перед какими затратами, если только они проложат мне дорогу к ее сердцу. Светская дама имеет для меня ни с чем не сравнимую прелесть, — подобную честь я готов купить любой ценой.

Г-жа Журден (*тихо к Николь*). О чём это они столько времени шепчутся? Подойди-ка тихонько да послушай.

Дорант. Скоро вы ею вволю налюбуетесь, ваш взор насладится ею вполне.

Г-н Журден. Чтобы нам не помешали, я устроил так, что моя жена отправится обедать к сестре и пробудет у нее до самого вечера.

Дорант. Вы поступили благоразумно, а то ваша супруга могла бы нас стеснить. Я от вашего имени отдал распоряжения повару, а также велел все приготовить для балета. Я сам его сочинил, и если только исполнение будет соответствовать замыслу, то я уверен, что от него...

Г-н Журден (*заметив, что Николь подслушивает, дает ей пощечину*). Это еще что? Ну и нахалка! (*Доранту*.) Придется нам уйти. <...>

ЯВЛЕНИЕ ПЯТНАДЦАТОЕ

Г-н Журден один.

Г-н Журден. Что за черт! Все время они колют мне глаза моим знакомством с вельможами, а для меня ничего не может быть приятнее таких знакомых. От них один только почет и уважение. Я бы позволил отрубить себе два пальца на руке, лишь бы мне родиться графом или же маркизом.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТНАДЦАТОЕ

Г-н Журден, лакей.

Лакей. Сударь, там его сиятельство граф под руку с какой-то дамой.

Г-н Журден. Ах, боже мой! Мне нужно еще отдать кое-какие распоряжения. Скажи, что я сейчас.

ЯВЛЕНИЕ СЕМНАДЦАТОЕ

Доримена, Дорант, лакей.

Лакей. Барин велели сказать, что сейчас выйдут.

Дорант. Очень хорошо.

ЯВЛЕНИЕ ВОСЕМНАДЦАТОЕ

Доримена, Дорант.

Доримена. Не знаю, Дорант, по-моему, я все же поступила опрометчиво, что позволила вам привезти меня в незнакомый дом.

Дорант. Где же, в таком случае, маркиза, моя любовь могла бы вас приветствовать, коль скоро вы во избежание огласки не желаете со мной встречаться ни у себя дома, ни у меня?

Доримена. Да, но вы не хотите сознаться, что я незаметно для себя привыкаю к ежедневным и слишком сильным доказательствам вашей любви ко мне. Сколько бы я ни отказывалась, в конце концов я все же сдаюсь на ваши уговоры: своею деликатною настойчивостью вы добиваетесь от меня того, что я готова исполнить любое ваше желание. Началось с частых посещений, за ними последовали признания, признания повлекли за собой серенады и представления, а там уж пошли подарки. Я всему этому противилась, но вы неисправимы, и всякий раз вам удается сломить мое упорство. Теперь я уже ни за что не отвечаю: боюсь, что вы все же склоните меня на брак, хотя я всячески этого избегала.

Дорант. Давно пора, маркиза, уверяю вас. Вы вдова, вы ни от кого не зависите. Я тоже сам себе господин и люблю вас больше жизни. Отчего бы вам сегодня же не составить мое счастье?

Доримена. Ах, боже мой, Дорант, для того чтобы совместная жизнь была счастливой, от обеих сторон требуется слишком много! Как часто благоразумнейшим супругам не удается создать союз, который бы их удовлетворял!

Дорант. Помилуйте, маркиза, вы явно преувеличиваете трудности, а ваш собственный опыт еще ничего не доказывает.

Доримена. Как бы там ни было, я возвращаюсь к тому же. Я ввожу вас в расходы, и это меня беспокоит: во-первых, они обязывают меня больше, чем я бы хотела, а во-вторых, простите за откровенность, я уверена, что они не могут вас не обременять, а мне это неприятно.

Дорант. Ах, маркиза, это сущие пустяки, и вас это не должно...

Доримена. Я знаю, что говорю. Между прочим, брильянт, который вы заставили меня принять, — такая дорогая вещь...

Дорант. Маркиза, умоляю, не переоценивайте вещицы, которую моя любовь считает недостойною вас, и позвольте... Но вот и хозяин дома.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТНАДЦАТОЕ

Г-н Журден, Доримена, Дорант.

Г-н Журден (сделав два поклона, оказывается на слишком близком расстоянии от Доримены). Чуть-чуть назад, сударыня.

Доримена. Что?

Г-н Журден. Если можно, на один шаг.

Доримена. Что такое?

Г-н Журден. Отступите немного, а то я не могу сделать третий поклон.

Дорант. Господин Журден любит изысканное обхождение.

Г-н Журден. Сударыня, это величайшая для меня радость, что я оказался таким баловнем судьбы и таким, можно сказать, счастливцем, что имею такое счастье и вы были так добры, что сделали мне милость и пожелали почтить меня почетом благосклонного своего присутствия, и если б только я был достоин удостоиться таких достоинств, каковы ваши... и небо... завидующее моему блаженству... предоставило мне... преимущество заслужить... заслужить...

Дорант. Довольно, господин Журден. Маркиза не любит длинных комплиментов. Она и так уже наслышана о необычайной остроте вашего ума. (Тихо Доримене.) Как видите, у этого славного мещанина очень смешные манеры.

Доримена (тихо Доранту). Это не трудно заметить.

Дорант. Позвольте вам представить, маркиза, лучшего моего друга...

Г-н Журден. Это для меня слишком много чести.

Дорант. ...человека вполне светского.

Доримена. Я испытываю к нему глубокое уважение.

Г-н Журден. Я еще ничего не сделал, сударыня, чтобы заслужить такую милость.

Дорант (тихо г-ну Журдену). Смотрите, не проговоритесь о брильянте, который вы ей подарили.

Г-н Журден (тихо Доранту). Можно только спросить, как он ей понравился?

Дорант (тихо г-ну Журдену). Что вы! Боже вас сохрани! Это было бы с вашей стороны неучтиво. Если желаете походить на вполне светского человека, то, наоборот, сделайте вид, будто это не вы ей подарили. (Громко Доримене.) Господин Журден говорит, что он вам несказанно рад.

Доримена. Я очень тронута.

Г-н Журден (*тихо Доранту*). Как я вам признателен, что вы замолвили за меня словечко перед маркизой!

Дорант (*тихо г-ну Журдену*). Я еле уговорил ее поехать к вам.

Г-н Журден (*тихо Доранту*). Не знаю, чем мне вас отблагодарить.

Дорант. Он говорит, маркиза, что вы первая в мире красавица.

Доримена. Мне это очень лестно.

Г-н Журден. Это мне, сударыня, лестно, что вы...

Дорант. А не пора ли обедать?

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТОЕ

Г-н Журден, Доримена, Дорант, лакей.

Лакей (*г-ну Журдену*). Все готово, сударь.

Дорант. В таком случае пойдемте к столу, и пусть позовут певцов.

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ

Балет

Шесть поваров, приготовивших парадный обед, танцуют вместе, что и составляет третью интермедию; затем они вносят установленный блюдами стол.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Доримена, г-н Журден, Дорант, трое певцов, лакеи.

Доримена. Дорант, что я вижу? Да это же роскошный пир!

Г-н Журден. Полноте, сударыня, я бы хотел предложить вашему вниманию что-нибудь более великолепное.

Доримена, г-н Журден, Дорант и трое певцов садятся за стол.

Дорант. Господин Журден совершенно прав, маркиза, и я ему весьма признателен за то, что он вам оказывает столь радушный прием. Я с ним согласен, что обед недостаточно

для вас великолепен. Я его заказывал сам, но в этой области я не такой тонкий знаток, как некоторые наши друзья, а потому и трапеза получилась не очень изысканная, так что вы найдете здесь прямые нарушения правил поваренного искусства и отклонения от строгого вкуса. Вот если б это взял на себя Дамис, тогда уж ни к чему нельзя было бы придираться: во всем были бы видны изящество и знание дела, он сам расхваливал бы каждое кушанье и в конце концов вынудил бы вас признать его незаурядные способности к науке чревоугодия. Он рассказал бы вам о поджаренных хлебцах со сплошной золотистой корочкой, нежно похрустывающей на зубах, о бархатистом, в меру терпком вине, о бараньей лопатке, нашпигованной петрушкой, о затылке нормандского теленка, вот этаком длинном, белом, нежном, который так и тает во рту, о дивно пахнущих куропатках и, как о венце творенья, о бульоне с блестками жира, за которым следует молоденькая упитанная индейка, обложенная голубями и украшенная белыми луковками вперемежку с цикорием. А что касается меня, то я принужден сознаться в собственном невежестве и, пользуясь удачным выражением господина Журдена, хотел бы предложить вашему вниманию что-нибудь более великолепное.

Доримена. Я ем с большим аппетитом — вот как я отвечаю на ваш комплимент.

Г-н Журден. Ах, какие прелестные ручки!

Доримена. Руки обыкновенные, господин Журден, но вы, вероятно, имеете в виду брильянт — вот он действительно очень хорош.

Г-н Журден. Что вы, сударыня, боже меня сохрани, это было бы недостойно светского человека, да к тому же сам брильянт — сущая безделица.

Доримена. Вы слишком требовательны.

Г-н Журден. Вы чересчур снисходительны...

Дорант (*сделав знак г-ну Журдену*). Налейте вина господину Журдену и вот этим господам, которые будут так любезны, что споют нам застольную песню.

Доримена. Музыка — чудесная приправа к хорошему обеду. Должна заметить, что угощают меня здесь на славу.

Г-н Журден. Сударыня, не мне...

Дорант. Господин Журден, послушаем наших певцов: то, что они нам скажут, куда лучше всего того, что можем сказать мы.

Первый и второй певцы
(поют с бокалами в руках)

Филида¹, сделай знак мне пальчиком своим, —
Вино в твоих руках так искристо сверкает!

Твоя краса меня одушевляет,
И страстию двойной я ныне одержим.
Вино, и ты, и я — отныне быть должны мы
Навек неразделимы.

Вино в твоих устах горит живым огнем,
Твои уста вину окраску сообщают. —
О, как они друг друга дополняют!
Я опьянен вдвойне — тобою и вином.
Вино, и ты, и я — отныне быть должны мы
Навек неразделимы!

Второй и третий певцы

Будем, будем пить вино. —
Время слишком быстролетно:

Надо, надо беззаботно
Брать, что в жизни суждено!

Темны реки забвенья волны:
Там нет ни страсти, ни вина,

А здесь бокалы полны,—
Так пей, так пей до дна!

Пусть разумники порой
Речи мудрые заводят,

Наша мудрость к нам приходит
Лишь с бутылкой и едой.

Богатство, знание и слава
Не избавляют от забот.

Кто пьян — имеет право
Сказать, что он живет!

Все трое вместе

Лей, мальчик, лей, полнее наливай.
Пока не перельется через край!

Доримена. Лучше спеть невозможно. Просто прекрасно!

Г-н Журден. А я вижу перед собой, сударыня, нечто
более прекрасное.

Доримена. Что я слышу? Я и не думала, что господин
Журден может быть так любезен.

¹ Филида — женское имя греческого происхождения.

Дорант. Помилуйте, маркиза! За кого же вы принимаете господина Журдена?

Г-н Журден. Я хочу, чтоб она принимала меня за чистую монету.

Доримена. Опять?

Дорант. Вы его еще не знаете.

Г-н Журден. Она меня узнает, как только пожелает.

Доримена. Да он неистощим!

Дорант. Господин Журден за словом в карман не лезет. Но вы даже не замечаете, маркиза, что он доедает все кусочки, до которых вы дотрагиваетесь.

Доримена. Господин Журден приводит меня в восхищение.

Г-н Журден. Вот если бы я мог надеяться на похищение вашего сердца, я был бы...

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Г-жа Журден, г-н Журден, Доримена, Дорант, певцы, лакеи.

Г-жа Журден. Ба! Ба! Да здесь приятная компания, и, как видно, меня не ждали! Так вот почему тебе не терпелось, любезный мой супруг, спровадить меня на обед к моей сестре? Сначала представление, а потом и пир горой! Нечего сказать, нашел куда девать денежки: потчуешь в мое отсутствие дам, нанимаешь для них певцов и комедиантов, а меня — со двора долой.

Дорант. Что вы говорите, госпожа Журден? Что это у вас за фантазия? Откуда вы взяли, что ваш муж тратит деньги и что это он дает в честь дамы обед? Да будет вам известно, что обед устраиваю я, а он только предоставил для этого свой дом, — советую вам прежде подумать хорошенько, а потом уже говорить.

Г-н Журден. Вот то-то, глупая: обед устраивает его сиятельство граф в честь этой знатной дамы. Он оказал мне особую милость тем, что избрал для этого мой дом и пригласил и меня.

Г-жа Журден. Всё враки. Я знаю, что знаю.

Дорант. Наденьте, госпожа Журден, получше очки.

Г-жа Журден. Мне очки не нужны, сударь, я и так хорошо вижу. Я давно уже чую недоброе, напрасно вы думаете, что я такая дура. Стыдно вам, благородному господину, потакать дурачествам моего мужа. И вам, сударыня, такой важной dame, не к лицу и негоже вносить в семью раздор и позволять моему мужу за вами волочиться.

Доримена. Что все это значит? Послушайте, Дорант, вы издеваетесь надо мной? Заставлять меня выслушивать нелепые бредни этой вздорной женщины!

Дорант (бежит за Дорименой). Маркиза, погодите! Маркиза, куда же вы?

Г-н Журден. Сударыня!.. Ваше сиятельство, извинитесь перед ней за меня и уговорите ее вернуться.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Г-жа Журден, г-н Журден, лакеи.

Г-н Журден. Ах ты, дура этакая, вот что ты натворила. Осрамила меня перед всем светом! Ведь это же надо: выгнать из моего дома знатных особ!

Г-жа Журден. Плевать мне на их знатность.

Г-н Журден. Вот я тебе сейчас, окаянная, разобью голову тарелкой за то, что ты расстроила наш обед!

Лакеи выносят стол.

Г-жа Журден (уходя). Испугалась я тебя, как же! Я свои права защищаю, все женщины будут на моей стороне.

Г-н Журден. Счастье твое, что ты скорей от меня наутек!

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Г-н Журден один.

Г-н Журден. Вот уж не вовремя явилась! Я как нарочно был в ударе и блистал остроумием. <...>

Перевод с французского Н. Любимова,
стихи в переводе Арго



Обдумаем прочитанное

1. Стремление к образованию обычно вызывает уважение. Почему же мы смеемся над Журденом? Как вы понимаете смысл названия комедии «Мещанин во дворянстве»?

◆ 2. Какими художественными средствами Мольер создает комические ситуации в пьесе (приведите примеры)?

◆ 3. Найдите сцены (явления), в которые включены пение и танцы. Оправданны ли подобные вставки в комедии? Что они придают спектаклю?

4. Для полного представления о характере господина Журдена необходимо отметить особенности его поступков, речи, взаимоотношений с женой, служанкой Николь, учителями, портным и его подмастерьями, графом Дорантом и маркизой Дорименой. На основании своих наблюдений расскажите о Журдене, характеризуя его как героя комедии.

5. Выберите одного из героев комедии и подготовьте выразительное чтение явлений, в которых он действует. Обдумайте (обсудите с товарищами), как передать в чтении явные и тайные стремления «вашего» героя, его отношение к Журдену и другим действующим лицам.

ДРАМАТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ. КОМЕДИЯ

Вы уже знаете, что драма — один из основных родов литературы. Пьесы, или драматические произведения, создаются главным образом для театра и подчиняются его законам. Напомним: в пьесе развернутая авторская речь заменяется краткими замечаниями — ремарками, которые указывают, какими должны быть декорации, бутафорские предметы, заменяющие по-длинные вещи, каковы костюмы, внешний облик, интонация, жесты, мимика действующих лиц, а также освещение и звуковое оформление спектакля. В основе пьесы лежит действие, в ходе которого раскрываются взаимоотношения героев, их характеры, разрешаются конфликтные ситуации. Неслучайно греческое слово *драма* в переводе означает «действие». Вспомните, например, скору учителей господина Журдена или столкновение его с женой и служанкой Николь.

Действие на сцене происходит как будто сейчас, в настоящее время, на наших глазах. Этим во многом объясняется сила воздействия спектакля на зрителей.

Трагедия, комедия и драма в узком смысле — жанры драмы. В трагедии, как вы, наверное, помните из рассказа о Мольере, действие движут неизбежные жизненные конфликты, завершающиеся гибелью героя (в старших классах вы познакомитесь с трагедиями Шекспира «Ромео и Джульетта», «Гамлет»). Драма в узком смысле изображает серьезные противоречия и столкновения героев, не ведущие, однако, к трагическому исходу («Три сестры» А. П. Чехова).

Комедия (от греческого слова *комос* — веселая толпа и *oide* — песня, то есть веселая песня толпы) — это драматическое произведение, в котором высмеиваются пороки и недостатки людей и общества.

Смех в комедии бывает не только веселый и добродушный, но и острый, разоблачительный; тогда мы говорим

о сатирической комедии. Именно такой смех присущ и пьесе Мольера. Стрелы смеха, как вам стало ясно, направлены не только в господина Журдена. Достойны осмеяния и другие герои комедии.



Какое драматическое произведение относится к жанру комедии? Назовите известные вам комедии. Какие из них довелось читать либо видеть в театре или кино? Как вы понимаете мысль о том, что пьеса живет только на сцене, без нее она как душа без тела?



Для любознательных

О первых спектаклях комедии «Мещанин во дворянстве» написал М. А. Булгаков в своей книге «Жизнь господина де Мольера». Вот отрывок из нее:

«“Мещанин во дворянстве” был сыгран в Шамборе первый раз 14 октября 1670 года, и темный ужас охватил Мольера после представления: король¹ не произнес ни единого слова по поводу пьесы. Прислуживая королю за торжественным ужином после спектакля в качестве камердинера, Мольер был полумертв. Молчание короля немедленно дало пышные результаты. Тут уж не осталось ни одного человека, который не изругал бы пьесу Мольера (не при короле, конечно).

— Объясните мне, ради бога, господа, — воскликнул один из придворных, — что значит вся эта галиматья... Что это такое?

— Это белиберда, — отвечали ему, — ваш Мольер исписался совершенно, у него пора отнять театр...

Шестнадцатого октября состоялось второе представление, и опять на нем был король. По окончании спектакля он позвал к себе Мольера.

— Я хотел вам сказать о вашей пьесе, Мольер, — начал король.

“Ну, убей меня!” — прочитали все в глазах у Мольера.

— Я ничего не сказал вам после премьеры оттого, что еще не мог составить о ней суждение. Ваши актеры слишком хорошо играют. Но теперь я вижу, что вы написали превосходную

¹ Король — Людовик XIV.

пьесу, и ни одна из ваших пьес не доставила мне такого удовольствия, как эта.

Лишь только король отпустил Мольера, как его окружили все придворные и стали осыпать пьесу похвалами. Замечено было, что больше всех его хвалил тот, кто накануне говорил, что Мольер исписался. Вот буквально его слова:

— Мольер неподражаем! — сказал он. — Ей-богу, необыкновенная комическая сила есть во всем, что бы он ни писал! Он, господа, гораздо сильнее древних авторов!

Комедию повторяли в Шамборе, затем в Сен-Жермене, а в конце ноября Мольер стал играть ее в Пале-Рояле¹, где она пользовалась большим успехом...»



Какие чувства вызывают у вас придворные, меняющие собственное мнение о комедии в зависимости от поведения короля? Кто из русских авторов высмеивал в своих рассказах подобное поведение персонажей?

¹ Пале-Рояль — дворец, в котором король выделил помещение для театра Мольера.



Приглашаем в библиотеку

Прочитайте комедии Мольера «Мещанин во дворянстве» и «Плутни Скапена» целиком.

Если вас увлекли драматические произведения, познакомьтесь и с комедией итальянского драматурга Карло Гольдони «Слуга двух хозяев», которая, как и комедии Мольера, всегда занимает почетное место в репертуаре театров мира.



Иван
Андреевич
КРЫЛОВ

(1768—1844)

Крылов писал комедии, весьма замечательные по остроумию. <...> Крылов вполне народный писатель и теперь уже воспитатель не менее тридцати поколений.

Б. Г. Велинский

При слове *басня* мы прежде всего вспоминаем Крылова. Однако это был не единственный жанр, в котором он работал. Иван Андреевич страстно любил театр. Слава драматурга к нему пришла не сразу. Первая пьеса его так и не попала на сцену. Большой успех имела его волшебно-комическая опера «Илья Богатырь». Крылов, однако, прекрасно понимал, что «Илья», при всем успехе у зрителей, не открывает тот путь, которым следует идти. «Волшебная опера» — лишь проба сил. Он написал комедию — «Урок дочкам», поставленную в июне 1807 года. В этой пьесе Крылов достигает большой жизненной правды, метко и остроумно высмеивая невежество провинциальных модниц, благоговеющих перед всем иноземным. Как и у Мольера, в комедии сочувственно изображены слуги. Их сметливость, естественность чувств и поступков противопоставляются спесивости господ, их неумеренному преклонению перед иностранным. Это сразу было отмечено и сочувственно воспринято современниками баснописца. Наиболее ярко общественное мнение отразилось в анонимном послании к Крылову:

Любя отечество, люблю я тех душой,
Которые не страждут слепотой,
На моды не смотря, привыкли тем гордиться,
Что привела судьба их русскими родиться.

В числе их ты, Крылов, и, дочкам дав урок,
Осмеивая то постыдно состоянья,
В котором привело нас модно воспитанье.

Комедия «Урок дочкам» не сходила со сцены до сороковых годов XIX века, да и после этого неоднократно шла в театрах с неизменным успехом.

По статье Н. Л. Степанова «И. А. Крылов»

УРОК ДОЧКАМ

Комедия в одном действии

Избранные сцены

Действующие лица

Велькарёв, дворянин.
Фекла } его дочери.
Лукерья }
Даша, их горничная.
Василиса, няня.
Семен, слуга¹.
Сидорка, деревенский contadorщик.

Действие происходит в деревне Велькарёва.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ²

Фекла, Лукерья, Даша и няня Василиса, которая становит³ стул и, на нем сидя, вяжет чулок, вслушиваясь в разговоры барышень.

Фекла. Да отвязешься ли ты от нас, няня Василиса?

Лукерья. Няня Василиса, да провались ты сквозь землю.

Василиса. С нами Бог, матушки. Вить я господскую волю исполняю. Да и вы, красавицы мои барышни, что вам за прибыль батюшку гневить? Неужели у вас язычок болит говорить по-русски?

Лукерья. Это несносно! Сестрица, я выхожу из терпенья!

Фекла. Мучительно! Убивственно! Оторвать нас от всего, что есть милого, любезного, занимательного, и завести в деревню, в пустыню...

¹ Слуга проезжего офицера, жених Даши. — Сост.

² Явление первое опущено.

³ Становить — просторечная форма глагола «ставить».

Лукерья. Будто мы на то воспитаны, чтоб знать, как хлеб сеют!

Даша (особо¹). Небось для того, чтобы знать, как его едят...

Лукерья. Что ты бормочешь, Даша?

Даша. Не угодно ль вам взглянуть на платье?

Фекла (подходя). Сестрица, миленькая, не правда ли, что оно будет очень хорошо?

Лукерья. И, мой ангел! Будто оно может быть сносно!.. Мы уже три месяца из Москвы, а там, еще при нас, понемножку стали грудь и спину открывать...

Фекла. Ах, это правда! Ну вот, есть ли способ нам здесь по-людски одеться? В три месяца, бог знает, как низко выкройка спустилась. Нет, нет, Даша, поди кинь это платье! Я до Москвы ничего делать себе не намерена.

Даша (уходя, особо). Я приберу его для себя в приданое.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Фекла, Лукерья и няня Василиса.

Лукерья. Eh bien, ma soeur...²

Василиса. Матушка, Лукерья Ивановна, извольте говорить по-русски: батюшка гневаться будет!

Лукерья. Чтоб тебе оглохнуть, няня Василиса!

Фекла. Я думаю, право, если б мы попались в полон к туркам, и те б с нами поступали вежливее батюшки, и они бы не стали столько принуждать нас русскому языку.

Лукерья. Прекрасно, божественно! С нашим вкусом, с нашими дарованиями, — зарыть нас живых в деревне? Нет, на что же мы так воспитаны — к чему потрачено это время и деньги? Боже мой! Когда вообразишь теперь молодую девушку в городе, — какая райская жизни! Поутру, едва успеешь сделать первый туалет, явятся учители, — танцевальный, рисовальный, гитарный, клавикордный; от них тотчас узнаешь тысячу прелестных вещей: тут любовное похождение, там от мужа жена ушла; те разводятся, другие мирятся; там свадьба навертывается, другие свадьбу расстроили; тот волочится за той, другая — за тем, — ну, словом, ничто не ускользнет, даже до того, что знаешь, кто себе фальшивый зуб вставит, и не увидишь, как время пройдет! Потом

¹ Особо — то есть «в сторону».

² Итак, сестра моя...

пустишься по модным лавкам; там встретишься со всем, что только есть лучшего и любезного в целом городе; подметишь тысячу свиданий; на неделю будет что рассказывать; потом едешь обедать, и за столом с подругами ценишь¹ бабушек и тетушек; после домой — и снова зайдешься туалетом, чтобы ехать куда-нибудь на бал или в собрание, где одного мучишь жестокостью, другому жизнь даешь улыбкою, третьего с ума сводишь равнодушием; для забавы давишь старушкам ноги и толкаешь под бока, а они-то морщатся, они-то ворчат!.. Ну, умереть надо со смеху! (Хохочет.) Танцуешь, как полуумная; и когда случится в первой паре, то забавляешься досадою девушки, которым иначе не удается танцевать, как в хвосте. Словом, не успеешь опомниться, как уже рассветает, а ты полумертвая едешь домой. А здесь, в деревне, в степи, в глухи... ах! Я так зла, что задыхаюсь от бешенства; так зла, так зла, что ah, si jamais je suis...²

Василиса. Матушка Лукерья Ивановна, извольте гневаться по-русски!

Лукерья. Да исчезнешь ли ты от нас, старая колдунья?

Фекла. Не убивственно ли это, миленькая сестрица: не видать здесь ни одного человеческого лица, кроме русского, не слышать человеческого голосу, кроме русского?.. Ах, я бы истерзилась, я бы умерла с тоски, если бы не утешал меня Жако, наш попугай, которого одного во всем доме слушаю я с удовольствием. Милый попенька! Как чисто говорит он мне всякий раз: *Vous etes une sotte*³. А няня Василиса — тут как тут, так что и ему слова по-французски сказать я не могу. Ах, если бы ты чувствовала всю мою печаль! Ah, ma chere amie!⁴

Василиса. Матушка Фекла Ивановна, извольте печальтесь по-русски, — ну, право, батюшка гневаться будет!

Фекла. Надоела, няня Василиса!

Василиса. Ах, мои золотые! Ах, мои жемчужные! Злодейка ли я? У меня у самой, на вас глядя, сердце надорвалось; да как же быть? — Воля барская. Вить вы знаете, каково прогневить батюшку. Да неужели, мои красавицы, по-французски говорить слаще? Кабы не боялась барина, так послушала бы вас — чтой-то за наречие!

¹ Ценишь — здесь: обсуждаешь.

² Ах, если б я никогда...

³ Вы дуры.

⁴ Ах, моя дорогая!

Фекла. Ты не поверишь, няня Василиса, как на нем все чувствительно, ловко и умно говорится!

Василиса. Кабы да не страх обуял, право бы послушала, как им говорят!

Фекла. Ну да вить ты слышала, как говорит наш попугай Жако.

Василиса. Ох вы, мои затейницы! А уж как он, окаянный, речисто выговаривает — только я ничего-то не понимаю!

Фекла. Вообрази же, миленькая няня, что мы в Москве, когда съезжаемся, то говорим точно, как Жако!

Василиса. Такое дело, мои красавицы! Ученье свет, а неученье тьма. Да вот погодите, дождитесь своей вольки, как выйдете замуж!

Лукерья. За кого? За здешних женихов? Сохрани бог! Мы уж их с дюжину отбоярили добрым порядком; да и с Хопровым, и с Таниным, которых нам теперь батюшка прочит, не лучше поступим. Куда он забавен, если думает, что здесь кто-нибудь может быть на наш вкус!

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Велькаров, Фекла, Лукерья и няня Василиса, которая вскоре уходит.

Велькаров. Ну что, няня Василиса, не выступили ли дочери из моего приказания?

Василиса. Нет, государь! (*Отводя его.*) Только, батюшка мой, не погневись на рабу свою и прикажи слово вымолвить!

Велькаров. Говори, говори, что такое? (*Видя, что дочери хотят уйти.*) Постойте!

Лукерья. Ax!

Фекла (*тихо*). Helas!¹

Велькаров (*няне*). Ну, что ты хотела сказать?

Василиса. Не умри ты, государь, барышень-то: вить Господь знает, может быть, их натура не терпит русского языка, — хоть уж не вдруг их приневоливай!

Велькаров. Не бойся, будут живы. Поди и продолжай только наблюдать мое приказание.

Василиса. То-то, мой отец, видишь, они такие великаны; я помню, чего стоило, как их и от груди отнимали! (*Уходит.*)

¹ Увы! (фр.)

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Велькаров, Лукерья и Фекла.

Велькаров. А вы, сударыни, будьте готовы принять ласково и вежливо двух гостей, Хопрова и Танина, которые через час сюда будут. Вы уж их видели несколько раз; они люди достойные, рассудительные, степенные и притом богаты; словом, это весьма выгодное для вас замужество... Да покиньте хоть на час свое кривлянье, жеманство, мяуканье в разговорах, кусанье и облизывание губ, полусонные глазки, журавливые шейки — одним словом, всю эту дурь, и походите хоть немножко на людей!

Лукерья. Я, право, не знаю, сударь, на каких людей хочется вам, чтоб мы походили? С тех пор как тетушка стала нас вывозить, мы сами служим образцом!

Фекла. Кажется, мадам Григри, которая была у тетушки нашу гувернанткою, ничего не упустила для нашего воспитания.

Лукерья. Уж коли тетушка об нас не пеклась, судары!.. Она выписала мадам Григри прямо из Парижа.

Фекла. Мадам Григри сама призналась, что ее родные дочери не лучше нашего воспитаны.

Лукерья. А оне, сударь, на Лионском театре первые певицы, весь партер ими не нахвалится.

Фекла. Кажется, мадам Григри всему нас научила.

Лукерья. Мы, кажется, знаем всё, что мадам Григри знает.

Велькаров (*Лукерье*). Мое терпение...

Фекла. Воля ваша, да я готова сейчас на суд, хоть в самый Париж!

Велькаров (*Фекле*). Знаешь ли ты...

Лукерья. Да сколько раз, сестрица, в магазинах принимали нас за природных француженок!

Велькаров (*Лукерье*). Добьюсь ли я?..

Фекла. А помнишь ли ты этого пригожего эмигранта, с которым встретились мы в лавке у Дюшеньши? Он и верить не хотел, чтоб мы были русские!

Велькаров (*Фекле*). Позволишь ли ты?..

Лукерья. Да, вить до какой глупости, что уверял клятвою, будто видел нас в Париже, в Пале-Рояль, и неотменно хотел проводить до дому.

Велькаров (*Лукерье*). Будет ли конец?

Фекла. Стало, благодаря мадам Григри наши манеры и наше воспитание не так-то дурны, как...

Велькаров (*схватя их обеих за руки*). Молчать! Молчать! Молчать! Тысячу раз молчать! Вот воспитание, что отцу не дадут слова вымолвить! Чем более я вас слушаю, тем более сожалею, что вверил вас любезной моей сестрице. Стыдно, сударыни, стыдно! Девушки, вы уж давно невесты, а еще ни голова ваша, ни сердце не запасено ничем, что бы могло сделать счастье честного человека. Все ваше остроумие в том, чтоб пересыпывать и пересмеивать людей, часто почтеннее себя; вся ваша ловкость — чтоб не уважать ни летами, ни достоинствами человека и делать грубости тем, кто вас старее. В чем ваше знание? Как одеться, или, лучше сказать, как раздеться, и над когою бровью поманернее развесить волосы. Какие ваши дарования? Несколько песенок из модных опер, несколько рисунков учителевой работы и неутомимость прыгать и кружиться на балах! А самое-то главное ваше достоинство то, что вы болтаете по-французски; да только уж что болтаете, того не приведи бог рассудительному человеку ни на каком языке слышать!

Фекла. В городе, сударь, нас иначе чувствуют; и когда мы ни говорим, то всякий раз около нас кружок собирается.

Лукерья. Уж кузинки ли наши, Маэтникovy, не говоруны, а и тем не досталось при нас слова сказать!

Велькаров. Да, да! Смотрите, и при гостях-то уж пощеголяйте таким болтанием, это бы уж были не первые женишки, которых вы язычком своим отпугали!

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Велькаров, Фекла, Лукерья и слуга.

Слуга. Какой-то француз просит позволения войти.

Велькаров. Спроси, кто и зачем?

Слуга уходит.

Лукерья (*тихо*). Сестрица душенька, француз!

Фекла (*тихо*). Француз, душенька сестрица, уж хоть бы взглянуть на него! Пойдем-ко!

Велькаров. Француз... ко мне? Зачем бог принес? (*Увидя, что дочери хотят уйти.*) Куда? Будьте здесь, еще насмотритесь. (*Слуге, который входит.*) Ну, что?

Слуга. Его зовут Маркиз.

Лукерья (*тихо сестре*). Сестрица душенька, маркиз!

Фекла (*так же*). Маркиз, душенька сестрица! Верно, какой-нибудь знатный!

Велькаров. Маркиз! Все равно спроси: зачем и кого ему надоально?

Слуга уходит.

Лукерья. Кабы он у нас погости!

Фекла. Я, чай, какие экипажи! Какая пышность! Какой вкус!

Велькаров. Ну!..

Слуга (входя). Его точно зовут Маркизом, по отечеству как, не знаю, а пробирается в Москву пешком.

Обе сестры. Бедный!

Велькаров. А, понимаю, это другое дело; тотчас выйду.

Слуга уходит.

Фекла. Батюшка, неужели не удержите у нас маркиза хоть на несколько дней?

Велькаров. Я русский и дворянин; в гостеприимстве у меня никому нет отказа. Жаль только, что из господ этих многие худо за то платят... да все равно!

Лукерья. Я надеюсь, что вы позволите нам говорить с ним по-французски? Если маркизу покажется здесь что-нибудь странно, то, по крайней мере, он увидит, что мы совершенно воспитаны, как должно благородным девицам.

Велькаров. Да, да! Если он по-русски не говорит, то говорите с ним по-французски, я даже этого и требую. Есть случаи, где знание языков употребить и нужно, и полезно. Но русскому с русским, кажется, всего приличнее говорить отечественным языком, которого благодаря истинному просвещению зачинают переставать стыдиться. Василиса! (Василиса входит.) Будь с ними, а я пойду и посмотрю, что за гость!

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Фекла, Лукерья, Даша и няня Василиса.

Лукерья. Сестрица! Я, чай, мы уроды уродами! Посмотри, что за платье, что за рукавчики... как мы маркизу покажемся?

Фекла. Накинем хоть шали. Даша! Даша!

Даша. Чего изволите?

Лукерья. Принеси мне поскорее пунцовую шаль.

Фекла. А мне мою полосатую.

Даша. Тотчас! (Хочет уйти.)

Лукерья. Даша! постой!.. Сестрица, полно, носят ли уже в Париже шали?

Фекла. Нет, нет, останемся лучше так. Даша, дай румяны. (*Даша исполняет приказание.*) Кажется, в Париже румянятся. Нарумянь меня, миленькая сестрица!

Лукерья. А ты между тем растрепли мне хорошенъко на голове.

Они услуживают друг другу.

Даша. Что с ними сделалось?

Фекла. Как бы нам его принять? Как будто мы ничего не знаем!.. Займемся работой.

Лукерья. Даша! Подай нам какую-нибудь работу... Зашпиль мне тут, сестрица... так... немножко более плеча открай.

Даша. Да какую работу, сударыня? Вы никогда ничего не работаете, разве кликнуть людей да втащить наши пальцы... Ну, право, они одурели!

Лукерья. Ох нет! Их не надо! Знаешь ли что, сестрица: сядем, как будто мы что-нибудь читали. (*Бросаются в кресла.*)

Фекла. Ах, это прекрасно!.. Даша, дай нам две книжки. Сестрица, миленькая, надвинь мне хорошенъко волосы на левый глаз!

Лукерья. Так?

Фекла. Постой-ка, нет! Нет, еще, чтоб я им ничего не видела... очень хорошо... Даша, что же книги?

Даша. Книги, сударыня? Да разве вы забыли, что у вас только и книг было, что модный журнал, и тот батюшка приказал выбросить; а из его библиотеки книг вы не читаете, да и ключ у него... Няня Василиса, скажи, право, не помешались ли они?

Василиса. И, мать моя! Бог с тобою; они все в одном разуме.

Фекла. Нет, эдак неловко: лучше встанем, сестрица! Посмотри-ко, как я присяду. (*Приседает низко и степенно.*) А! Маркиз!.. Хорошо так?

Лукерья. Нет, нет, это принужденно-учтиво; надо так, как будто мы век были знакомы! Мы лучше чуть кивнем. (*Приседает скоро и кивает головою.*) Ах! Маркиз!.. Вот так!

Даша. Комедию, что ль, они хотят играть? Да что такое сделалось, сударыня? Что за суматоха?

Фекла. К нам приехал из Парижа знатный человек, маркиз.

Лукерья. Он будет у нас гостить... Даша, ты, чай, сроду маркизов не видала?

Фекла. Ах, миленькая сестрица! Если б он не говорил по-русски!

Лукарья. Фи! Душа моя! Какой глупый страх! Он, верно, в Париже весь свой век был в лучших обществах!

Фекла. Когда я воображу, что он из Парижа, что он маркиз, так сердце бьется, а я в такой радости, в такой радости: je ne saurais vous exprimer¹.

Василиса. Матушка, Фекла Ивановна, извольте радоваться по-русски!

Лукарья. Добро, няня Василиса, недолго тебе нас мучить: назло тебе наговоримся мы по-французски досыта — нам батюшка позволил.

Василиса. Его господская воля, мои красавицы!

Даша (особо). Что за гости! что за маркиз! (Увидя Семена.) Ах, это негодный Семен! Боже мой, что такое он затеял?

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Фекла, Лукарья, Даша, няня Василиса, Велькаров и Семен во фраке.

Велькаров. Хоть, кажется, у нас мирно и никаких грабежей не слыхать, но ничего нет невозможного; мы тотчас дадим знать, куда должно, и все способы будут употреблены сыскать воров и возвратить вам ваши вещи и ваши бумаги. Вы между тем останьтесь у меня, отдохните и потом, коли время не терпит, отправьтесь в ваш путь. Вы не будете раскаиваться, что ко мне зашли. Но помните твердо наше условие: ни слова по-французски.

Даша (особо). Да он ни бельмеса и не знает!

Семен. Милостивий государь, я стану сохранять ваше повеление так свято, как будто бы я ни слова не умел по-французски, тем более, что, живши прежде время долго в России, я довольно изрядно говорю по-русски, хотя теперь я и прямо из Парижа.

Даша. О плут!

Фекла. Боже мой, сестрица! Он по-русски умеет!

Лукарья. Надо быть нашему несчастию, я думаю, назло нам, судьба всех французов по-русски переучит.

Велькаров. Оставьте излишние церемонии! Мы здесь в деревне, вот мои дочери; останьтесь пока с ними, а я пойду и прикажу для вас комнату очистить; да только помните: ни слова по-французски!

¹ Я не могу вам высказать (фр.).

Семен. Я не выступлю из воли вашей. (Особо.) Хоть бы и хотел, да не могу. (Откланивается очень учтиво Велькарову.)

Фекла (*тихо сестре*). Сестрица душенька! Видно, в Париже теперь учтивы: присядем пониже.

Приседают очень низко и перекланиваются с Семеном. <...>

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Фекла, Лукерья, Даша, няня Василиса и Сидорка
(несет платье).

Сидорка. Петровна! Какой у нас француз, который по-русски говорит?

Няня Василиса (*указывая на Семена*). Вот он, мой батюшка!

Лукерья. Неуч! Да говори вежливее!

Фекла. Извините его, маркиз! Куда ты глуп, Сидорка! иу простительно ли говорить так грубо: француз! француз! не мог ты сказать учтивее?

Сидорка. Виноват, сударыня! Я не знал, что это бранное слово; только, воля ваша, барин не в брань изволил его сказать, а, напротив того, он хочет уже показывать, как чудо, француза, который по-русски говорит почти так чисто, как наш брат, крещеный, и для того прислал к нему с своего плеча новую пару платья да двести рублей денег и велел, чтоб он неотменно теперь же оделся.

Даша (*особо*). Помоги, любовь, моему маркизу!

Семен (*особо*). Ура! маркиз! (*Сидорке*) Скажи, мой друг, своему господину, что маркиз его благодарит.

Лукерья. Ах боже мой! Что это значит? Право, батюшка выходит из благопристойности! Взгляните, маркиз, что за кафтан: я думаю, на нем одних галунов полпуда! Поди, поди вон с платьем!

Семен. Полпуда! Нет, нет, надобно иногда угождать старым людям.

Фекла. Нет, маркиз, коли в батюшке нет человечества, так по крайней мере мы жить умеем. Поди, Сидорка, вон с платьем! Оно вас задавит!

Семен. Нет, нет, постой, слуга! О мучительницы, они грабят меня.

Лукерья. Вы шутите, маркиз! это бы было убийство!

Фекла. Это грех, беззаконие! Поди, Сидорка, вон!

Семен (схватя за платье). Позвольте мне, сударыня, этот грех на себя взять! (Берет платье.)

Даша. И подлинно, сударыни, неровно батюшка прогневается; войдите, маркиз, в эту боковую комнату, вы тут можете одеться.

Лукерья. Право, нам стыдно, маркиз!

Семен. Вы увидите, сударини, что я во всяком кафтане тот же я. (Сидорке.) Пойдем, слуга! Голубчик кафтан, чуть было нас не разлучили! <...>

ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

Даша, потом Семен, разряженный в Велькарова кафтан и распудренный, и Сидорка.

Семен. Ну да, приятель, ты и в расходную свою книгу запишешь, что двести рублей изволил принять маркиз, то есть я; скажи, девушка, где твои барышни?

Даша. Тотчас выдут, маркиз! Они просят, чтоб вы их подождали.

Сидорка. Ну да коли маркиз-то чин, так как же прозванье-то ваше? вить мне надо толком записать и показать барину, а он и так ворчит, что я не умею порядком в расход занести.

Семен. Мое прозвание! прозвание... Послушай, девушка! (Тихо.) Даша, не помнишь ли ты какого-нибудь французского прозвания? злодей мучит меня уже час, а на ветер сказать боюсь, чтоб старику себя не оболгать.

Даша. Хоть убей, право, ни одного не помню; смотри, Семен, не напутай на себя!

Сидорка. Так, уже ничего не видя, и к девкам нашим изволит подлизать! Что ж, сударь, мусье маркиз, как ваше прозвание?

Семен. Прозвание? стало, это надобно? (Тихо.) Дай бог памяти! Даша, да помоги.

Даша. Будто я знакома с маркизами? Кроме похождения маркиза Глаголь, которого третий том у меня в сундуке валяется, я ни одного маркиза не знаю.

Семен. Славно! Чего этого лучше? (Громко.) Так ты, миленькая девушка, будешь чинить мои манжеты?

Сидорка (особо). Вот дурака нашел! чинить манжеты! мне, сударь, право, некогда; скажите, как вас зовут?

Семен (гордо). Меня как зовут? Изволь, мой друг: меня зовут маркиз Глаголь!

Сидорка. Маркиз Глаголь!

Даша. С ума ты сошел!

Семен (Даше). Коль есть печатный маркиз Глаголь, для чего не быть живому? да, да, маркиз Глаголь, не забудь, приятель, и запиши, что деньги изволил полушить маркиз Глаголь.

Сидорка. Маркиз Глаголь! слушаю! Глаголь... Право, чудно... маркиз Глаголь!.. ахти, мои батюшки, ну ни дать, ни взять, будто из русской азбуки! <...>

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

Фекла, Лукерья, Даша и Семен.

Лукерья. Дашенька, поди на крыльцо и стереги, как скоро приедут Хопров и Танин, прелестные наши женишки, отдав им эти письма, а мы здесь поговорим с маркизом.

Фекла. Не прогляди же их!

Даша. Как! вы без няни Василисы?

Лукерья (хочет). Мы ее заперли в нашей комнате; поди отсель.

Даша. Я, право, боюсь...

Лукерья. Ох, поди же!

Даша. Если батюшка...

Фекла. Ну, что ты привязалась, как няня Василиса, поди, коли говорят!

Даша. Беды, совсем беды, поскорей побежать его выручить!

ЯВЛЕНИЕ СЕМНАДЦАТОЕ

Прежние, Велькаров и Даша.

Даша. Я божусь вам, сударь, что я не знала ни намерения барышень, ни того, что на письме написано; они сами это скажут.

Велькаров. Бесстыдные! безумные! долго ли вам мучить меня своими дурачествами? Что значат эти письма, которые взял я у нее (указывая на Дашу) и в которых вы изволите так грубо Хопрову и Танину запрещать ездить ко мне в дом?

Лукерья. Воля ваша, батюшка, мы не хотим, чтоб они и надежду имели на нас жениться.

Фекла. Ах, не унижайте нас!

Велькаров. Что, что вы, сумасшедшие! да они благородные, молодые и достойные люди.

Лукерья. Ах, сударь, если б они были люди, они бы хоть немножко походили на маркиза.

Велькаров. Это что еще?

Фекла (*на коленях*). Не будьте так жестоки, не заглушайте в нас благородных чувств; и если уж одна из нас должна носить русское имя, то позвольте хотя другой надеяться лучшего счастья.

Лукерья (*на коленях*). Не будьте неумолимы! ужели для вас не привлекательно иметь родню в самом Париже?

Велькаров. Встаньте, встаньте! Боже мой, какое мученье! вас точно надо запереть. (*Особо.*) Мой дорогой гость успел вскружить им голову. Я вас проучу!

ЯВЛЕНИЕ ПОСЛЕДНЕЕ

Фекла, Лукерья, Велькаров, Даша, Семен, няня Василиса и Сидорка.

Сидорка. Деньги, сударь, в расход занес. (*Семену.*)
Маркиз Глаголь, ваша комната готова.

Велькаров. Маркиз Глаголь!

Фекла. Опомнись, Сидорка!

Лукерья. Вот наши русские порядочного имя не могут затвердить.

Сидорка. Да помилуйте, я ль ему дал имя? Его милость давича приказал и в книгу себя занести так. Даша, вить при тебе?

Даша (*в смущении*). Я? Когда? давича? я что-то не помню!

Велькаров (*особо*). Ба, и Даша в замешательстве! Тут, верно, есть обман! Так вас называют маркиз Глаголь?

Семен. Милостивый государь, я удивляюсь, что это вас удивляет.

Велькаров. Господин маркиз Глаголь, ты плут!

Семен. Я не смею спорить с вашей почтенной фигурой.

Лукерья. Батюшка, можно ли так обижать знатного человека!

Фекла. Помилуйте, вы обесславите себя по всей Франции.

Велькаров. Мы посмотрим его на первом опыте. Господин маркиз, я позволяю или, лучше сказать, я требую, чтоб ты дочерям моим при мне рассказал по-французски жалкое приключение, как тебя в лесу ограбили.

Даша. Прощай, маркизство!

Лукерья. Ах, какое счастье!

Семен. Милостивый государь..

Велькаров. Посмотри-ко, ты уже чище по-русски стал выговаривать, скоренько научился!

Семен. Милостивый государь...

Фекла. Ах! говорите, говорите, маркиз.

Велькаров. Ну, говори ж, маркиз Глаголы!

Семен (на коленях). Ах, сударь!

Велькаров. Полно, полно! не стыдно ль знатному человеку так унижаться! Изволь рассказывать, пусть дочери мои послушают французского языка.

Няня Василиса (подходя к Семену). Уже, мой батюшка, позволь и мне послушать, куды давно хотелось.

Семен. Ах! Простите кающегося грешника. Я, сударь... ах! я не маркиз, я, сударь... ах! я и не француз, а просто вольный человек, служу у господина, который, проездом в армию, остановился в вашей деревне, и зовут меня Сенькой!

Лукерья. Бездельник! и ты мог...

Семен. Виноват, сударь, страстная любовь сделала меня маркизом.

Даша (на коленях). Простите нас, сударь!

Велькаров. А ты, Даша, тут же?

Семен. Ах, сударь, мы уже давно любим друг друга, и нам не на что жениться, не могли ничего достать с русским именем, употребил я невинную хитрость и назвался маркизом; но я, право, не участник в отказе, который барышни сделали своим женихам.

Велькаров. Нет, нет! твоя спина дорого мне за это заплатит; вот, госпожи дочки, следствие вашего ослепления ко всему, что только иностранное! Кто меня уверит, чтоб и в городе, в ваших прелестных обществах, не было маркизов такого же покрою, от которых вы набираетесь и ума и правил. <...>

1807



Обдумаем прочитанное

1. Почему своих героинь И. А. Крылов назвал простонародными именами?

2. Какое мнение сложилось у вас о Велькарове, его дочках, Семене и Даше?

3. Что высмеивает в комедии Крылов? Чем она близка к комедии Мольера? Чем различаются стремления и желания господина Журдена и героинь Крылова?

◆ 4. Назовите достойные осмеяния черты героев Мольера и Крылова, нередко встречающиеся и в наши дни.

5. Подготовьте с товарищами выразительное чтение сцен из комедии по ролям.



ЗАВЕРШАЯ РАЗДЕЛ ХРЕСТОМАТИИ...

Проектное задание

(продолжение и углубление работы над темой «Перекличка эпох» — осмеяние стремления «не быть», а «казаться»)

Подготовить школьный спектакль по русской и зарубежной комедии.

Этапы работы:

1. Прочитать (перечитать) близкие по теме драматические произведения: «Смешные жеманницы», «Мещанин во дворянстве» Мольера, «Модная лавка», «Урок дочкам» Крылова, «Бригадир» Фонвизина.

2. Обсудить в классе, какую комедию или сцены из нее включить в школьный спектакль.

3. Решить, кто будет участвовать в спектакле в качестве актеров, режиссера, художников, костюмеров, бутафора, ведущих (в задачу которых входит выступление с краткими сообщениями об авторе комедии, его произведениях).

4. Уточнить, какие книги, портреты, материалы для сцены и зрительного зала нужны и к кому обратиться за помощью.

5. Определить порядок и содержание репетиций.

6. Поставить спектакль.

7. Подготовить письменные или устные отзывы о спектакле, обсудить их в классе (и за его пределами).



В МИРЕ ФАНТАСТИКИ И ПРИКЛЮЧЕНИЙ. ТЕМА БУДУЩЕГО



Реальная жизнь немногим отличается
от хорошей фантастической сказки.

М. Горький

Всеволод РОЖДЕСТВЕНСКИЙ¹ (1895—1977) НАД КНИГОЙ

Снова в печке огонь шевелится,
Кот клубочком свернулся в тепле,
И от лампы зеленої ложится
Ровный круг на вечернем столе.

Вот и кончены наши заботы —
Спит задачник, закрыта тетрадь.
Руки тянутся к книге. Но что ты
Будешь, мальчик, сегодня читать?

Хочешь, в дальние синие страны,
В пенье выюги, в тропический зной
Поведут нас с тобой капитаны,
На штурвал налегая тугой?

¹ Рождественский Всеволод Александрович — русский поэт и переводчик, участник гражданской и Великой Отечественной войн, автор стихотворений, мемуаров, оперных либретто, популярных литературоведческих работ.

Зорок взгляд их, надежны их руки,
И мечтают они лишь о том,
Чтоб пройти им во славу науки
Неизведанным прежде путем.

Сжаты льдом, без огня и компаса,
В полумраке арктических стран,
Мы спасем чудака Гаттераса,
Перейдя ледяной океан...

И без помощи карт и секстанта¹,
С полустертой запиской в руке,
Капитана, несчастного Гранта
На безвестном найдем островке...

Что прекрасней таких приключений,
Что заманчивей смелых побед,
Дальних странствий, счастливых крушений,
Перелетов меж звезд и комет!

И, прочитанный том закрывая,
Благодарно сходя с корабля,
Ты увидишь, мой мальчик, какая,
Тайны полная ждет нас земля!..

¹ Секстант — астрономический инструмент, с помощью которого определяют местонахождение корабля в открытом море.

**Антуан
де СЕНТ-
ЭКЗЮПЕРИ**
(1900—1944)



Смысл жизни в том, на что она потрачена.

А. Сент-Экзюпери

Жизнь Антуана де Сент-Экзюпери можно уподобить сказке. Детство Антуана протекало на свободе, в таинственной и сказочной атмосфере старинных замков бабушек. В двенадцать лет он изобретал аэроплан-велосипед и заявлял, что взлетит в небо. В семье его называли Король Солнце из-за белокурых волос, венчающих голову. Он уже тогда был Маленьким принцем, надменным и рассеянным, восторженным и любознательным, всегда радостным и бесстрашным. Мать Антуана, талантливая рассказчица и живописец, мудрая воспитательница и задушевный друг своих детей, окружила их любовью и создала тот поэтический мир детства, который на всю жизнь остался самым светлым, счастливым и сокровенным воспоминанием писателя. Он говорил: «Я пришел из детства, как из страны».

Не сразу выбрал Антуан свою будущую профессию летчика. Но, избрав, отдался ей со всей страстью. Род занятий определил не только его жизнь, но и писательскую судьбу. Его книги о летчиках «Ночной полет» (1931), «Пилот и стихии» (1938), «Планета людей» (1939), «Военный летчик» (1942) родились под пером человека, для которого летать не просто работа, но сама поэзия жизни. Матери он писал: «Мама, я обожаю это ремесло. Вы представить себе не можете, какой покой, какое одиночество испытываешь на высоте четырех тысяч метров наедине с мотором. И потом это чудесное товарищество внизу, на земле. Лежишь на траве в ожидании своей очереди.

Следишь глазами за товарищем, летающим на самолете, которого дожидаешься сам, и рассказываешь истории. Все они волшебные. Про вынужденные посадки в чистом поле <...> и про бесчисленные сказочные приключения. Почти все они выдумываются тут же на месте, но ими восторгаются, и, когда ты, в свою очередь, садишься в самолет и отрываешься от земли, ты настроен самым романтическим образом...» (1923). Авиация тогда еще только зарождалась. И у истоков авиалиний, которые с риском для жизни прокладывали смельчаки, значилось имя Сент-Экзюпера.

В течение многих лет он работал в компании «Аэропосталь» и жил там, где требовала служба: во Франции, в Африке, в Южной Америке. А к родным из разных мест приходили письма: «Мамочка! Какую монашескую жизнь я веду! В самом затерянном уголке Африки, в сердце Испанской Сахары... Я приручил хамелеона. Мое здешнее амплуа — приручать. Это мне к лицу, и слово это красивое» (1927); «Я воспитываю лисенка-фенека, — зовется также лисой-одиночкой. Он меньше кошки, и у него огромные уши. Он очарователен... К сожалению, он дик, как хищный зверь, и рычит, как лев...» (1928).

Множество раз Сент-Экс, как звали его друзья-летчики, спасал их, потерпевших аварию над пустыней или в горах. Сам потерпел полтора десятка аварий. Не раз был на краю гибели, испытывал тяжкие страдания. Самой тяжелой была авария в Ливийской пустыне 29 декабря 1935 года. Самолет разбит, воды — несколько глотков. Сент-Экс и его механик Прево, изможденные, в течение трех дней блуждали по пустыне, пройдя за это время более 150 километров, пока волею случая не попали на караванный путь. Здесь их, умирающих, подобрали арабы.

Когда началась война и Францию оккупировали фашисты, Экзюпери добился назначения в эскадрилью разведчиков. Другу написал: «Ты хорошо знаешь, что я не люблю войну, но для меня невыносимо оставаться в тылу, когда другие рисуют жизнью... Не могу вынести мысли о том, что поколения французских детей будут поглощены немецким Молохом¹... Мне всегда была ненавистна роль наблюдателя. Что же я такое, если я не принимаю участия. Чтобы быть, я должен участвовать. Все, что мне дорого, — под угрозой... Я хочу участвовать в войне во имя любви к людям...» За долгую жизнь гражданина, а потом и военного летчика Сент-

¹ Молох — финикийское божество, которому приносили человеческие жертвы; знак жестокой, неумолимой силы.

Экзюпери получил столько ранений и увечий, что теперь не мог сам, без помощи товарищей, натянуть комбинезон, забраться в кабину самолета, но за штурвалом становился мастером высшего пилотажа. В его письмах и бумагах повторяется рисунок: маленький мальчик то с крылышками, то без них, стоя на облаке, при свете солнца внимательно разглядывает Землю. Рисунок Сент-Экзюпери назвал «Воздушная разведка». Возможно, так зарождался замысел знаменитой сказки «Маленький принц». Он создавал эту сказку в 1942 году в Нью-Йорке на творческом подъеме и с увлечением сам иллюстрировал ее, заставляя порой позировать приятелей, чтобы добиться выразительности и пластичности рисунка. Зимы в Нью-Йорке довольно суровые, но Антуан выходил на улицу без пальто и шляпы, в одном пиджачке, со старым теплым шарфом вокруг шеи. Маленького принца он изображал на своих рисунках с таким же развевающимся шарфом. В Нью-Йорке сказка и была впервые напечатана на английском языке в 1943 году — она стала последним произведением писателя.

31 июля 1944 года Сент-Экзюпери не вернулся с боевого задания. Оно состояло в аэрофотосъемке объектов вблизи Лиона — города, недалеко от которого прошло его детство. М. Мижо, автор биографической книги о Сент-Экзюпери, переведенной на русский язык, пишет: «Около 13 часов ожидается возвращение Сент-Экса. 13 часов. Среди собравшихся слышатся шутливые возгласы:

- Он сбился с пути!
- Заснул за штурвалом!
- Дочитывает какой-нибудь детектив!

Люди пытаются за зубоскальством скрыть нарастающее беспокойство».

Кучка людей на летном поле все росла. Запаса горючего в самолете было на шесть часов. Это время истекло. Но он не ушел из этого мира бесследно, он говорил: «Ищите меня в том, что я пишу».

МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ

(Избранные главы¹)

Леону Верту

Прошу детей простить меня за то, что я посвятил эту книжку взрослому. Скажу в оправдание: этот взрослый — мой самый лучший

¹ Композиция М. А. Снежневской.

друг. И еще: он понимает все на свете, даже детские книжки. И, наконец, он живет во Франции, а там сейчас голодно и холодно. И он очень нуждается в утешении. Если же все это меня не оправдывает, я посвящу эту книжку тому мальчику, каким был когда-то мой взрослый друг. Ведь все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит. Итак, я исправляю посвящение:

*Леону Верту,
когда он был маленьким*

II

<...>И вот шесть лет тому назад пришлось мне сделать вынужденную посадку в Сахаре. Что-то сломалось в моторе моего самолета. Со мной не было ни механика, ни пассажиров, и я решил, что попробую сам все починить, хоть это и очень трудно. Я должен был исправить мотор или погибнуть. Воды у меня едва хватило бы на неделю.

Итак, в первый вечер я уснул на песке в пустыне, где на тысячи миль вокруг не было никакого жилья. Человек, потерпевший кораблекрушение и затерянный на плоту посреди океана, — и тот был бы не так одинок. Вообразите же мое удивление, когда на рассвете меня разбудил чей-то тоненький голосок. Он сказал:

- Пожалуйста... нарисуй мне барабашка!
- А?..
- Нарисуй мне барабашка...

Я вскочил, точно надо мною грянул гром. Протер глаза. Стал осматриваться. И увидел забавного маленького человечка, который серьезно меня разглядывал. Вот самый лучший его портрет, какой мне после удалось нарисовать. Но на моем

рисунке он, конечно, далеко не так хорош, как был на самом деле. Это не моя вина. Когда мне было шесть лет, взрослые убедили меня, что художник из меня не выйдет, и я ничего не научился рисовать, кроме удавов — снаружи и изнутри.

Итак, я во все глаза смотрел на это необычайное явление. Не забудьте, я находился за тысячи миль от человеческого жилья. А между тем ничуть не похоже было, чтобы этот малыш заблудился, или до смерти устал и напуган, или умирает от голода и жажды. По его виду



никак нельзя было сказать, что это ребенок, потерявшийся в необитаемой пустыне, вдалеке от всякого жилья. Наконец ко мне вернулся дар речи, и я спросил:

— Но... что ты здесь делаешь?

И он опять попросил тихо и очень серьезно:

— Пожалуйста... нарисуй барашка...

Все это было так таинственно и непостижимо, что я не посмел отказаться. Как ни нелепо это было здесь, в пустыне, на волосок от смерти, я все-таки достал из кармана лист бумаги и вечное перо. Но тут же вспомнил, что учился-то я больше географии, истории, арифметике и правописанию, и сказал малышу (немножко даже сердито сказал), что не умею рисовать. Он ответил:

— Все равно. Нарисуй барашка.

Так как я никогда в жизни не рисовал баранов, я повторил для него одну из двух старых картинок, которые я только и умею рисовать, — удава снаружи. И очень изумился, когда малыш восхликал:

— Нет, нет! Мне не надо слона в удаве! Удав слишком опасен, а слон слишком большой. У меня дома все очень маленькое. Мне нужен барашек. Нарисуй барашка.

И я нарисовал.



Он внимательно посмотрел на мой рисунок и сказал:

— Нет, этот барашек уже совсем хилый. Нарисуй другого. Я нарисовал.



Мой новый друг мягко, снисходительно улыбнулся.

— Ты же сам видишь, — сказал он, — это не барашек. Это большой баран. У него рога...

Я опять нарисовал по-другому.



Но он и от этого рисунка отказался:

— Этот слишком старый. Мне нужен такой барашек, чтобы жил долго.

Тут я потерял терпение — ведь мне надо было поскорей разобрать мотор — и нацарапал ящик.



И сказал малышу:

— Вот тебе ящик. А в нем сидит такой барашек, какого тебе хочется.

Но как же я удивился, когда мой строгий судья вдруг просиял:

— Вот это хорошо! Как ты думаешь, много этому барашку надо травы?

— А что?

— Ведь у меня дома всего очень мало...

— Ему хватит. Я тебе даю совсем маленького барашка.

— Не такой уж он маленький... — сказал он, наклонив голову и разглядывая рисунок. — Смотри-ка! Он уснул...

Так я познакомился с Маленьким принцем.

III

Не скоро я понял, откуда он явился. Маленький принц засыпал меня вопросами, но когда я спрашивал о чем-нибудь, он словно и не слышал. Лишь понемногу, из случайных, мимоходом оброненных слов мне все открылось. Так, когда он впервые увидел мой самолет (самолет я рисовать не стану, мне все равно не справиться), он спросил:

— Что это за штука?

— Это не штука. Это самолет. Мой самолет. Он летает.

И я с гордостью объяснил ему, что умею летать. Тогда он воскликнул:

— Как! Ты упал с неба?

— Да, — скромно ответил я.

— Вот забавно!..

И Маленький принц звонко засмеялся, так что меня взяла досада: я люблю, чтобы к моим злоключениям относились серьезно. Потом он прибавил:

— Значит, ты тоже явился с неба.
А с какой планеты?

«Так вот разгадка его таинственного появления здесь, в пустыне!» — подумал я и спросил напрямик:

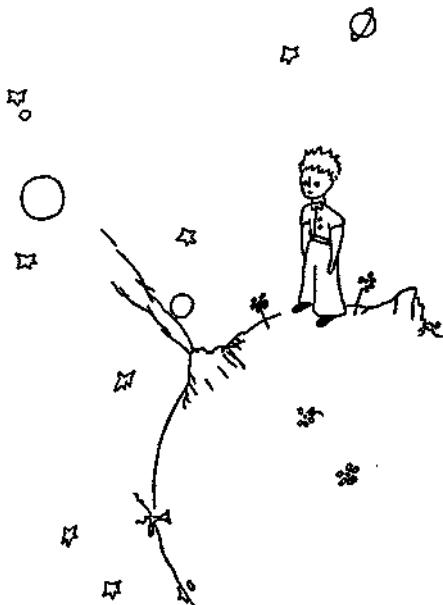
— Стало быть, ты попал сюда с другой планеты?

Но он не ответил. Он тихо покачал головой, разглядывая мой самолет:

— Ну, на этом ты не мог прилететь издалека...

И надолго задумался о чем-то. Потом вынул из кармана моего барашка и погрузился в созерцание этого сокровища.

Можете себе представить, как разгорелось мое любопытство от этого полузнания о «других планетах». И я попытался разузнать побольше:



— Откуда же ты прилетел, малыш? Где твой дом? Куда ты хочешь унести моего барашка?

Он помолчал в раздумье, потом сказал:

— Очень хорошо, что ты дал мне ящик: барашек будет там спать по ночам.

— Ну конечно. И если ты будешь умницей, я дам тебе веревку, чтобы днем его привязывать. И колышек.

Маленький принц нахмурился:

— Привязывать? Для чего это?

— Но ведь если ты его не привяжешь, он забредет неведомо куда и потеряется.

Тут мой друг опять весело рассмеялся:

— Да куда же он пойдет?

— Мало ли куда? Все прямо, прямо, куда глаза глядят.

Тогда Маленький принц сказал серьезно:

— Это не страшно, ведь у меня там очень мало места.

И прибавил не без грусти:

— Если идти все прямо да прямо, далеко не уйдешь...

IV

Так я сделал еще одно важное открытие: его родная планета вся-то величиной с дом!

Впрочем, это меня не слишком удивило. Я знал, что, кроме таких больших планет, как Земля, Юпитер, Марс, Венера, существуют еще сотни других и среди них такие маленькие, что их даже в телескоп трудно разглядеть. Когда астроном открывает такую планетку, он дает ей не имя, а просто номер. Например: астероид 3251.

У меня есть серьезные основания полагать, что Маленький принц прилетел с планетки, которая называется «астероид Б-612». Этот астероид был замечен в телескоп лишь один раз, в 1909 году, одним турецким астрономом. <...>

VI

О Маленький принц! Понемногу я понял также, как печальна и однообразна была твоя жизнь. Долгое время у тебя было лишь одно развлеченье: ты любовался закатом. Я узнал об этом наутро четвертого дня, когда ты сказал:

— Я очень люблю закат. Пойдем посмотрим, как заходит солнце.

— Ну, придется подождать.



— Чего ждать?

— Чтобы солнце зашло.

Сначала ты очень удивился, а потом засмеялся над собою и сказал:

— Мне все кажется, что я у себя дома!

И в самом деле. Все знают, что, когда в Америке полдень, во Франции солнце уже заходит. И если бы за одну минуту перенестись во Францию, можно было бы полюбоваться закатом. К несчастью, до Франции очень, очень далеко. А на твоей планете тебе довольно было передвинуть стул на несколько шагов. И ты снова и снова смотрел на закатное небо, стоило только захотеть...

— Однажды я за один день видел заход солнца сорок три раза!

И немножко погодя ты прибавил:

— Знаешь... когда станет очень грустно, хорошо поглядеть, как заходит солнце...

— Значит, в тот день, когда ты видел сорок три заката, тебе было очень грустно?

Но Маленький принц не ответил.

VII

На пятый день, опять-таки благодаря барабашку, я узнал секрет Маленького принца. Он спросил неожиданно, без предисловий, точно пришел к этому выводу после долгих молчаливых раздумий:

- Если барашек ест кусты, он и цветы ест?
- Он ест все, что попадется.
- Даже такие цветы, у которых шипы?
- Да, и те, у которых шипы.
- Тогда зачем шипы?

Этого я не знал. Я был очень занят: в моторе заело один болт, и я старался его отвернуть. Мне было не по себе, положение становилось серьезным, воды почти не осталось, и я начал бояться, что моя вынужденная посадка плохо кончится.

- Зачем нужны шипы?

Задав какой-нибудь вопрос, Маленький принц никогда не отступался, пока не получал ответа. Неподатливый болт выводил меня из терпения, и я ответил наобум:

— Шипы ни за чем не нужны, цветы выпускают их просто от злости.

- Вот как!

Наступило молчание. Потом он сказал почти сердито:

— Не верю я тебе! Цветы слабые. И простодушные. И они стараются придать себе храбрости. Они думают — если у них шипы, их все боятся...

Я не ответил. В ту минуту я говорил себе: «Если этот болт и сейчас не поддастся, я так стукну по нему молотком, что он разлетится вдребезги». Маленький принц снова перебил мои мысли:

- А ты думаешь, что цветы...

— Да нет же! Ничего я не думаю! Я ответил тебе первое, что пришло в голову. Ты видишь, я занят серьезным делом.

Он посмотрел на меня в изумлении:

- Серьезным делом?!

Он все смотрел на меня: перепачканный смазочным маслом, с молотком в руках, я наклонился над непонятным предметом, который казался ему таким уродливым.

- Ты говоришь, как взрослые! — сказал он.

Мне стало совестно. А он беспощадно прибавил:

- Все ты путаешь... ничего не понимаешь!

Да, он не на шутку рассердился. Он тряхнул головой, и ветер растрепал его золотые волосы.

— Я знаю одну планету, там живет такой господин с багровым лицом. Он за всю свою жизнь ни разу не понюхал цветка. Ни разу не поглядел на звезду. Он никогда никого не любил. И никогда ничего не делал. Он занят только одним: он складывает цифры. И с утра до ночи твердит одно: «Я человек

серъезный! Я человек серьезный! — совсем как ты. И прямо раздувается от гордости. А на самом деле он не человек. Он гриб.

— Что?

— Гриб!

Маленький принц даже побледнел от гнева.

— Миллионы лет у цветов растут шипы. И миллионы лет барашки все-таки едят цветы. Так неужели же это не серьезное дело — понять, почему они изо всех сил стараются отрастить шипы, если от шипов нет никакого толку? Неужели это не важно, что барашки и цветы воюют друг с другом? Да разве это не серьезнее и не важнее, чем арифметика толстого господина с багровым лицом? А если я знаю единственный в мире цветок, он растет только на моей планете, и другого такого больше нигде нет, а маленький барашек в одно прекрасное утро вдруг возьмет и съест его и даже не будет знать, что он натворил? И это все, по-твоему, не важно?

Он сильно покраснел. Потом снова заговорил:

— Если любишь цветок — единственный, какого больше нет ни на одной из многих миллионов звезд, этого довольно: смотришь на небо и чувствуешь себя счастливым. И говоришь себе: «Где-то там живет мой цветок...» Но если барашек его съест, это все равно как если бы все звезды разом погасли! И это, по-твоему, не важно!

Он больше не мог говорить. Он вдруг разрыдался. Стемнело. Я бросил работу. Мне смешны были злополучный болт и молоток, жажда и смерть. На звезде, на планете — на моей планете по имени Земля — плакал Маленький принц, и надо было его утешить. Я взял его на руки и стал баюкать. Я говорил ему: «Цветку, который ты любишь, ничто не грозит... Я нарисую твоему барашку намордник... Нарисую для твоего цветка броню... Я...» Я плохо понимал, что говорил. Я чувствовал себя ужасно неловким и неуклюжим. Я не знал, как позвать, чтобы он услышал, как догнать его душу, ускользающую от меня... Ведь она такая таинственная и неизведанная, эта страна слез.

VIII

Очень скоро я лучше узнал этот цветок. На планете Маленького принца всегда росли простые, скромные цветы — у них было мало лепестков, они занимали совсем мало места и никого не беспокоили. Они раскрывались поутру в траве и под вечер увядали. А этот пророс однажды из зерна, занесенного

неведомо откуда, и Маленький принц не сводил глаз с крохотного ростка, не похожего на все остальные ростки и былинки. Вдруг это какая-нибудь новая разновидность баобаба? Но кустик быстро перестал тянуться ввысь, и на нем появился бутон. Маленький принц никогда еще не видел таких огромных бутонов и предчувствовал, что увидит чудо. А неведомая гостья, еще скрытая в стенах своей зеленой комнатки, все готовилась, все прихорашивалась. Она заботливо подбирала краски. Она наряжалась неторопливо, один за другим примеряя лепестки. Она не желала явиться на свет встрепанной, точно какой-нибудь мак. Она хотела показаться во всем блеске своей красоты. Да, это была ужасная кокетка! Таинственные приготовления длились день за днем. И вот наконец, однажды утром, едва взошло солнце, лепестки раскрылись.

И красавица, которая столько трудов положила, готовясь к этой минуте, сказала, позевывая:

— Ах, я насили проснулась... Прошу извинить... Я еще совсем растрепанная...

Маленький принц не мог сдержать восторга:

— Как вы прекрасны!

— Да, правда? — был тихий ответ. — И заметьте, я родилась вместе с солнцем.

Маленький принц, конечно, догадался, что удивительная гостья не страдает избытком скромности, зато она была так прекрасна, что дух захватывало!

А она вскоре заметила:

— Кажется, пора завтракать. Будьте так добры, позаботьтесь обо мне...

Маленький принц очень смущился, разыскал лейку и полил цветок ключевой водой.

Скоро оказалось, что красавица горда и обидчива, и Маленький принц совсем с нею измучился. У нее было четыре шипа, и однажды она сказала ему:

— Пусть приходят тигры, не боюсь я их когтей!

— На моей планете тигры не водятся, — возразил Маленький принц. — И потом, тигры не едят траву.

— Я не трава, — обиженно заметил цветок.

— Простите меня...

— Нет, тигры мне не страшны, но я ужасно боюсь сквозняков. У вас нет ширмы?

«Растение, а боится сквозняков... очень странно... — подумал Маленький принц. — Какой трудный характер у этого цветка».

— Когда настанет вечер, накройте меня колпаком. У вас тут слишком холодно. Очень неуютная планета. Там, откуда я прибыла...

Она не договорила. Ведь ее занесло сюда, когда она была еще зернышком. Она ничего не могла знать о других мирах. Глупо лгать, когда тебя так легко уличить! Красавица смущалась, потом кашлянула раз-другой, чтобы Маленький принц почувствовал, как он перед нею виноват:

— Где же ширма?

— Я хотел пойти за ней, но не мог же я вас не дослушать!

Тогда она закашляла сильнее: пускай его все-таки помучит совесть!

Хотя Маленький принц и полюбил прекрасный цветок и рад был ему служить, но вскоре в душе его пробудились сомнения. Пустые слова он принимал близко к сердцу и стал чувствовать себя очень несчастным.

— Напрасно я ее слушал, — доверчиво сказал он мне однажды. — Никогда не надо слушать, что говорят цветы. Надо просто смотреть на них и дышать их ароматом. Мой цветок напоил благоуханием всю мою планету, а я не умел ему радоваться. Эти разговоры о когтях и тиграх... Они должны бы меня растрогать, а я разозлился...

И еще он признался:

— Ничего я тогда не понимал! Надо было судить не по словам, а по делам. Она дарила мне свой аромат, озаряла мою жизнь. Я не должен был бежать. За этими жалкими хитростями и уловками я должен был угадать нежность. Цветы так непоследовательны! Но я был слишком молод, я еще не умел любить.

IX

Как я понял, он решил странствовать с перелетными птицами. В последнее утро он старательней обычного прибрал свою планету. Он заботливо прочистил действующие вулканы. У него было два действующих вулкана. На них очень удобно по утрам разогревать завтрак. Кроме того, у него был еще один потухший вулкан. Но, сказал он, мало ли что может случиться! Поэтому он прочистил и потухший вулкан тоже. Когда вулканы



аккуратно чистишь, они горят ровно и тихо, без всяких извержений. Извержение вулкана — это все равно что пожар в печной трубе, когда там загорится сажа. Конечно, мы, люди на земле, слишком малы и не можем прочищать наши вулканы. Вот почему они доставляют нам столько неприятностей.

Не без грусти Маленький принц вырвал также последние ростки баобабов. Он думал, что никогда не вернется. Но в это утро привычная работа доставляла ему необыкновенное удовольствие. А когда он в последний раз полил и собрался накрыть колпаком чудесный цветок, ему даже захотелось плакать.

— Прощайте, — сказал он.

Красавица не ответила.

— Прощайте, — повторил Маленький принц.

Она каплянула. Но не от простуды.

— Я была глупая, — сказала она наконец. — Прости меня. И постараись быть счастливым.

И ни слова упрека. Маленький принц был очень удивлен. Он застыл, смущенный и растерянный, со стеклянным колпаком в руках. Откуда эта тихая нежность?

— Да, да, я люблю тебя, — услышал он. — Моя вина, что ты этого не знал. Да это и неважно. Но ты был такой же глупый, как и я. Постараись быть счастливым... Оставь колпак, он мне больше не нужен.

— Но ветер...

— Не так уж я простужена... Ночная свежесть пойдет мне на пользу. Ведь я — цветок.

— Но звери, насекомые...

— Должна же я стерпеть двух-трех гусениц, если хочу познакомиться с бабочками. Они, должно быть, прелестны. А то кто же станет меня навещать? Ты ведь будешь далеко. А больших зверей я не боюсь. У меня тоже есть когти.

И она в простоте душевной показала свои четыре шипа. Потом прибавила:

— Да не тяни же, это невыносимо! Решил уйти — так уходи.

Она не хотела, чтобы Маленький принц видел, как она плачет. Это был очень гордый цветок... <...>

XV

<...> И Маленький принц пустился в путь, но мысли его были о покинутом цветке.

XVI

Итак, седьмая планета, которую он посетил, была Земля. Земля — планета не простая! На ней насчитывается сто одиннадцать королей (в том числе, конечно, и негритянских), семь тысяч географов, девятьсот тысяч дельцов, семь с половиной миллионов пьяниц, триста одиннадцать миллионов честолюбцев, итого около двух миллиардов взрослых.

Чтобы дать вам понятие о том, как велика Земля, скажу лишь, что, пока не изобрели электричество, на всех шести континентах приходилось держать целую армию фонарщиков — четыреста шестьдесят две тысячи пятьсот одиннадцать человек.

Если поглядеть со стороны, это было великолепное зрелище. Движения этой армии подчинялись точнейшему ритму, совсем как в балете. Первыми выступали фонарщики Новой Зеландии и Австралии. Засветив свои огни, они отправлялись спать. За ними наступал черед фонарщиков Китая. Исполнив свой танец, они тоже скрывались за кулисами. Потом приходил черед фонарщиков в России и в Индии. Потом — в Африке и Европе. Затем в Южной Америке, затем в Северной Америке. И никогда они не ошибались, никто не выходил на сцену не во время. Да, это было блестательно.

Только тому фонарщику, что должен был зажигать единственный фонарь на северном полюсе, да его собрату на южном полюсе, — только этим двоим жилось легко и беззаботно: им приходилось заниматься своим делом всего два раза в год.

XVII

<...> — Добрый вечер, — сказал на всякий случай Маленький принц.

— Добрый вечер, — ответила змея.
— На какую это планету я попал?
— На Землю, — сказала змея. — В Африку.
— Вот как. А разве на Земле нет людей?
— Это пустыня. В пустынях никто не живет. Но Земля большая.

Маленький принц сел на камень и поднял глаза к небу.

— Хотел бы я знать, зачем звезды светятся, — задумчиво сказал он. — Наверно, затем, чтобы рано или поздно каждый мог вновь отыскать свою. Смотри, вот моя планета — как раз прямо над нами... Но как до нее далеко!



— Красивая планета, — сказала змея. — А что ты будешь делать здесь, на Земле?

— Я поссорился со своим цветком, — признался Маленький принц.

— А, вот оно что...

И оба умолкли.

— А где же люди? — вновь заговорил наконец Маленький принц. — В пустыне все-таки одиноко...

— Среди людей тоже одиноко, — заметила змея.

Маленький принц внимательно посмотрел на нее.

— Странное ты существо, — сказал он. — Не толще пальца...

— Но могущества у меня больше, чем в пальце короля, — возразила змея.

Маленький принц улыбнулся:

— Ну, разве ты уж такая могущественная? У тебя даже лап нет. Ты и путешествовать не можешь...

— Я могу унести тебя дальше, чем любой корабль, — сказала змея.

И обвилась вокруг щиколотки Маленького принца, словно золотой браслет.

— Всякого, кого я коснусь, я возвращаю земле, из которой он вышел, — сказала она. — Но ты чист и явился со звезды...

Маленький принц не ответил.

— Мне жаль тебя, — продолжала змея. — Ты так слаб на этой Земле, жесткой, как гранит. В тот день, когда ты горько пожалеешь о своей покинутой планете, я сумею тебе помочь. Я могу...

— Я прекрасно понял, — сказал Маленький принц. — Но почему ты все время говоришь загадками?

— Я решаю все загадки, — сказала змея.

И оба умолкли.

XVIII

Маленький принц пересек пустыню и никого не встретил. За все время ему попался только один цветок — крохотный, невзрачный цветок о трех лепестках...

— Здравствуй, — сказал Маленький принц.

— Здравствуй, — отвечал цветок.

— А где люди? — вежливо спросил Маленький принц.

Цветок видел однажды, как мимо шел караван.

— Люди? Ах да... Их всего-то, кажется, шесть или семь. Я видел их много лет назад. Но где их искать — неизвестно. Их носит ветром. У них нет корней, это очень неудобно.

— Прощай, — сказал Маленький принц.

— Прощай, — сказал цветок. <...>

XX

Долго шел Маленький принц через пески, скалы и снега и наконец набрел на дорогу. А все дороги ведут к людям.

— Добрый день, — сказал он.

Перед ним был сад, полный роз.

— Добрый день, — отзывались розы.

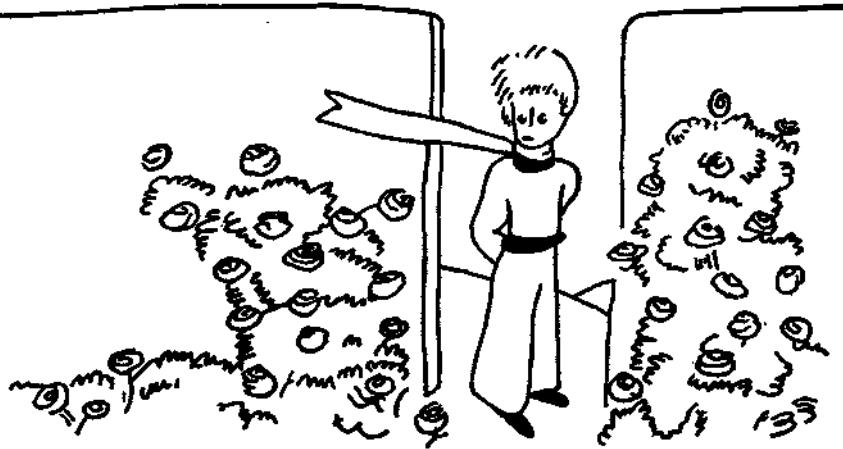
И Маленький принц увидел, что все они похожи на его цветок.

— Кто вы? — спросил он, пораженный.

— Мы — розы, — отвечали розы.

— Вот как... — промолвил Маленький принц.

И почувствовал себя очень-очень несчастным. Его красавица говорила ему, что подобных ей нет во всей вселенной. И вот перед ним пять тысяч точно таких же цветов в одном только саду!



«Как бы она рассердилась, если бы увидела их! — подумал Маленький принц. — Она бы ужасно раскашлялась и сделала вид, что умирает, лишь бы не показаться смешной. А мне пришлось бы ходить за ней, как за больной, ведь иначе она и вправду бы умерла, лишь бы унизить и меня тоже...»

А потом он подумал: «Я-то воображал, что владею единственным в мире цветком, какого больше ни у кого и нигде нет, а это была самая обыкновенная роза. Только всего у меня и было что простая роза да три вулкана ростом мне по колено, и то один из них потух и, может быть, навсегда... какой же я после этого принц...»

Он лег в траву и заплакал.

XXI

Вот тут-то и появился Лис.

— Здравствуй, — сказал он.

— Здравствуй, — вежливо ответил Маленький принц и оглянулся, но никого не увидел.

— Я здесь, — послышался голос. — Под яблоней...

— Кто ты? — спросил Маленький принц. — Какой ты красивый!

— Я — Лис, — сказал Лис.

— Поиграй со мной, — попросил Маленький принц. — Мне так грустно...

— Не могу я с тобой играть, — сказал Лис. — Я не приручен.

— Ах, извини, — сказал Маленький принц.

Но, подумав, спросил:



— А как это — приручить?

— Ты нездешний, — заметил Лис. — Что ты здесь ищешь?

— Людей ищу, — сказал Маленький принц. — А как это — приручить?

— У людей есть ружья, и они ходят на охоту. Это очень неудобно! И еще они разводят кур. Только этим они и хороши. Ты ищешь кур?

— Нет, — сказал Маленький принц. — Я ищу друзей. А как это — приручить?

— Это давно забытое понятие, — объяснил Лис. — Оно означает: создать узы.

— Узы?

— Вот именно, — сказал Лис. — Ты для меня пока всего лишь маленький мальчик, точно такой же, как сто тысяч других мальчиков. И ты мне не нужен. И я тебе тоже не нужен. Я для тебя всего только лисица, точно такая же, как сто тысяч других лисиц. Но если ты меня приручишь, мы станем нужны друг другу. Ты будешь для меня единственным в целом свете.

И я буду для тебя один в целом свете...

— Я начинаю понимать, — сказал Маленький принц. — Была одна роза... наверно, она меня приручила...

— Очень возможно, — согласился Лис. — На Земле чего только не бывает.

— Это было не на Земле, — сказал Маленький принц.

Лис очень удивился:

— На другой планете?

— Да.

— А на той планете есть охотники?

— Нет.

— Как интересно! А куры есть?

— Нет.

— Нет в мире совершенства! — вздохнул Лис.

Но потом он вновь заговорил о том же:

— Скучная у меня жизнь. Я охочусь за курами, а люди охотятся за мною. Все куры одинаковы, и люди все одинаковы. И живется мне скучновато. Но если ты меня приручишь, моя жизнь словно солнцем озарится. Твои шаги я стану различать среди тысяч других. Заслышав людские шаги, я всегда убегаю и прячусь. Но твоя походка позовет меня, точно музыка, и я выйду из своего убежища. И потом — смотри! Видишь, вон там, в полях, зреет пшеница? Я не ем хлеба. Колосья мне не нужны. Пшеничные поля ни о чем мне не говорят. И это грустно! Но у тебя золотые волосы. И как чудесно будет, когда ты меня приручишь! Золотая пшеница станет напоминать мне тебя. И я полюблю шелест колосьев на ветру...

Лис замолчал и долго смотрел на Маленького принца. Потом сказал:

— Пожалуйста... приручи меня!

— Я бы рад, — отвечал Маленький принц, — но у меня так мало времени. Мне еще надо найти друзей и узнать разные вещи.

— Узнать можно только те вещи, которые приручишь, — сказал Лис. — У людей уже не хватает времени что-либо узнавать. Они покупают вещи готовыми в магазинах. Но ведь нет таких магазинов, где торговали бы друзьями, и потому люди больше не имеют друзей. Если хочешь, чтобы у тебя был друг, приручи меня!

— А что для этого надо делать? — спросил Маленький принц.

— Надо запастись терпением, — ответил Лис. — Сперва сядь вон там, поодаль, на траву — вот так. Я буду на тебя искося поглядывать, а ты молчи. Слова только мешают понимать друг друга. Но с каждым днем садись немножко ближе...

Назавтра Маленький принц вновь пришел на то же место.

— Лучше приходи всегда в один и тот же час, — попросил Лис. — Вот, например, если ты будешь приходить в четыре часа, я уже с трех часов почувствую себя счастливым. И чем ближе к назначенному часу, тем счастливее. В четыре часа я

уже начну волноваться и тревожиться. Я узнаю цену счастью! А если ты приходишь всякий раз в другое время, я не знаю, к какому часу готовить свое сердце... Нужно соблюдать обряды.

— А что такое обряды? — спросил Маленький принц.

— Это тоже нечто давно забытое, — объяснил Лис. — Нечто такое, отчего один какой-то день становится не похож на все другие дни, один час — на все другие часы. Вот, например, у моих охотников есть такой обряд: по четвергам они танцуют с деревенскими девушкиами. И какой же это чудесный день — четверг! Я отправляюсь на прогулку и дохожу до самого виноградника. А если бы охотники танцевали когда придется, все дни были бы одинаковы и я никогда не знал бы отдыха.

Так Маленький принц приручил Лиса. И вот настал час прощанья.

— Я буду плакать о тебе, — вздохнул Лис.

— Ты сам виноват, — сказал Маленький принц. — Я ведь не хотел, чтобы тебе было больно, ты сам пожелал, чтобы я тебя приручил...

— Да, конечно, — сказал Лис.

— Но ты будешь плакать!

— Да, конечно.

— Значит, тебе от этого плохо.

— Нет, — возразил Лис, — мне хорошо. Вспомни, что я говорил про золотые колосья.

Он умолк. Потом прибавил:

— Поди взгляни еще раз на розы. Ты поймешь, что твоя роза — единственная в мире. А когда вернешься, чтобы проститься со мной, я открою тебе один секрет. Это будет мой тебе подарок.

Маленький принц пошел взглянуть на розы.

— Вы ничуть не похожи на мою розу, — сказал он им. — Вы еще ничто. Никто вас не приручил, и вы никого не приручили. Таким был прежде мой Лис. Он ничем не отличался от ста тысяч других лисиц. Но я с ним подружился, и теперь он — единственный в целом свете.

Розы очень смущались.

— Вы красивые, но пустые, — продолжал Маленький принц. — Ради вас не закочется умереть. Конечно, случайный прохожий, поглядев на мою розу, скажет, что она точно такая же, как вы. Но мне она одна дороже всех вас. Ведь это ее, а не вас я поливал каждый день. Ее, а не вас накрывал стеклянным колпаком. Ее загораживал ширмой, оберегая от ветра. Для нее убивал гусениц, только двух или трех оставил, чтобы вывелись

бабочки. Я слушал, как она жаловалась и как хвастала, я прислушивался к ней, даже когда она умолкала. Она — моя.

И Маленький принц возвратился к Лису.

— Прощай... — сказал он.

— Прощай, — сказал Лис. — Вот мой секрет, он очень прост: зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь.

— Самого главного глазами не увидишь, — повторил Маленький принц, чтобы лучше запомнить.

— Твоя роза так дорога тебе потому, что ты отдавал ей всю душу.

— Потому что я отдавал ей всю душу... — повторил Маленький принц, чтобы лучше запомнить.

— Люди забыли эту истину, — сказал Лис, — но ты не забывай: ты навсегда в ответе за всех, кого приручил. Ты в ответе за твою розу.

— Я в ответе за мою розу... — повторил Маленький принц, чтобы лучше запомнить.



XXIV

Миновала неделя с тех пор, как я потерпел аварию, и <...> я выпил последний глоток воды.

— Да, — сказал я Маленькому принцу, — все, что ты рассказываешь, очень интересно, но я еще не починил свой

самолет, у меня не осталось ни капли воды, и я тоже был бы счастлив, если бы мог просто-напросто пойти к роднику.

— Лис, с которым я дружил...

— Милый мой, мне сейчас не до Лиса!

— Почему?

— Да потому, что придется умереть от жажды...

Он не понял, какая тут связь. Он возразил:

— Хорошо, когда есть друг, пусть даже надо умереть. Вот я очень рад, что дружил с Лисом...

«Он не понимает, как велика опасность. Он никогда не испытывал ни голода, ни жажды. Ему довольно солнечного луча...»

Я не сказал этого вслух, только подумал. Но Маленький принц посмотрел на меня — и промолвил:

— Мне тоже хочется пить... пойдем поищем колодец...

Я устало развел руками: что толку наугад искать колодцы в бескрайней пустыне? Но все-таки мы пустились в путь.

Долгие часы мы шли молча; наконец стемнело, и в небе стали загораться звезды. От жажды меня немного лихорадило, и я видел их будто во сне. Мне все вспоминались слова Маленького принца, и я спросил:

— Значит, и ты тоже знаешь, что такое жажда?

Но он не ответил. Он сказал просто:

— Вода бывает нужна и сердцу...

Я не понял, но промолчал. Я знал, что не следует его расспрашивать.

Он устал. Опустился на песок. Я сел рядом. Помолчали. Потом он сказал:

— Звезды очень красивые, потому что где-то там есть цветок, хоть его и не видно...

— Да, конечно, — сказал я только, глядя на волнистый песок, освещенный луною.

— И пустыня красава... — прибавил Маленький принц.

Это правда. Мне всегда нравилось в пустыне. Сидишь на песчаной дюне. Ничего не видно. Ничего не слышно. И все же в тишине что-то светится...

— Знаешь, отчего хороша пустыня? — сказал он. — Где-то в ней скрываются родники...

Я был поражен, вдруг я понял, что означает таинственный свет, исходящий от песков. Когда-то, маленьким мальчиком, я жил в старом-престаром доме — рассказывали, будто в нем запрятан клад. Разумеется, никто его так и не открыл, а может быть, никто никогда его и не искал. Но из-за него дом был словно заколдован: в сердце своем он скрывал тайну...

— Да, — сказал я. — Будь то дом, звезды или пустыня — самое прекрасное в них то, чего не увидишь глазами.

— Я очень рад, что ты согласен с моим другом Лисом, — отозвался Маленький принц.

Потом он уснул, я взял его на руки и пошел дальше. Я был взволнован. Мне казалось — я несу хрупкое сокровище. Мне казалось даже, что ничего более хрупкого нет на нашей Земле. При свете луны я смотрел на его бледный лоб, на сомкнутые ресницы, на золотые пряди волос, которые перебирал ветер, и говорил себе: все это лишь оболочка. Самое главное — то, чего не увидишь глазами...

Его полуоткрытые губы дрогнули в улыбке, и я сказал себе еще: трогательней всего в этом спящем Маленьком принце его верность цветку, образ розы, который сияет в нем, словно пла-мя светильника, даже когда он спит... И я понял, что он еще более хрупок, чем кажется. Светильники надо беречь: порыв ветра может погасить их...

Так я шел — и на рассвете дошел до колодца.

XXV

— Люди забираются в скорые поезда, но они уже сами не понимают, чего ищут, — сказал Маленький принц. — Поэтому они не знают покоя и бросаются то в одну сторону, то в другую...

Потом прибавил:

— И все напрасно...

Колодец, к которому мы пришли, был не такой, как все колодцы в Сахаре. Обычно здесь колодец — просто яма в песке. А это был самый настоящий деревенский колодец. Но поблизости не было никакой деревни, и я подумал, что это сон.

— Как странно, — сказал я Маленькому принцу, — тут все приготовлено: и ворот, и ведро, и веревка...

Он засмеялся, тронул веревку, стал раскручивать ворот. И ворот заскрипел, точно старый флюгер, долго ржавевший в безветрии.

— Слышишь? — сказал Маленький принц. — Мы разбудили колодец, и он запел...

Я боялся, что он устанет.

— Я сам зачерпну воды, — сказал я, — тебе это не под силу.

Медленно вытащил я полное ведро и надежно поставил его на каменный край колодца. В ушах у меня еще отдавалось пение скрипучего ворота, вода в ведре еще дрожала, и в ней дрожали солнечные зайчики.

— Мне хочется глотнуть этой воды, — промолвил Маленький принц. — Дай мне напиться...

И я понял, что он искал!

Я поднес ведро к его губам. Он пил, закрыв глаза. Это было как самый прекрасный пир. Вода эта была не простая. Она родилась из долгого пути под звездами, из скрипа ворота, из усилий моих рук. Она была как подарок сердцу. Когда я был маленький, так светились для меня рождественские подарки: сияньем свеч на елке, пеньем органа в час полночной мессы, ласковыми улыбками.

— На твоей планете, — сказал Маленький принц, — люди выращивают в одном саду пять тысяч роз... и не находят того, что ищут...

— Не находят, — согласился я.

— А ведь то, чего они ищут, можно найти в одной-единственной розе, в глотке воды...

— Да, конечно, — согласился я.

И Маленький принц сказал:

— Но глаза слепы. Искать надо сердцем.

Я выпил воды. Дышалось легко. На рассвете песок становится золотой, как мед. И от этого тоже я был счастлив. С чего бы мне грустить?..

— Ты должен сдержать слово, — мягко сказал Маленький принц, снова садясь рядом со мною.

— Какое слово?

— Помнишь, ты обещал... намордник для моего барашка... Я ведь в ответе за тот цветок.

Я достал из кармана свои рисунки. Маленький принц поглядел на них и засмеялся:

— Баобабы у тебя похожи на капусту...

А я-то так гордился своими баобабами!

— А у лисицы твоей уши... точно рога! И какие длинные! И он опять засмеялся.

— Ты несправедлив, дружок. Я ведь никогда и не умел рисовать — разве только удавов снаружи и изнутри.

— Ну ничего, — успокоил он меня. — Дети и так поймут.

И я нарисовал намордник для барашка. Я отдал рисунок Маленькому принцу, и сердце у меня сжалось.

— Ты что-то задумал и не говоришь мне...

Но он не ответил.

— Знаешь, — сказал он, — завтра исполнится год, как я попал к вам на Землю...

И умолк. Потом прибавил:

— Я упал совсем близко отсюда...

И покраснел.

И опять, бог весть почему, тяжело стало у меня на душе.
Все-таки я спросил:

— Значит, неделю назад, в то утро, когда мы познакомились, ты не случайно бродил тут совсем один, за тысячу миль от человеческого жилья? Ты возвращался к тому месту, где тогда упал?

Маленький принц покраснел еще сильнее.

А я прибавил нерешительно:

— Может быть, это потому, что исполняется год?..

И снова он покраснел. Он не ответил ни на один мой вопрос, но ведь когда краснеешь, это значит «да», не так ли?

— Мне страшно... — со вздохом начал я.

Но он сказал:

— Пора тебе приниматься за работу. Иди к своей машине. Я буду ждать тебя здесь. Возвращайся завтра вечером...

Однако мне не стало спокойнее. Я вспомнил о Лисе. Когда даешь себя приручить, потом случается и плакать.

XXVI

Неподалеку от колодца сохранились развалины древней каменной стены. На другой вечер, покончив с работой, я вернулся туда и еще издали увидел, что Маленький принц сидит на краю стены, свесив ноги. И услышал его голос:

— Разве ты не помнишь? — говорил он. — Это было совсем не здесь.

Наверно, кто-то ему отвечал, потому что он возразил:

— Ну да, это было ровно год назад, день в день, но только в другом месте...

Я шагнул быстрей. Но нигде у стены я больше никого не видел и не слышал. А между тем Маленький принц снова ответил кому-то:

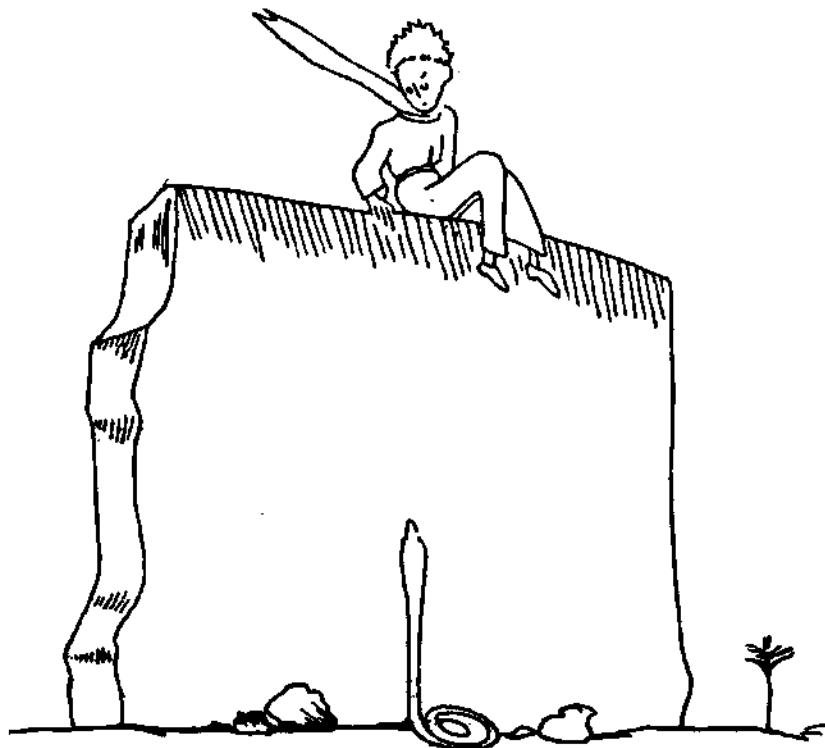
— Ну, конечно. Ты найдешь мои следы на песке. И тогда жди. Сегодня ночью я туда приду.

До стены оставалось двадцать метров, а я все еще ничего не видел.

После недолгого молчания Маленький принц спросил:

— А у тебя хороший яд? Ты не заставил меня долго мучиться?

Я остановился, и сердце мое сжалось, но я все еще не понимал.



— Теперь уходи, — сказал Маленький принц. — Я хочу спрыгнуть вниз.

Тогда я опустил глаза, да так и подскочил! У подножья стены, подняв голову к Маленькому принцу, свернулась желтая змейка, из тех, чей укус убивает в полминуты. Напрупывая в кармане револьвер, я бегом бросился к ней, но при звуке шагов змейка тихо заструилась по песку, словно умирающий ручеек, и с еле слышным металлическим звоном неторопливо скрылась меж камней.

Я побежал к стене как раз вовремя, чтобы подхватить моего Маленького принца. Он был белее снега.

— Что это тебе вздумалось, малыш! — воскликнул я. — Чего ради ты заводишь разговоры со змеями?

Я развязал его неизменный золотой шарф. Смочил ему виски и заставил выпить воды. Но я не смел больше ни о чем спрашивать. Он серьезно посмотрел на меня и обвил мою шею руками. Я услышал, как бьется его сердце, словно у подстреленной птицы. Он сказал:

— Я рад, что ты нашел, в чем там была беда с твоей машиной. Теперь ты можешь вернуться домой...

— Откуда ты знаешь?!

Я как раз собирался сказать ему, что, вопреки всем ожиданиям, мне удалось исправить самолет!

Он не ответил, он только сказал:

— И я тоже сегодня вернусь домой.

Потом прибавил печально:

— Это гораздо дальше... и гораздо труднее...

Все было как-то странно. Я крепко обнимал его, точно малого ребенка, и, однако, мне казалось, будто он ускользает, проваливается в бездну, и я не в силах его удержать...

Он задумчиво смотрел куда-то вдаль.

— У меня останется твой барашек. И ящик для барабанка. И намордник...

И он печально улыбнулся.

Я долго ждал. Он словно бы приходил в себя.

— Ты напугался, малыш...

Ну еще бы не напугаться! Но он тихонько засмеялся:

— Сегодня вечером мне будет куда страшнее...

И снова меня оледенило предчувствие непоправимой беды. Неужели, неужели я никогда больше не услышу, как он смеется? Этот смех для меня — точно родник в пустыне.

— Малыш, я хочу еще послушать, как ты смеешься...

Но он сказал:

— Сегодня ночью исполнится год. Моя звезда станет как раз над тем местом, где я упал год назад...

— Послушай, малыш, ведь все это — и змея, и свиданье со звездой — просто дурной сон, правда?

Но он не ответил.

— Самое главное — то, чего не увидишь глазами... — сказал он.

— Да, конечно...

— Это как с цветком. Если любишь цветок, что растет где-то на далекой звезде, хорошо ночью глядеть в небо. Все звезды расцветают.

— Да, конечно...

— Это как с водой. Когда ты дал мне напиться, та вода была как музыка, а все из-за ворота и веревки... Помнишь? Она была очень хорошая.

— Да, конечно...

— Ночью ты посмотришь на звезды. Моя звезда очень маленькая, я не могу ее тебе показать. Так лучше. Она будет

для тебя просто — одна из звезд. И ты полюбишь смотреть на звезды... Все они станут тебе друзьями. И потом, я тебе кое-что подарю...

И он засмеялся.

— Ах, малыш, малыш, как я люблю, когда ты смеешься!

— Вот это и есть мой подарок... это будет, как с водой...

— Как так?

— У каждого человека свои звезды. Одним — тем, кто странствует, — они указывают путь. Для других это просто маленькие огоньки. Для ученых они — как задача, которую надо решить. Для моего дельца они — золото. Но для всех этих людей звезды — немые. А у тебя будут совсем особенные звезды...

— Как так?

— Ты посмотришь ночью на небо, а ведь там будет такая звезда, где я живу, где я смеюсь, — и ты услышишь, что все звезды смеются. У тебя будут звезды, которые умеют смеяться!

И он сам засмеялся.

— И когда ты утешишься (в конце концов всегда утешаешься), ты будешь рад, что знал меня когда-то. Ты всегда будешь мне другом. Тебе захочется посмеяться со мною. Иной раз ты вот так распахнешь окно, и тебе будет приятно... И твои друзья станут удивляться, что ты смеешься, глядя на небо. А ты им скажешь: «Да, да, я всегда смеюсь, глядя на звезды!» И они подумают, что ты сошел с ума. Вот какую злую шутку я с тобой сыграю.

И он опять засмеялся.

— Как будто вместо звезд я подарил тебе целую кучу смеющихся бубенцов...

Он опять засмеялся. Потом снова стал серьезен:

— Знаешь... сегодня ночью... лучше не приходи.

— Я тебя не оставлю.

— Тебе покажется, что мне больно... покажется даже, что я умираю. Так уж оно бывает. Не приходи, не надо.

— Я тебя не оставлю.

Но он был чем-то озабочен.

— Видишь ли... это еще из-за змеи. Вдруг она тебя ужалит...

Змеи ведь злые. Кого-нибудь ужалить для них удовольствие.

— Я тебя не оставлю.

Он вдруг успокоился:

— Правда, на двоих у нее не хватит яда...

В эту ночь я не заметил, как он ушел. Он ускользнул неслышно. Когда я наконец нагнал его, он шел быстрым, решительным шагом.

— А, это ты... — сказал он только.

И взял меня за руку. Но что-то его тревожило.

— Напрасно ты идешь со мной. Тебе будет больно на меня смотреть. Тебе покажется, будто я умираю, но это не правда...

Я молчал.

— Видишь ли... это очень далеко. Мое тело слишком тяжелое. Мне его не унести.

Я молчал.

— Но это все равно, что сбросить старую оболочку. Тут нет ничего печального...

Я молчал.

Он немного пал духом. Но все-таки сделал еще одно усилие:

— Знаешь, будет очень славно. Я тоже стану смотреть на звезды. И все звезды будут точно старые колодцы со скрипучим воротом. И каждая даст мне напиться...

Я молчал.

— Подумай, как забавно! У тебя будет пятьсот миллионов бубенцов, а у меня — пятьсот миллионов родников...

И тут он тоже замолчал, потому что заплакал...

— Вот мы и пришли. Дай мне сделать еще шаг одному.

И он сел на песок, потому что ему стало страшно.

Потом он сказал:

— Знаешь... моя роза... я за нее в ответе. А она такая слабая! И такая простодушная. У нее только и есть что четыре жалких шипа, больше ей нечем защищаться от мира...

Я тоже сел, потому что у меня подкосились ноги. Он сказал:

— Ну... вот и все...

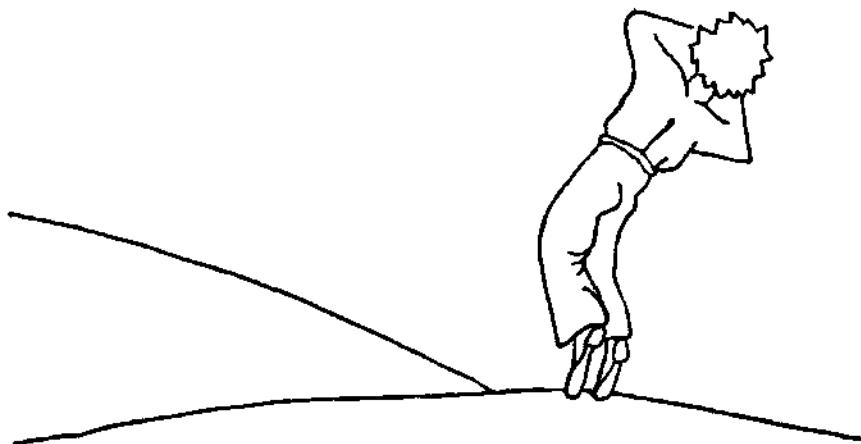
Помедлил еще минуту и встал. И сделал один только шаг. А я не мог шевельнуться.

Точно желтая молния мелькнула у его ног. Мгновение он оставался недвижим. Не вскрикнул. Потом упал — медленно, как падает дерево.

Медленно и неслышно, ведь песок приглушает все звуки.

XXVII

И вот прошло уже шесть лет... Я еще ни разу никому об этом не рассказывал. Когда я вернулся, товарищи рады были вновь увидеть меня живым и невредимым. Грустно мне было, но я говорил им:



— Это я просто устал...

И все же понемногу я утишился. То есть... Не совсем. Но я знаю, он возвратился на свою планетку, ведь, когда рассвело, я не нашел на песке его тела. Не такое уж оно было тяжелое. А по ночам я люблю слушать звезды. Словно пятьсот миллионов бубенцов...

Но вот что поразительно. Когда я рисовал намордник для барабашка, я забыл про ремешок! Маленький принц не сможет надеть его на барабашка. И я спрашиваю себя: что-то делается там, на его планете? Вдруг барабашек съел розу?

Иногда я говорю себе: «Нет, конечно, нет! Маленький принц на ночь всегда накрывает розу стеклянным колпаком, и он очень следит за барабашком...» Тогда я счастлив. И все звезды тихонько смеются.

А иногда я говорю себе: «Бываешь же порой рассеянным... тогда все может случиться! Вдруг он как-нибудь вечером забыл про стеклянный колпак или барабашек ночью втихомолку выбрался на волю...» И тогда все бубенцы плачут...

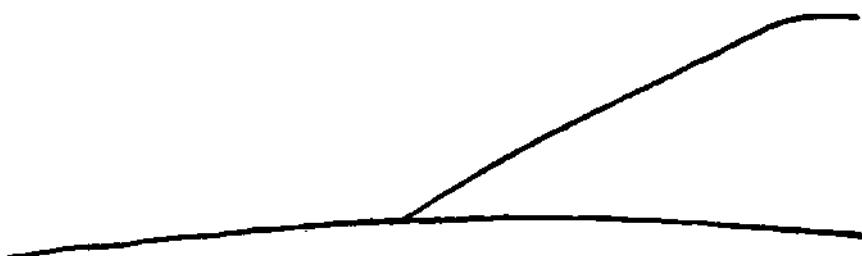
Все это загадочно и непостижимо. Вам, кто тоже полюбил Маленького принца, как и мне, это совсем, совсем не все равно: весь мир становится для нас иным оттого, что где-то в безвестном уголке вселенной барабашек, которого мы никогда не видели, быть может, съел не знакомую нам розу.

Взгляните на небо. И спросите себя: «Жива ли та роза или ее уже нет? Вдруг барашек ее съел?» И вы увидите: все станет по-другому...

И никогда ни один взрослый не поймет, как это важно!

Это, по-моему, самое красивое и самое печальное место на свете. Этот же уголок пустыни нарисован и на предыдущей странице, но я нарисовал еще раз, чтобы вы получше его разглядели. Здесь Маленький принц впервые появился на Земле, а потом исчез.

Всмотритесь внимательней, чтобы непременно узнать это место, если когда-нибудь вы попадете в Африку, в пустыню.



Если вам случится тут проезжать, заклинаю вас, не спешите, помедлите немного под этой звездой! И если к вам подойдет маленький мальчик с золотыми волосами, если он будет звонко смеяться и ничего не ответит на ваши вопросы, вы, уж конечно, догадаетесь, кто он такой. Тогда — очень прошу вас! — не забудьте утешить меня в моей печали, скорей напишите мне, что он вернулся...

Перевод с французского Н. Галь



Обдумаем прочитанное

1. Какие события жизни Антуана де Сент-Экзюпери получили отзвук в сказке?
- ◆ 2. Герой и сюжет сказки созданы творческой фантазией писателя. Если перевести сказочные отношения Маленького принца с розой, оставленной им на далекой планете, с Лисом и летчиком на язык человеческих отношений, какие нравственные вопросы возникнут перед читателем? Какие заветы оставил писатель каждому из нас?

3. Почему Маленький принц покинул свою планету?
4. Что вынес для себя герой сказки, общаясь с летчиком (рассказчиком), розами, Лисом, живя в пустыне?

5. Перечитайте разговор Маленького принца с летчиком о звездах (глава XXVI). Как вы понимаете его слова «у каждого человека свои звезды»?

6. Лис просит Маленького принца «приручить» его. Литературовед пишет по этому поводу: «“Приручить”... Вслушайтесь в это слово, и вы почувствуете его мудрость: дружить, влюблять и влюбляться, связывать живой мир с людьми и людей связывать между собой — верностью, готовностью в любое время прийти на помощь» (А. Шаров. «Волшебники приходят к людям»). Можно ли этим словом охарактеризовать поступки летчика-рассказчика и его маленького героя? (Приведите примеры.)

7. Почему Маленький принц решил любой ценой вернуться на свою планету? Что он по-прежнему будет делать и что изменит в собственной жизни, когда попадет туда?

◆ 8. Какие эпизоды сказки вам показались забавными, радостными, а какие — грустными, вызывающими щемящее чувство? Почему, по-вашему, не вся сказка выдержана в радужных тонах?



Приглашаем в библиотеку

Прочтите полный текст сказки «Маленький принц». Читая, подумайте над вопросами: почему маленький герой не захотел остаться ни на одном астероиде? Что сближает «взрослых» обитателей Земли с обитателями астероидов?

Для самостоятельного чтения

Рей БРЭДБЕРИ

(Родился в 1920 году)

Имя замечательного американского писателя-фантаста Рэя Брэдбери известно во всем мире. В США он один из самых любимых и читаемых авторов. О его человеческом обаянии, разносторонности интересов ходят легенды. Ведь он не только прозаик, поэт, драматург, сценарист телевидения и кино, основатель и режиссер театра, но и инициатор смелых проектов в дизайне¹ и архитектуре и многолетний консультант Национального управления по аeronавтике и космосу США. И пишет Брэдбери не только фантастику. Впечатления своего

¹ Дизайн — художественное конструирование.

детства, размышления о жизни писатель выразил в лирической и, не будет преувеличением сказать, философской повести, состоящей из глав-рассказов, — «Вино из одуванчиков» (1957). В честь любимого произведения американские астронавты, высадившиеся на Луне, назвали один из ее кратеров Кратером Одуванчиков. Но более всего, конечно, прославился Брэдбери как фантаст, рисующий будущее. И будущее далеко не безоблачное.

Какие бы фантастические картины ни изображал писатель, ясно становится одно: в будущем, как и в настоящем, перед человеком встают вечные человеческие проблемы, и главная из них — как и ради чего жить в мире людей.

«Я верю в воображение. Верю, что если мы, люди, несмотря ни на что, выживем, то только благодаря нашей способности фантазировать — без этой способности мы в реальном мире просто-напросто не смогли бы жить. Способность эта помогает нам строить свое будущее. И это значит: самые важные в жизни минуты для подростка те, когда, собираясь заснуть, он смотрит в потолок и видит себя на нем самым замечательным в мире актером, самым замечательным в мире писателем, самым замечательным в мире сапожником или кем-нибудь еще. О каком именно деле для себя вы мечтаете, не так уж важно: оно все равно достойное, если вы им по-настоящему увлечены».

По статье Н. Пальцева
«Читываясь в Рей Брэдбери»

КАНИКУЛЫ¹

День был свежий — свежестью травы, что тянулась вверх, облаков, что плыли в небесах, бабочек, что опускались на траву. День был соткан из тишины, но она вовсе не была немой, ее создавали пчелы и цветы, суша и океан, все, что двигалось, порхало, трепетало, вздыхалось и падало, подчиняясь своему течению времени, своему неповторимому ритму. Край был недвижим, и все двигалось. Море было неспокойно, и море молчало. Парадокс, сплошной парадокс, безмолвие сражалось с безмолвием, звук со звуком. Цветы качались, и пчелы маленькими каскадами золотого дождя падали на клевер. Волны холмов и волны океана, два рода движения, были

¹ Перевод с английского Л. Жданова.

разделены железной дорогой, пустынной, сложенной из ржавчины и стальной сердцевины, дорогой, по которой, сразу видно, много лет не ходили поезда. На тридцать миль к северу она тянулась, петляя, потом терялась в мглистых далях; на тридцать миль к югу пронизывала острова летучих теней, которые на глазах смешались и меняли свои очертания на склонах далеких гор.

Неожиданно рельсы задрожали.

Сидя на путях, одинокий дрозд ощущал, как рождается мерное слабое биение, словно где-то, за много миль, забилось чье-то сердце.

Черный дрозд взмыл над морем.

Рельсы продолжали тихо дрожать, и наконец из-за поворота показалась, вдоль по берегу попла небольшая дрезина¹, в великом безмолвии зафыркал и зарокотал двухцилиндровый мотор.

На этой маленькой четырехколесной дрезине, на обращенной в две стороны двойной скамейке, защищенные от солнца небольшим тентом, сидели мужчина, его жена и семилетний сынишка. Дрезина проходила один пустынный участок за другим, ветер бил в глаза и разевал волосы, но все трое не оборачивались и смотрели только вперед. Иногда, на выходе из поворота, глядели нетерпеливо, иногда печально, и все время настороженно — что дальше?

На ровной прямой мотор вдруг закашлялся и смолк. В сокрушительной теперь тишине казалось — это покой, излучаемый морем, землей и небом, затормозил и пресек вращение колес.

— Бензин кончился.

Мужчина, вздохнув, достал из узкого багажника запасную канистру и начал переливать горючее в бак.

Его жена и сын тихо глядели на море, слушали приглушенный гром, шепот, слушали, как раздвигается могучий занавес из песка, гальки, зеленых водорослей, пены.

— Море красивое, правда? — сказала женщина.

— Мне нравится, — сказал мальчик.

— Может быть, заодно сделаем привал и поедим? — Мужчина навел бинокль на зеленый полуостров вдали.

— Давайте. Рельсы сильно изъело ржавчиной. Впереди путь разрушен. Придется ждать, пока я исправлю.

¹ Дрезина — механическая железнодорожная тележка, передвигаемая по рельсам вручную или с помощью двигателя.

— Сколько лопнуло рельсов, столько привалов! — сказал мальчик.

Женщина попыталась улыбнуться, потом перевела свои серьезные, пытливые глаза на мужчину.

— Сколько мы проехали сегодня?

— Неполных девяносто миль. — Мужчина все еще напряженно глядел в бинокль. — Больше, по-моему, и не стоит проходить в день. Когда гонишь, не успеваешь ничего увидеть. Послезавтра будем в Монтерее, на следующий день, если хочешь, в Пало Альто.

Женщина развязала ярко-желтые ленты широкополой соломенной шляпы, сняла ее с золотистых волос и, покрытая легкой испариной, отошла от машины. Они столько ехали без остановки на трясучей дрезине, что все тело пропиталось ее ровным ходом. Теперь, когда машина остановилась, было какое-то странное чувство, словно с них сейчас снимут оковы.

— Давайте есть!

Мальчик бегом отнес корзинку с припасами на берег. Мать и сын уже сидели перед расстеленной скатертью, когда мужчина спустился к ним; на нем был строгий костюм с жилетом, галстук и шляпа, как будто он ожидал кого-то встретить в пути. Раздавая сэндвичи и извлекая маринованные овощи из прохладных зеленых баночек, он понемногу отпускал галстук и расстегивал жилет, все время озираясь, словно готовый в любую секунду опять застегнуться на все пуговицы.

— Мы одни, папа? — спросил мальчик, не переставая жевать.

— Да.

— И больше никого, нигде?

— Больше никого.

— А прежде на свете были люди?

— Зачем ты все время спрашиваешь? Это было не так уж давно. Всего несколько месяцев. Ты и сам помнишь.

— Плохо помню. А когда нарочно стараюсь припомнить, и вовсе забываю. — Мальчик просеял между пальцами горсть песка. — Людей было столько, сколько песка тут на пляже? А что с ними случилось?

— Не знаю, — ответил мужчина, и это была правда. В одно прекрасное утро они проснулись, и мир был пуст. Висела бельевая веревка соседей, и ветер трепал ослепительно белые рубашки, как всегда поутру, блестели машины перед коттеджами, но не слышно ничего «до свидания», не гудели улич-

ным движением мощные артерии города, телефоны не вздрагивали от собственного звонка, не кричали дети в чаще подсолнечника.

Лишь накануне вечером он сидел с женой на террасе, когда принесли вечернюю газету, и даже не развертывая ее, не глядя на заголовки, сказал:

— Интересно, когда мы ему оосточертеем и он всех нас выметет вон?

— Да, до чего дошло, — подхватила она. — И не остановишь. Как же мы глупы, правда?

— А замечательно было бы... — Он раскурил свою трубку. — Проснуться завтра, и во всем мире ни души, начинай все сначала!

Он сидел и курил, в руке сложенная газета, голова откинута на спинку кресла.

— Если бы можно было сейчас нажать такую кнопку, ты бы нажал?

— Наверно, да, — ответил он. — Без насилия. Просто все исчезнет с лица земли. Оставить землю и море, и все, что растет — цветы, траву, плодовые деревья. И животные тоже пусть остаются. Все оставить, кроме человека, который охотится, когда не голоден, ест, когда сыт, жесток, хотя его никто не задевает.

— Но мы-то должны остаться. — Она тихо улыбнулась.

— Хорошо было бы. — Он задумался. — Впереди — сколько угодно времени. Самые длинные каникулы в истории. И мы с корзиной припасов, и самый долгий пикник. Только ты, я и Джим. Никаких сезонных билетов. Не нужно тянуться за Джонсами. Даже автомашины не надо. Придумать какой-нибудь другой способ путешествовать, старинный способ. Взять корзину с сэндвичами, три бутылки шипучки, дальше, как понадобится, пополнять запасы в безлюдных магазинах в безлюдных городах, и впереди нескончаемое лето.

Долго они сидели молча на террасе, их разделяла свернутая газета.

Наконец она сказала:

— А нам не будет одиноко?

Вот каким было утро нового мира. Они проснулись и услышали мягкие звуки земли, которая теперь была просто-напросто лугом, города тонули в море травы-муравьи, ноготков, маргариток, выюнков. Сперва они приняли это удивительно спокойно, должно быть потому, что уже столько лет не любили

город и позади было столько мнимых друзей, и была замкнутая жизнь в уединении, в механизированном улье.

Муж встал с кровати, выглянул в окно и спокойно, словно речь шла о погоде, заметил:

— Все исчезли.

Он понял это по звукам, которых город больше не издавал.

Они завтракали не торопясь, потому что мальчик еще спал, потом муж выпрямился и сказал:

— Теперь мне надо придумать, что делать.

— Что делать? Как... разве ты не пойдешь на работу?

— Ты все еще не веришь, да? — Он засмеялся. — Не веришь, что я не буду каждый день выскакивать из дома в десять минут девятого, что Джиму больше никогда не надо ходить в школу. Всё, занятия кончились, для всех нас кончились! Больше никаких карандашей, никаких книг и кислых взглядов босса! Нас отпустили, милая, и мы никогда не вернемся к этой дурацкой, проклятой, нудной рутине. Пошли!

И он повел ее по пустым и безмолвным улицам города.

— Они не умерли, — сказал он. — Просто... ушли.

— А другие города?

Он зашел в телефонную будку, набрал номер Чикаго, потом Нью-Йорка, потом Сан-Франциско. Молчание. Молчание. Молчание.

— Все, — сказал он, вешая трубку.

— Я чувствую себя виноватой, — сказала она. — Их нет, а мы остались. И... я радуюсь. Почему? Ведь я должна горевать.

— Должна? Никакой трагедии нет. Их не пытали, не жгли, не мучали. Они исчезли и не почувствовали этого, не узнали. И теперь мы ни перед кем не обязаны. У нас одна обязанность — быть счастливыми. Тридцать лет счастья впереди, разве плохо?

— Но... но тогда нам нужно заводить еще детей?

— Чтобы снова населить мир? — Он медленно, спокойно покачал головой. — Нет. Пусть Джим будет последним. Когда он состарится и умрет, пусть мир принадлежит лошадям и коровам, бурундукам и паукам. Они без нас не пропадут. А потом когда-нибудь другой род, умеющий сочетать естественное счастье с естественным любопытством, построит города, совсем не такие, как наши, и будет жить дальше. А сейчас уложим корзину, разбудим Джима и начнем наши тридцатилетние каникулы. Ну, кто первым добежит до дома?

Он взял с маленькой дрезины кувалду, и пока он полчаса один исправлял ржавые рельсы, женщина и мальчик побежали вдоль берега. Они вернулись с горстью влажных ракушек и чудесными розовыми камешками, сели, и мать стала учить сына, и он писал карандашом в блокноте домашнее задание, а в полдень к ним спустился с насыпи отец, без пиджака, без галстука, и они пили апельсиновую шипучку, глядя, как в бутылках, теснясь, рвутся вверх пузырьки. Стояла тишина. Они слушали, как солнце настраивает старые железные рельсы. Соленый ветер разносил запах горячего дегтя от шпал, и мужчина легонько постукивал пальцем по своему карманному атласу.

— Через месяц, в мае, доберемся до Сакраменто, оттуда двинемся в Сиэтл. Пробудем там до первого июля, июль хороший месяц в Вашингтоне, потом, как станет холоднее, обратно, в Йеллоустон, несколько миль в день, здесь поохотимся, там порыбачим...

Мальчику стало скучно, он отошел к самой воде и бросал палки в море, потом сам же бегал за ними, изображая ученую собаку.

Отец продолжал:

— Зимуем в Таксоне, в самом конце зимы едем во Флориду, весной — вдоль побережья, в июне попадем, скажем, в Нью-Йорк. Через два года лето проводим в Чикаго. Через три года — как ты насчет того, чтобы провести зиму в Мехико-Сити? Куда рельсы приведут, куда угодно, и если нападем на совсем неизвестную старую ветку — превосходно, поедем по ней до конца, посмотрим, куда она ведет. Когда-нибудь, честное слово, пойдем на лодке вниз по Миссисипи, я об этом давно мечтал. На всю жизнь хватит, не маршрут — находка...

Он смолк. Он хотел уже захлопнуть атлас неловкими руками, но что-то светлое мелькнуло в воздухе и упало на бумагу. Скатилось на песок, и получился мокрый комочек.

Жена глянула на влажное пятнышко и сразу перевела взгляд на его лицо. Серьезные глаза его подозрительно блестели. И по одной щеке тянулась влажная дорожка.

Она ахнула. Взяла его руку и крепко сжала.

Он стиснул ее руку и, закрыв глаза, через силу заговорил:

— Хорошо, правда, если бы мы вечером легли спать, а ночью все каким-то образом вернулось на свои места. Все нелепости, шум и гам, ненависть, все ужасы, все кошмары, злые люди и бесполковые дети, вся эта катафасия, мелочность, суэта, все надежды, чаяния и любовь. Правда, было бы хорошо?

Она подумала, потом кивнула.

И тут оба вздрогнули.

Потому что между ними (когда он пришел?), держа в руке бутылку из-под шипучки, стоял их сын.

Лицо мальчика было бледно. Свободной рукой он коснулся щеки отца, там, где оставила след слезинка.

— Ты... — сказал он и вздохнул. — Ты... Папа, тебе тоже не с кем играть.

Жена хотела что-то сказать. Муж хотел взять руку мальчика. Мальчик отскочил назад.

— Дураки! Дураки! Глупые дураки! Болваны вы, болваны!

Сорвался с места, сбежал к морю и, стоя у воды, залился слезами.

Мать хотела пойти за ним, но отец ее удержал.

— Не надо. Оставь его.

Тут же оба оцепенели. Потому что мальчик на берегу, не переставая плакать, что-то написал на клочке бумаги, сунул клочок в бутылку, закупорил ее железным колпачком, взял покрепче, размахнулся — и бутылка, описав кругую блестящую дугу, упала в море.

Что, думала она, что он написал на бумажке? Что там, в бутылке?

Бутылка плыла по волнам.

Мальчик перестал плакать.

Потом он отошел от воды и остановился около родителей, глядя на них, лицо ни просветлевшее, ни мрачное, ни живое, ни убитое, ни решительное, ни отрешенное, а какая-то причудливая смесь, словно он примирился со временем, стихиями и этими людьми. Они смотрели на него, смотрели дальше, на залив и затерявшуюся в волнах светлую искорку — бутылку, в которой лежал клочок бумаги с каракулями.

Он написал наше желание? — думала женщина. Написал то, о чем мы сейчас говорили, нашу мечту?



Обдумайте прочитанное

1. Что обрели и что потеряли герои рассказа, оказавшись на «каникулах»?

Почему жизнь и среди людей, и в одиночестве не приносит им радости?

2. Как вы думаете, прежними или другими героя вернутся к людям, если их мечта о прекращении каникул исполнится? Смогут ли они стать счастливыми?

ЗЕМЛЯНИЧНОЕ ОКОШКО¹

Ему снилось, что он закрывает парадную дверь с цветными стеклами — тут и земляничные стекла, и лимонные, и совсем белые, как облака, и прозрачные, как родник. Две дюжины разноцветных квадратиков обрамляют большое стекло посередине; одни цветом как вино, как настойка или фруктовое желе, другие прохладные, как льдинки. Помнится, когда он был совсем еще малыш, отец подхватывал его на руки и говорил:

— Гляди!

И за зеленым стеклом весь мир становился изумрудным, точно мох, точно летняя мята.

— Гляди!

Сиреневое стекло обращало прохожих в гроздья блеклого винограда. И наконец, земляничное окошко в любую пору омывало город теплой розовой волной, окутывало алой рас светной дымкой, а свежескошенная лужайка становилась точь в точь ковер с какого-нибудь персидского базара. Земляничное окошко, самое лучшее из всех, покрывало румянцем бледные щеки, и холодный осенний дождь теплел, и февральская метель вспыхивала вихрями веселых огоньков.

— А-ах...

Он проснулся.

Мальчики разбудили его своим негромким разговором, но он еще не совсем очнулся от сна и лежал в темноте, слушал, как печально звучат их голоса... Так бормочет ветер, вздыхая белый песок со дна пересохших морей, среди синих холмов... и тогда он вспомнил: мы на Марсе.

— Что? — вскрикнула спросонок жена.

А он и не заметил, что сказал это вслух; он старался лежать совсем тихо, боялся шелохнуться. Но уже возвращалось чувство реальности и с ним странное оцепенение; вот жена встала, бродит по комнате, точно призрак: то к одному окну подойдет, то к другому — а окна в их сборном металлическом домике маленькие, прорезаны высоко — и подолгу смотрит на ясные, но чужие звезды.

— Кэри, — прошептал он.

Она не слышала.

— Кэри, — шепотом повторил он, — мне надо сказать тебе... Целый месяц собирался. Завтра... завтра утром у нас будет...

¹ Перевод с английского Норы Галь.

Но жена сидела в голубоватом отсвете звезд точно каменная и даже не смотрела в его сторону.

Он зажмурился.

Вот если бы солнце никогда не заходило, думал он, если бы ночей вовсе не было... Ведь днем он сколачивает сборные дома будущего поселка, мальчики в школе, а Кэрри хлопочет по хозяйству — уборка, стряпня, огород... Но после захода солнца уже не надо рыхлить клумбы, заколачивать гвозди или решать задачки, и тогда в темноте, какочные птицы, ко всем слетаются воспоминания.

Жена пошевелилась, чуть повернула голову.

— Боб, — сказала она наконец, — я хочу домой.

— Кэрри!

— Здесь мы не дома, — сказала она.

В полуутыне ее глаза блестели, полные слез.

— Потерпи еще немножко, Кэрри.

— Нет у меня больше никакого терпенья!

Двигаясь как во сне, она открывала ящики комода, вынимала стопки носовых платков, белье, рубашки и укладывала на комод сверху — машинально, не глядя. Сколько раз уже так бывало, привычка. Скажет так, достанет вещи из комода и долго стоит молча, а потом уберет все на место и, с застывшим лицом, с сухими глазами, снова ляжет, будет думать, вспоминать. Ну а вдруг настанет такая ночь, когда она опустошит все ящики и возьмется за старые чемоданы, что составлены горкой у стены?

— Боб... — В ее голосе не слышно горечи, он тихий, ровный, тусклый, как лунный свет, при котором видно каждое ее движение. — За эти полгода я уж сколько раз по ночам так говорила, просто стыд и срам. У тебя работа тяжелая, ты строишь город. Когда человек так тяжело работает, жена не должна ему плакаться и жили из него тянуть. Но надо же душу отвести, не могу я молчать. Больше всего я истосковалась по мелочам. По ерунде какой-то, сама не знаю. Помнишь качели у нас на веранде? И плетеную качалку? Дома, в Огайо, летним вечером сидишь и смотришь, кто мимо пройдет или проедет. И наше пианино расстроенное. И какой-никакой хрусталь. И мебель в гостиной... Ну да, конечно, она вся старая, громоздкая, неуклюжая, я и сама знаю... И китайская люстра с подвесками. Как подует ветер, они и звенят. А в летний вечер сидишь на веранде и можно перемолвиться словечком с соседями. Все это вздор, глупости... все это неважно. Но почему-то, как проснешься в три часа ночи, отбоя нет от этих мыслей. Ты меня прости.

— Да разве ты виновата? — сказал он. — Марс — место чужое. Тут все не как дома, и пахнет чудно, и на глаз непривычно, и на ощупь. Я и сам ночами про это думаю. А на Земле какой славный наш городок!

— Весной и летом весь в зелени, — подхватила жена. — А осенью все желтое да красное. И дом у нас был славный. И какой старый, господи, лет восемьдесят, а то и все девяносто! По ночам, бывало, я все слушала, он вроде разговаривает, шепчет. Дерево-то сухое — и перила, и веранда, и пороги. Только тронь — и отзовется. Каждая комната на свой лад. А если у тебя весь дом разговаривает — это как семья: собрались ночью вокруг родные и баюкают: спи, мол, усни. Таких домов нынче не строят. Надо, чтобы в доме жило много народа — отцы, деды, внуки, тогда он с годами и обживается, и согреется. А эта наша коробка... Да она и не знает, что я тут, ей все едино, жива я или померла. И голос у нее жестяной, а жесть — она холодная. У нее и пор таких нет, чтоб годы впитались. Погреба нет, некуда откладывать припасы на будущий год и еще на потом. И чердака нету, некуда прибрать всякое старье, что осталось с прошлого года и что было еще до твоего рождения. Знаешь, Боб, вот было бы у нас тут хоть немножко старого, привычного, тогда и со всем новым можно бы сжиться. А когда все-все новое, чужое, каждая малость, так вовек не свыкнешься.

В темноте он кивнул:

— Я и сам так думал.

Она смотрела туда, где на чемоданах, прислоненных к стене, поблескивали лунные блики. И протянула руку.

— Кэрри!

— Что?

Он порывисто сел, спустил ноги на пол.

— Кэрри, я учинил одну несусветную глупость. Все эти месяцы я ночами слушаю, как ты тоскуешь по дому, и мальчики тоже просыпаются и шепчутся, и ветер свистит, и за стеной Марс, моря эти высохшие... и... — Он запнулся, трудно глотнул. — Ты должна понять, что я такое сделал и почему. Месяц назад у нас были в банке деньги, сбережения за десять лет, так вот, я их истратил, все как есть; без остатка.

— Боб!!!

— Я их выбросил, Кэрри, честное слово, пустил на ветер. Думал всех порадовать. А вот сейчас ты так говоришь, и эти распроклятые чемоданы тут стоят, и...

— Как же так, Боб? — Она повернулась к нему. — Стало быть, мы торчали здесь, на Марсе, и терпели здешнюю жизнь, и откладывали каждый грош, а ты взял да все сразу и пропадил?

— Сам не знаю, может, я просто рехнулся, — сказал он. — Слушай, до утра уже недалеко. Встанем пораньше. Пойдешь со мной и сама увидишь, что я сделал. Ничего не хочу говорить, сама увидишь. А если это все зря — ну что ж, чемоданы вот они, а ракета на Землю идет четыре раза в неделю.

Кэрри не шевельнулась.

— Боб, Боб... — шептала она.

— Не говори сейчас, не надо, — попросил муж.

— Боб, Боб...

Она медленно покачала головой, ей все не верилось. Он отвернулся, вытянулся на кровати с одного боку, а она села с другого боку и долго не ложилась, все смотрела на комод, где так и остались сверху наготове ровные стопки носовых платков, белье, ее кольца и безделушки. А за стенами ветер, пронизанный лунным светом, вздувал уснувшую пыль и развеивал ее в воздухе.

Наконец Кэрри легла, но не сказала больше ни слова, лежала как неживая и остановившимися глазами смотрела в ночь, в длинный-длинный туннель — когда же там, в конце, забрезжит рассвет?

Они поднялись чуть свет, но тесный домишко не ожили — стояла гнетущая тишина. Отец, мать и сыновья молча умылись и оделись, молча принялись за поджаренный хлеб, фруктовый сок и кофе, и под конец от этого молчания уже хотелось завопить; никто не смотрел прямо в лицо другому, все следили друг за другом исподтишка, по отражениям в фарфоровых и никелированных боках тостера, чайника, сахарницы — искривленные, искаженные черты казались в этот ранний час до ужаса чужими. Потом наконец отворили дверь (в дом ворвался ветер, что дует над холодными марсианскими морями, где ходят, опадают и снова встают призрачным прибоем одни лишь голубоватые пески), вышли под голое, пристальное, холодное небо и побрали к городу, который казался только декорацией там, в дальнем конце огромных пустых подмостков.

— Куда мы идем? — спросила Кэрри.

— На ракетодром, — ответил муж. — Но по дороге я должен вам много чего сказать.

Мальчики замедлили шаг и теперь шли позади родителей и прислушивались. А отец заговорил, глядя прямо перед

собой; он говорил долго и ни разу не оглянулся на жену и сыновей, не посмотрел, как принимают они его слова.

— Я верю в Марс, — начал он негромко. — Верю, придет время — и он станет по-настоящему нашим. Мы его одолеем. Мы здесь обживемся. Мы не пойдем на попятный. С год назад, когда мы только-только прилетели, я вдруг будто споткнулся. Почему, думаю, нас сюда занесло? А вот потому. Это как с лососем, каждый год та же история. Лосось, он и сам не знает, почему плывет в дальние края, а все равно плывет. Вверх по течению, по каким-то рекам, которых он не знает и не помнит, по быстрине, через водопады перескаивает — и под конец добирается до того места, где мечет икру, а потом помирает, и все начинается съзнова. Родовая память, инстинкт — назови, как угодно, но так оно и идет. Вот и мы забрались сюда.

Они шли в утренней тишине, бескрайнее небо неотступно следило за ними, странные голубые и белые, точно клубы пара, пески струились под ногами по недавно проложенному шоссе.

— Вот и мы забрались сюда. А после Марса куда двинемся? На Юпитер, Нептун, Плутон и еще дальше? Верно. Еще дальше. А почему? Когда-нибудь настанет день — и наше солнце взорвется, как дырявый котел. Бац — и от Земли следа не останется. А Марс, может быть, и не пострадает, а если и пострадает, так, может, Плутон уцелеет, а если нет, что тогда будет с нами, то бишь с нашими правнуками? — Он упорно смотрел вверх, в ясное чистое небо цвета спелой сливы. — Что ж, а мы тогда будем, может быть, где-нибудь в неизвестном мире, у которого и названия пока нет, только номер... Скажем, шестая планета девяносто седьмой звездной системы или планета номер два системы девяносто девять! И такая это чертова даль, что сейчас ни в страшном сне, ни в бреду не представишь. Мы улетим отсюда, понимаете, уберемся подальше — и уцелеем! И тут я сказал себе: ага! Вот почему мы прилетели на Марс, вот почему люди запускают в небо ракеты!

— Боб...

— Погоди, дай доказать. Это не ради денег, нет. И не ради того, чтобы поглязеть на разные разности. Так многие говорят, но это все вранье, выдумки. Говорят — летим, чтоб разбогатеть, чтобы прославиться. Говорят — для развлечения, скучно, мол, сидеть на одном месте. А на самом деле внутри знай что-то тикает, все равно как у лосося или у кита и у самого ничтожного невидимого микроба. Такие крохотные часики, они тикают в каждой живой твари, и знаешь, что они говорят? Иди дальше, говорят, не засиживайся на месте, не останавливайся,

плыви и плыви. Лети к новым мирам, строй новые города, еще и еще, чтоб ничто на свете не могло убить Человека. Понимаешь, Кэрри? Ведь это не просто мы с тобой прилетели на Марс. От того, что мы успеем на своем веку, зависит судьба всех людей, черт подери, судьба всего рода людского. Даже смешно, вон куда махнул, а ведь это так огромно, что страх берет.

Сыновья, не отставая, шли за ним, и Кэрри шла рядом, хотелось поглядеть на нее, прочесть по ее лицу, как она принимает его слова, но он не повернул головы.

— Помню, когда я был мальчишкой, у нас сломалась сеялка, а на починку не было денег, и мы с отцом вышли в поле и кидали семена просто горстью. Так вот сейчас то же самое. Сеять-то надо, иначе потом жать не придется. О господи, Кэрри, ты только вспомни, как писали в газетах, в воскресных приложениях: ЧЕРЕЗ МИЛЛИОН ЛЕТ ЗЕМЛЯ ОБРАТИТСЯ В ЛЕД! Когда-то, мальчишкой, я ревмя ревел над такими статьями. Мать спрашивает: «Чего ты?» А я отвечаю: «Мне их всех жалко, бедняг, которые тогда будут жить на свете». А мать говорит: «Ты о них не беспокойся». Так вот, Кэрри, я про что говорю: на самом-то деле мы о них беспокоимся. А то бы мы сюда не забрались. Это очень важно, чтобы Человек с большой буквы жил и жил. Для меня Человек с большой буквы — это главное. Понятно, я пристрастен, потому как я и сам того же рода-племени. Но только люди всегда рассуждают насчет бессмертия, так вот, есть один-единственный способ этого самого бессмертия добиться: надо идти дальше, засеять Вселенную. Тогда, если где-то в одном месте и случится засуха или еще что, все равно будем с урожаем. Даже если на Землю нападет ржавчина и недород. Зато новые всходы поднимутся на Венере или где там еще люди поселятся через тысячу лет. Я на этом помешался, Кэрри, право слово, помешался. Как дошел до этой мысли, прямо загорелся, хотел схватить тебя, ребят, каждого встречного и поперечного и всем про это рассказать. А потом подумал — вовсе ни к чему рассказывать. Придет такой день или, может, ночь, и вы сами услышите, как в вас тоже тикают эти часики, и сами всё поймете, и не придется ничего объяснять. Я знаю, Кэрри, это громкие слова и, может, я слишком важно рассуждаю, я ведь не велика птица, даже ростом не выпел, но только ты мне поверь: это все чистая правда.

Они уже шли по городу и слушали, как гулко отдаются их шаги на пустынных улицах.

— А что же сегодняшнее утро? — спросила Кэрри.

— Сейчас и про это скажу. Понимаешь, какая-то часть меня тоже рвется домой. А другой голос во мне говорит: если мы отступим, все пропало. Вот я и подумал: чего нам больше всего недостает? Каких-то старых вещей, к которым мы привыкли — и мальчики, и ты, и я. Ну, думаю, если без какого-то старья нельзя пустить в ход новое, так, ей-богу, я этим старьем воспользуюсь. Помню, в учебниках истории говорится: тысячу лет назад люди, когда кочевали с места на место, выдалбливали коровий рог, клали внутрь горящие уголья и весь день их раздували и вечером на новом месте разжигали огонь от той искорки, что сберегли с утра. Огонь каждый раз новый, но всегда в нем есть что-то от старого. Вот я стал взвешивать и обдумывать. Стоит Старое того, чтобы вложить в него все наши деньги, думаю? Нет, не стоит. Только то имеет цену, чего мы достигли с помощью этого Старого. Ну ладно, а Новое стоит того, чтобы вложить в него все наши деньги без остатка? Согласен ты сделать ставку на то, что когда-то еще будет? Да, согласен! Если таким манером можно одолеть эту самую тоску, которая, того гляди, затолкает нас обратно на Землю, так я своими руками полью все наши деньги керосином и чиркну спичкой!

Кэрри и мальчики остановились. Они стояли посреди улицы и смотрели на него так, будто он был не он, а внезапно налетевший смерч, который едва не сбил их с ног и вот теперь утихает.

— Сегодня утром прибыла грузовая ракета, — сказал он негромко. — Она привезла кое-что и для нас. Пойдем получим.

Они медленно поднялись по трем ступеням, прошли через гулкий зал в камеру хранения — двери ее только что открылись.

— Расскажи еще про лосося, — сказал один из мальчиков.

...Солнце поднялось уже высоко и пригревало, когда они выехали из города во взятой напрокат грузовой машине; кузов был битком набит корзинами, ящиками, пакетами и тюками — длинными, высокими, низенькими, плоскими; все это было перенумеровано, и на каждом ящике и тюке красовалась аккуратная надпись: «Марс, Нью-Толидо, Роберту Прентису».

Машина остановилась перед сборным домиком, мальчики спрыгнули наземь и помогли матери выйти. Боб еще с минуту посидел за рулем, потом медленно вылез, обошел машину кругом и заглянул внутрь.

К полудню все ящики, кроме одного, были распакованы, вещи лежали рядами на дне высохшего моря и вся семья стояла и оглядывала их.

— Поди сюда, Кэрри...

Он подвел жену к крайнему ряду, тут стояло старое крыльцо.

— Послушай-ка.

Деревянные ступеньки заскрипели, заговорили под ногами.

— Ну-ка, что они говорят, а?

Она стояла на ветхом крылечке, сосредоточенная, задумчивая, и не могла вымолвить ни слова в ответ. Он повел рукой:

— Тут крыльцо, там гостиная, столовая, кухня, три спальни. Часть построим заново, часть привезем. Покуда, конечно, у нас только и есть парадное крыльцо, кой-какая мебель для гостиной да старая кровать.

— Все наши деньги, Боб!

Он с улыбкой обернулся к ней:

— Ты же не сердишься? Ну-ка, погляди на меня! Ясно, не сердишься. Через год ли, через пять мы все перевезем. И хрустальные вазы, и армянский ковер, который нам твоя матушка подарила в девяносто шестьдесят первом. И пожалуйста, пускай Солнце взрывается!

Они обошли другие ящики, читая номера и надписи. Качели с веранды, качалка, китайские подвески...

— Я сам буду на них дуть, чтоб звенели!

На крыльце поставили парадную дверь с разноцветными стеклами, и Кэрри поглядела в земляничное окошко.

— Что ты там видишь?

Но он и сам знал, что она видит, он тоже смотрел в это окошко. Вот он, Марс, холодное небо потеплело, мертвые моря запылали, холмы стали как груды земляничного мороженого, и ветер пересыпает пески, точно тлеющие уголья. Земляничное окошко, земляничное окошко, оно покрыло все вокруг живым, нежным румянцем, наполнило глаза и душу светом непрходящей зари. И, наклонясь, глядя сквозь кусочек цветного стекла, Роберт Прентис неожиданно для себя сказал:

— Через год уже и здесь будет город. Будет тенистая улица, будет у тебя веранда, и друзей заведешь. Тогда тебе все эти вещи станут не так уж и нужны. Но с этого мы сейчас начнем, это самая малость, зато свое, привычное, а там дальше — больше; скоро ты этот Марс и не узнаешь, покажется, будто весь век тут жила.

Он сбежал с крыльца, подошел к последнему, еще не вскрытыму ящику, обтянутому парусиной. Перочинным ножом надрезал парусину.

— Угадай, что это? — сказал он.

— Моя кухонная плита? Печка?

— Ничего похожего! — Он тихонько, ласково улыбнулся. — Спой мне песенку, — попросил он.

— Ты совсем с ума сошел, Боб.

— Спой песенку, да такую, чтоб стоила всех денег, которые у нас были да сплыли, — и наплевать, не жалко!

— Так ведь я одну только и умею: «Дженни, Дженнини, голубка моя...»

— Вот и спой.

Но жена никак не могла запеть, только беззвучно шевелила губами.

Он рванул парусину, сунул руку внутрь, молча пошарил там и начал напевать вполголоса; наконец он нашупал то, что искал, и в утренней тишине прозвенел чистый фортепьянный аккорд.

— Вот так, — сказал Роберт Прентис. — А теперь споем эту песню с начала и до конца. Все споем, дружно!



Обдумайте прочитанное

1. Почему и о чем тоскуют герои рассказа, попавшие на Марс?
2. По какой причине Боб решил перебраться с семьей на другую планету? Из страха перед опасностями? Из корысти? Или преследуя высокие и далекие цели? Что он сам говорит об этом?
3. Как понимать слова Боба о том, что у всех живущих тикают внутри какие-то «часики»?
- ◆ 4. Объясните смысл названия рассказа.



Приглашаем в библиотеку

Если вас увлекли произведения писателей-фантастов, то обязательно прочтайте «Человека-невидимку» Г. Уэллса, «Туманность Андромеды» И. Е. Ефремова, «Ариаль» А. Р. Беляева, «Аэлиту», «Гиперболоид инженера Гарина» А. Н. Толстого. К фантастике близки произведения приключенческой и детективной литературы. Однако между ними существуют и различия.

Напомним, что слово *детектив* произошло от латинского слова *detectio*, что означает «раскрытие», и от английского — *detective*, то есть сыщик. Произведения детективной литературы посвящаются раскрытию сложных и загадочных преступлений.

Сравните, например, «Золотого жука» Э. По с рассказом «Пестрая лента» А. К. Дойла — и вы убедитесь, что в одном случае в основе произведения — приключения, поиски сокровищ, а в другом — столкновение со злом и жестокостью. Читая произведения детективной литературы, вы познакомитесь со знаменитыми сыщиками — Шерлоком Холмсом, комиссаром Мегре, Эркюлем Пуаро, героями А. К. Дойла, Ж. Сименона, А. Кристи.

Своими наблюдениями над особенностями произведений детективной литературы поделитесь дома или в классе. Не забывайте и о своем читательском дневнике.



Возвращаясь к прочитанному...

Перечитайте заглавие раздела. Соответствует ли оно содержанию произведений, включенных в этот раздел? Поясните свою мысль примерами.

ОБОБЩИМ ИЗУЧЕННОЕ

Дана лишь минута любому из нас.
Но если минутой кончается час —
Двенадцатый час, открывающий год,
Который в другое столетье ведет, —
Пусть эта минута, как все, коротка,
Она, пробегая, смыкает века.

C. Маршак

Мы завершаем работу над учебником-хрестоматией, которую начали с рассуждений о бескрайних возможностях литературы в изображении пространства и времени. В течение учебного года перед нами прошли люди и события разных эпох — от XVI до второй половины XX века. Мы познакомились с жизнью и бытом людей разных стран и разных поколений, разных характеров и разного социального положения. Вместе с писателями заглянули даже за пределы нашей планеты. Мы увидели, как изучение жизни, быта, психологии людей, исторических источников, народного творчества, искусства, помноженное на жизненный опыт писателей, помогает им воссоздавать и реальную действительность, и фантастические картины так, словно мы сами попадаем в мир, творимый художниками слова, в мир, существование которого нам кажется бесспорным.

Как удается писателям в сравнительно короткое время, что мы тратим на чтение этих произведений, переносить нас из

одного уголка Вселенной в другой, из одного исторического времени в другое? Что помогает им запечатлевать мысли, чувства, переживания людей, рисовать их сложные взаимоотношения, раскрывать их характеры, делиться с читателями своими сокровенными переживаниями?

Литература выработала для этого множество способов. Среди них, как мы видели на примерах поэм Пушкина и Лермонтова, — сочетание сцен, картин, эпизодов, в которых герои и события показаны крупным планом, с художественным рассказом (повествованием) о том, что происходило до и после этих событий. В произведениях поэтических — весомость каждого слова, каждой детали, за которыми, как говорил Гоголь, «бездна пространства», неизмеримая глубина мысли и чувства. И во всех случаях — расчет писателя на воображение, на творческое мышление читателя. Если воображение не включено, проникновение в художественный мир писателя не состоится.

Вот, например, строки из стихотворения И. А. Бунина:

Ту звезду, что качалася в темной воде
Под кривою ракитой в заглохшем саду, —
Огонек, до рассвета мерцающий в пруде,
Я теперь в небесах никогда не найду...

Человек, лишенный воображения и не знающий, что такое метафора, станет в тупик: как это звезда качается в темной воде? что за огонек мерцает в пруде до рассвета? и почему его, этот огонек, нужно искать в небесах? Могут возникнуть и другие вопросы. Метафора будит фантазию читателя, как бы сжимает поэтическую речь, вводит и погружает читателя в мир искусства и является одним из могучих средств создания картины жизни.

Изображение пространства и времени в литературе тесно связано с ее родами и жанрами. Выражение мгновенного переживания поэта никогда не потребует многостраничного, объемного эпического произведения. Зато события Отечественной войны 1812 года или Великой Отечественной войны 1941—1945 годов отражаются в рассказах, повестях и даже в многотомных романах (четыре тома «Войны и мира» Л. Н. Толстого, три тома романа К. М. Симонова «Живые и мертвые»). События, связанные с Полтавской битвой, и стремление поэта выразить личное отношение к ним и героям этого времени обусловили обращение Пушкина к жанру поэмы. А трагический эпизод из жизни слуги князя Курбского — Василия

Шибанова — «уместился» в рамках баллады. И писатели, когда берутся за перо, решают, что они создадут: рассказ? сказку? очерк? повесть? комедию? От этого зависят содержание произведения, глубина изображения характеров, особенности обрисовки событий, в частности их временные границы. Не случайно Гоголь, обращаясь к Пушкину с просьбой подсказать ему сюжет, писал: «Рука дрожит написать тем временем комедию. <...> Сделайте милость, дайте сюжет; духом будет комедия из пяти актов, и клянусь — будет смешнее черта!» Так возник замысел знаменитой комедии «Ревизор».



1. Перечитайте вступительную статью учебника-хрестоматии «Путешествие без расстояний». Объясните, почему она так названа. Подтвердите свое мнение примерами.

◆ 2. Чем отличается время реальное, в котором мы живем, от времени художественного? Ответ обоснуйте примерами.

3. Рассмотрите на цветной вклейке рецензию картины А. Габаева «Вечность и мгновение». Как вы думаете, почему художник объединил на одном полотне древнеримский Колизей и быстро отцветающий нарцисс? В чем смысл картины?

4. О каких жанрах литературы вы подробнее, чем прежде, узнали в текущем году?

◆ 5. Почему драматическое произведение, изображая даже давно прошедшее время, рисует его как совершающееся сегодня, сейчас?

6. К какому роду литературы вы отнесете «Майскую ночь, или Утопленницу» Гоголя, «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» Салтыкова-Щедрина, «Зимнее утро» Пушкина, «Двенадцать месяцев» Маршака?

7. Задача-шутка: в типографии при подготовке сборника к печати рассыпался набор. Исправляя оплошность, рабочие типографии допустили ошибки: рядом с «Муму» Тургенева поставили слово «баллада», «Кавказский пленник» Л. Толстого назвали поэмой, «Смерть чиновника» Чехова — повестью, а «Тараса Бульбу» Гоголя — былиной. Исправьте ошибки и докажите правильность своего решения.



Приглашаем в библиотеку

В следующем учебном году вы будете знакомиться с произведениями А. С. Пушкина «Капитанская дочка», «Повести Белкина»; М. Ю. Лермонтова «Мцыри», «Боярин Орша»; Н. В. Гоголя «Ревизор» и «Женитьба»; И. С. Тургенева «Ася»,

«Андрей Колесов», «Три встречи», «Часы»; Л. Н. Толстого «После бала», «Хаджи-Мурат»; В. Г. Короленко «Парадокс», «Мгновение»; И. А. Бунина «Сверчок»; М. Горького «Челкаш», «Дед Архип и Ленька», «Страсти-мордасти», «Сказки об Италии»; А. Т. Твардовского «Василий Теркин»; К. Г. Паустовского «Телеграмма», «Снег», «Бриз», «Белая радуга», «Разливы рек»; А. Грина «Голос из глаз», «Алые паруса», «Бегущая по волнам»; В. М. Шукшина «Микроскоп», «Чудик», «Волки» и другими рассказами; В. Шекспира «Ромео и Джульетта»; М. Сервантеса «Дон Кихот» (в издании для школьников). (Жирным шрифтом выделены те произведения, которые будут изучаться в классе.)

Постарайтесь прочитать хотя бы некоторые из них во время летних каникул.

Кроме того, ваш интерес вызовут «Ледяной дом» И. И. Лажечникова; «Сорока-воровка» А. И. Герцена; «Рубка леса», «Набег» Л. Н. Толстого; «Лунный камень» У. Коллинза; «Происшествие в старом замке», «Убийство на поле для гольфа» А. Кристи; «Магелланово облако» С. Лема; «Желтый пес» Ж. Сименона; «Поэт» К. Чапека; «Машина времени» Г. Уэллса; «Город слухов» Д. Филипса.

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПЕЧАТЛЕННЫЕ МГНОВЕНИЯ. СТРАНИЦЫ ПОЭЗИИ

Федор Иванович ТЮТЧЕВ	4
Весенняя гроза	4
«Песок сыпучий по колени...»	6
«Тихой ночью, поздним летом...»	6
«Как неожиданно и ярко...»	7
Афанасий Афанасьевич ФЕТ	8
Мотылек мальчику	8
Сосны	9
Осенняя роза	10
Яков Петрович ПОЛОИНСКИЙ	11
Дорога	11
Зимний путь	12
«ХОЧУ, ЧТОБ КАЖДЫЙ ИЗ ЛЮДЕЙ БЫЛ ЧЕЛОВЕКОМ!»	
Человек в движении времени	15
Лев Николаевич ТОЛСТОЙ	17
Детство (<i>Избранные главы</i>)	18
Отрочество (<i>Избранные главы</i>)	40
Герой и рассказчик	52
Федор Михайлович ДОСТОЕВСКИЙ	54
Мальчики	56
Максим ГОРЬКИЙ	96
Детство (<i>Избранные главы</i>)	98
Для самостоятельного чтения	
Владimir Алексеевич СОЛОУХИН	141
Закон набата	142
Моченые яблоки	149
ЗАВЕРШАЮЩАЯ РАЗДЕЛ ХРЕСТОМАТИИ	158

СОДРУЖЕСТВО ИСКУССТВ

Пространство и время в разных видах искусства	159
Степан Петрович ШЕВЫРЁВ	159
Звуки (К Н. Н.)	159
В мире звуков и красок	161
Константин Георгиевич ПАУСТОВСКИЙ	163
Корзина с еловыми шишками	164
Исаак Левитан (В сокращении)	171
Языком поэзии...	176
Александр Александрович БЛОК	176
«Я никогда не понимал...»	176
Константии Дмитриевич БАЛЬМОНТ	177
Грусть	177
Константин Михайлович ФОФАНОВ	178
Художник	178
«Уснули и травы и волны...»	179
ЗАВЕРШАЮЩИЙ РАЗДЕЛ ХРЕСТОМАТИИ...	180

ПЕРЕКЛИЧКА ЭПОХ

На близкие темы	181
Жан Батист МОЛЬЕР	183
Мещанин во дворянстве (<i>Избранные сцены</i>)	187
Драматические произведения. Комедия	225
Иван Андреевич КРЫЛОВ	229
Урок дочкам (<i>Отрывки</i>)	230
ЗАВЕРШАЮЩИЙ РАЗДЕЛ ХРЕСТОМАТИИ...	244

В МИРЕ ФАНТАСТИКИ И ПРИКЛЮЧЕНИЙ. ТЕМА БУДУЩЕГО

Всеволод РОЖДЕСТВЕНСКИЙ	245
Над книгой	245
Антуан де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ	247
Маленький принц (<i>Избранные главы</i>)	249
<i>Для самостоятельного чтения</i>	
Рей БРЭДБЕРИ	279
Каникулы	280
Земляничное окошко	287
ОБОВЩИМ ИЗУЧЕННОЕ	296



ПРЕДЛАГАЕТ
учебные и методические
издания

КУРС ЛИТЕРАТУРЫ **5—11 классы**

Курс создан на основе программы для общеобразовательных учреждений (под редакцией Г. И. Беленького и Ю. И. Лысского). Все учебные книги прошли испытание практикой в массовой школе, имеют гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации», включены в Федеральный перечень. Авторы ориентировались на реальные возможности учеников, стараясь избежать как повышенной сложности учебных материалов, так и их упрощения. Оправдавшие себя традиции в подборе и методике изучения художественных произведений удачно сочетаются с достижениями современной педагогической науки и практики.

Система учебных книг построена на их преемственности. Учебный материал ориентирован на основные задачи литературного образования: приобщение учащихся к богатствам русской и мировой литературы, развитие их способности воспринимать и оценивать литературные произведения, а также отраженные в них явления жизни, и на этой основе формирование у школьников художественного вкуса, эстетических потребностей, гражданской идеально-нравственной позиции.

Курс литературы разделен на три составные части:

- начальный курс (5—8 классы);
- курс в историческом освещении (9 класс);
- курс на историко-литературной основе (10—11 классы).

Учебники-хрестоматии для 5—8 классов нацелены на решение главной задачи курса — заложить основы читательской культуры у учащихся. Методический аппарат позволит наиболее рационально организовать учебную деятельность школьников на уроке и дома. Дифференциация вопросов и заданий по степени трудности даст возможность учителю вовлечь в работу каждого ученика с учетом уровня его подготовки. Завершаются книги обобщающе-повторительными разделами.

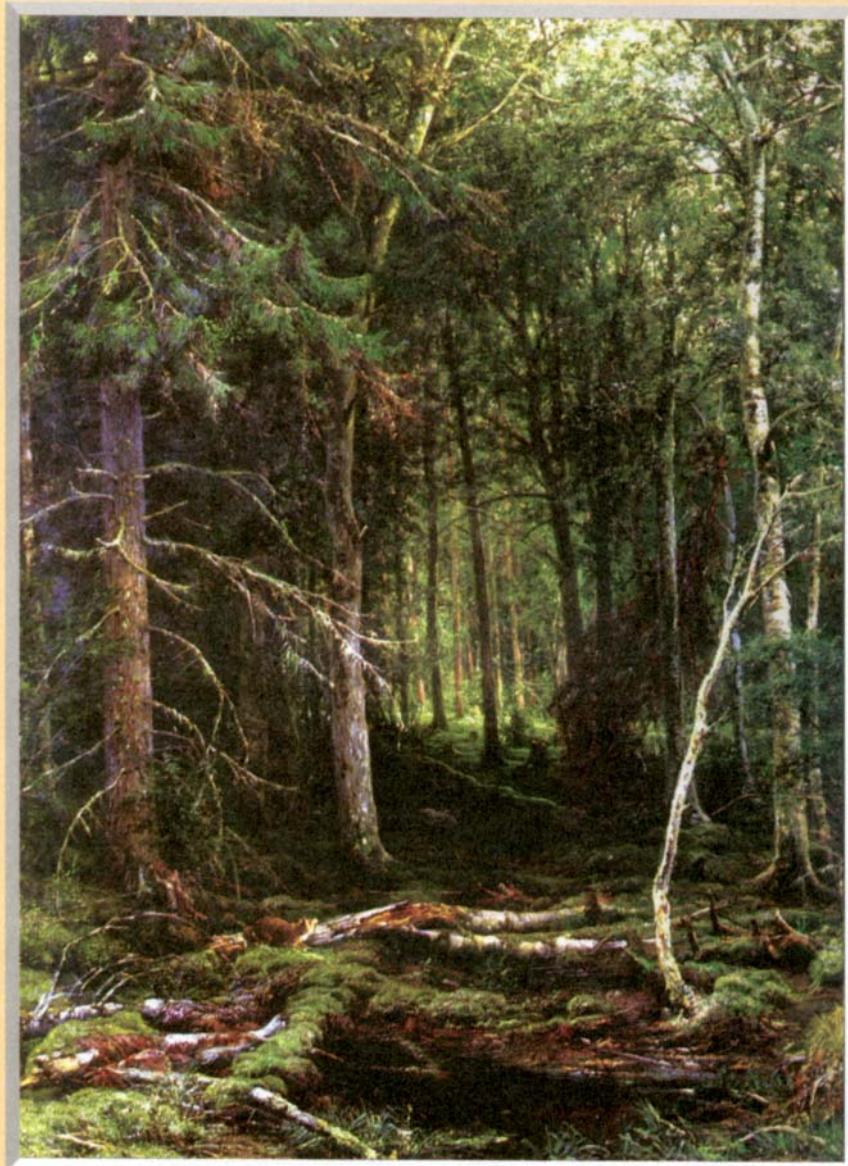
Учебники для 9—11 классов ориентированы на развитие читательской самостоятельности учащихся и их интереса к художественной

литературе. В этих учебных книгах органически соединены традиционный учебник, система вопросов и заданий, необходимых при изучении текстов произведений, и дидактические материалы для выполнения заданий. Главное место отведено материалам, стимулирующим и поддерживающим диалог учеников с писателем, критиком, учителем, друг с другом. Реализованный в учебниках инновационный подход к изучению литературных произведений способствует активизации мышления учащихся, позволяет эффективно готовить школьников к написанию сочинений и сдаче вступительных экзаменов в вузы.

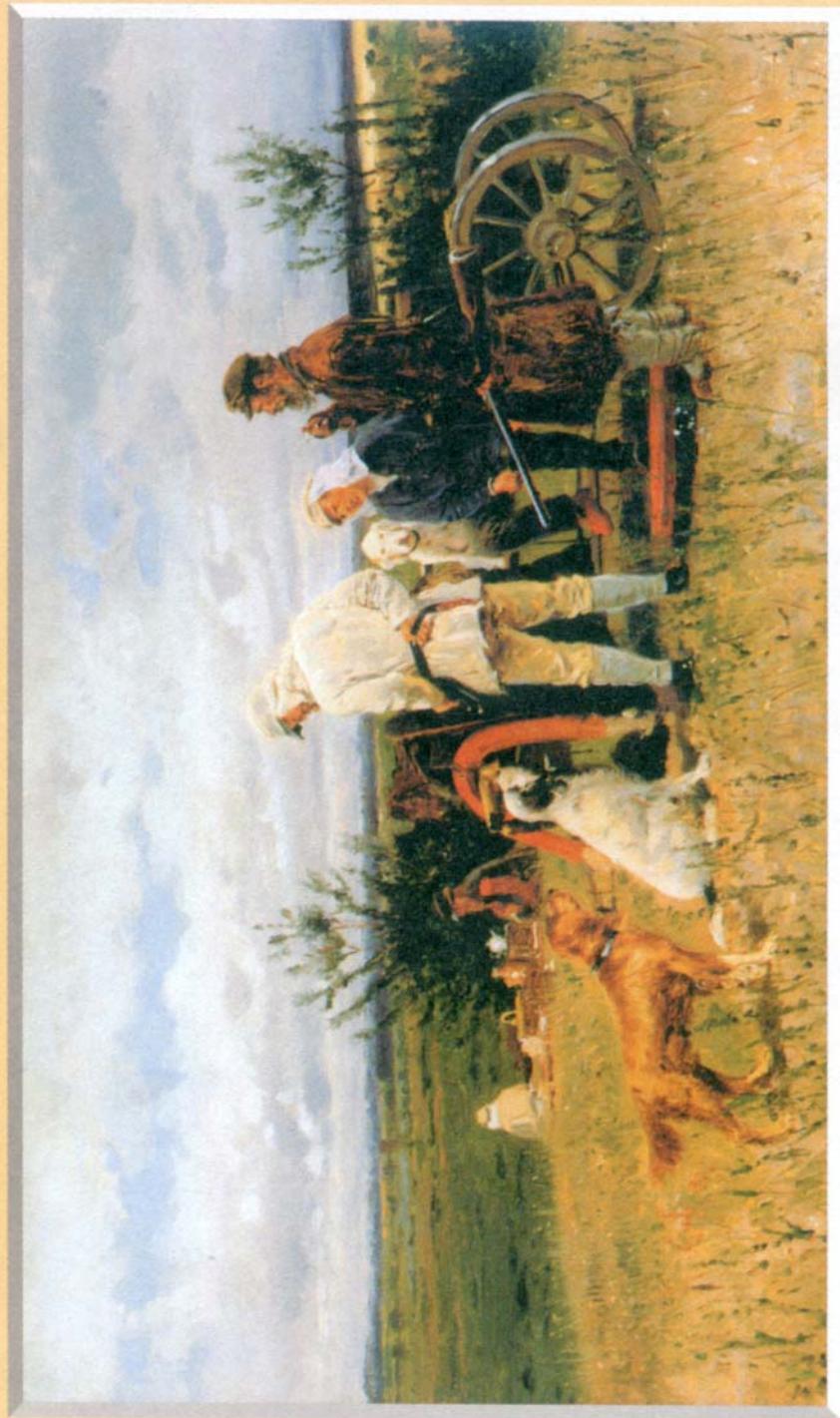
Для каждого класса создан учебно-методический комплект, содержащий книги для чтения, пособия для учителя.

Книги для дополнительного чтения (в старших классах — хрестоматии) по зарубежной литературе в отличие от уже существующих подобных изданий снабжены методическим аппаратом и могут быть использованы в качестве самостоятельных учебных пособий.

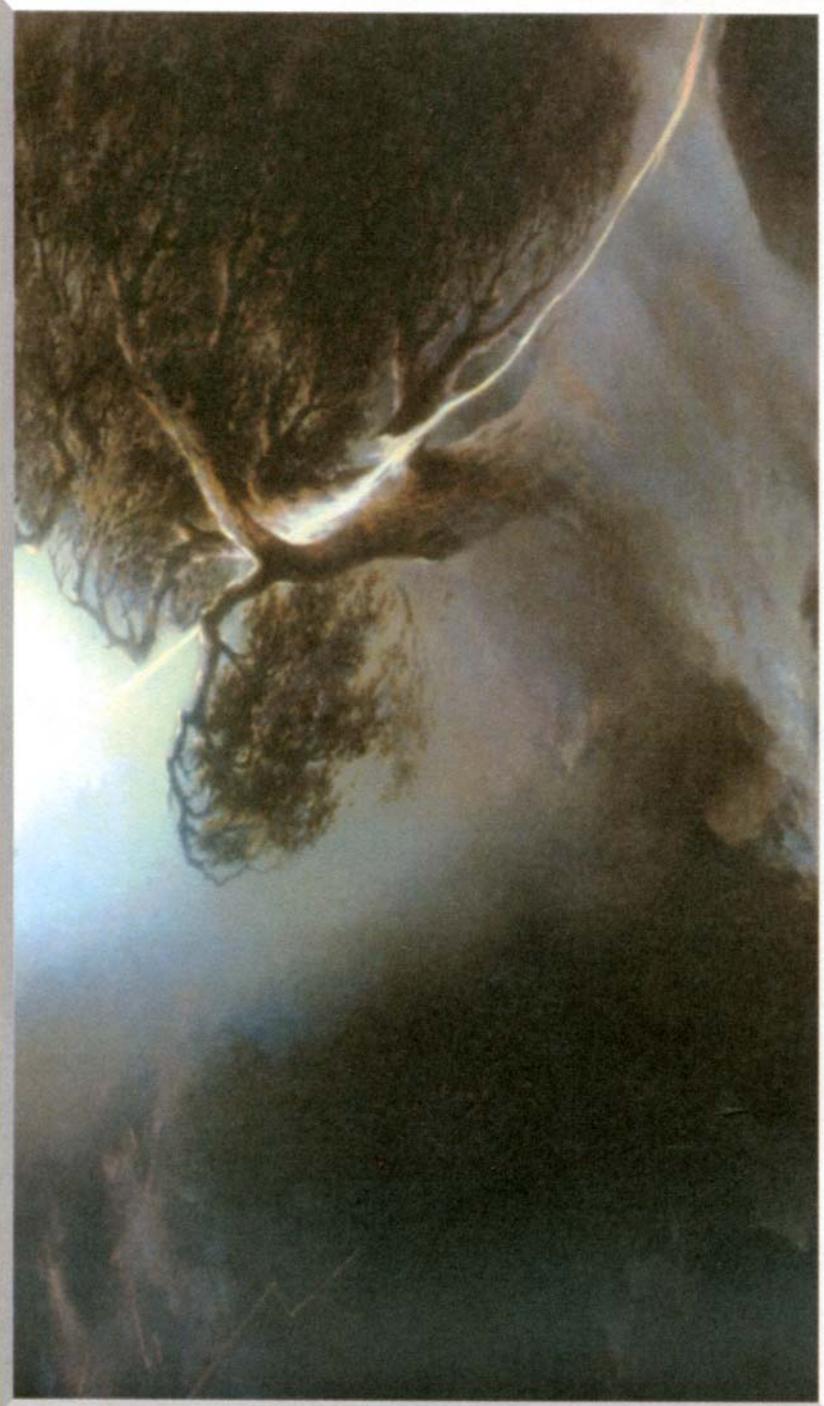
Методические пособия содержат советы по работе над произведениями,ключенными в программу для изучения, по организации бесед на уроках и самостоятельного чтения. По каждой теме намечена ориентировочная система уроков. Серьезное внимание уделяется развитию читательской самостоятельности и творческих способностей учащихся, проведению устных и письменных работ, взаимосвязи классно-урочных и внеурочных занятий.



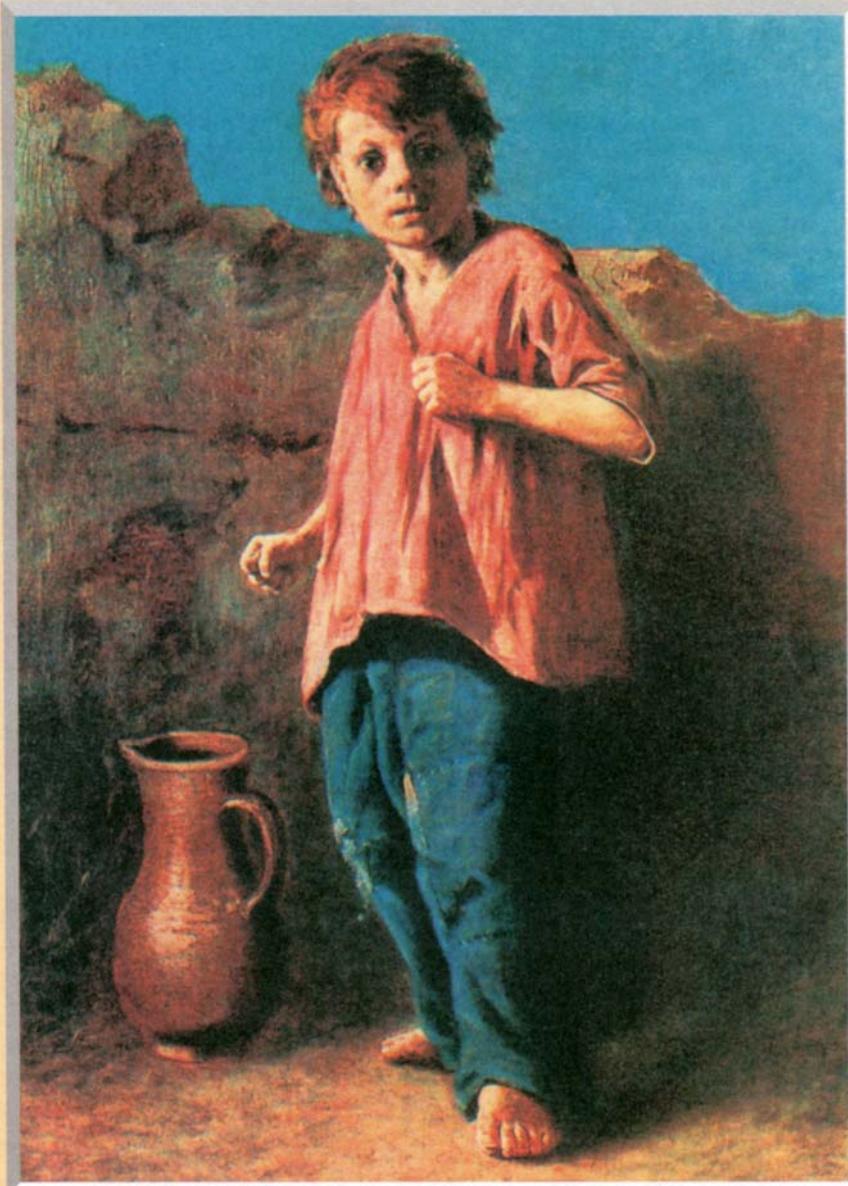
И. И. Шишкин. Лесная глуши



В. Е. Маковский. Охотники на привале



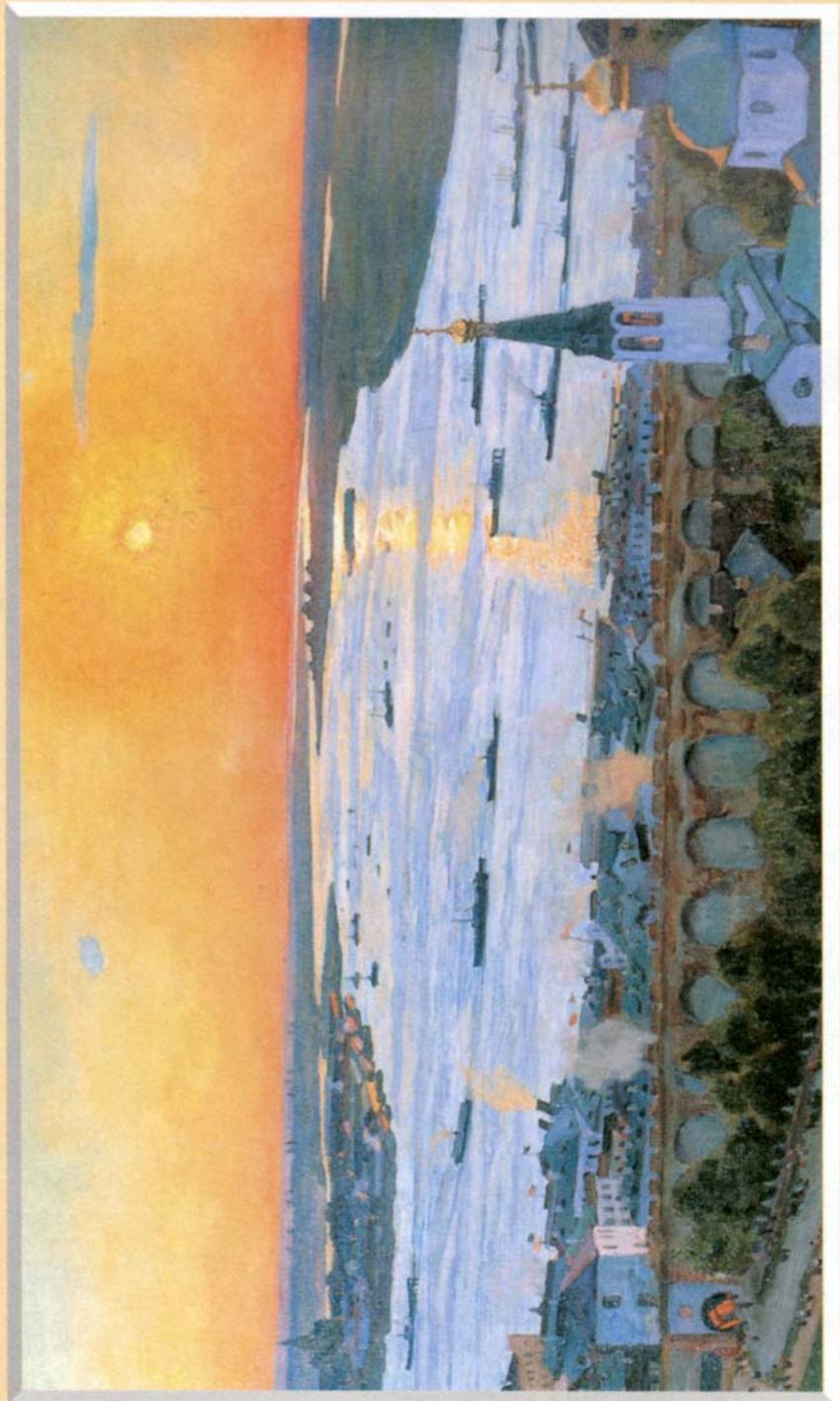
М. Н. Воробьев. Дуб, раздробленный молнией



В. Г. Перов. Мальчик, готовящийся к драке



В. Г. Перов. Мальчик-мастеровой, засмотревшийся на попугая



К. Ф. Юон. Закат на Волге. Нижний Новгород

И. И. Левитан. После дождя





А. Габаев. Вечность и мгновение



И. И. Левитан. Над вечным покоем